This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

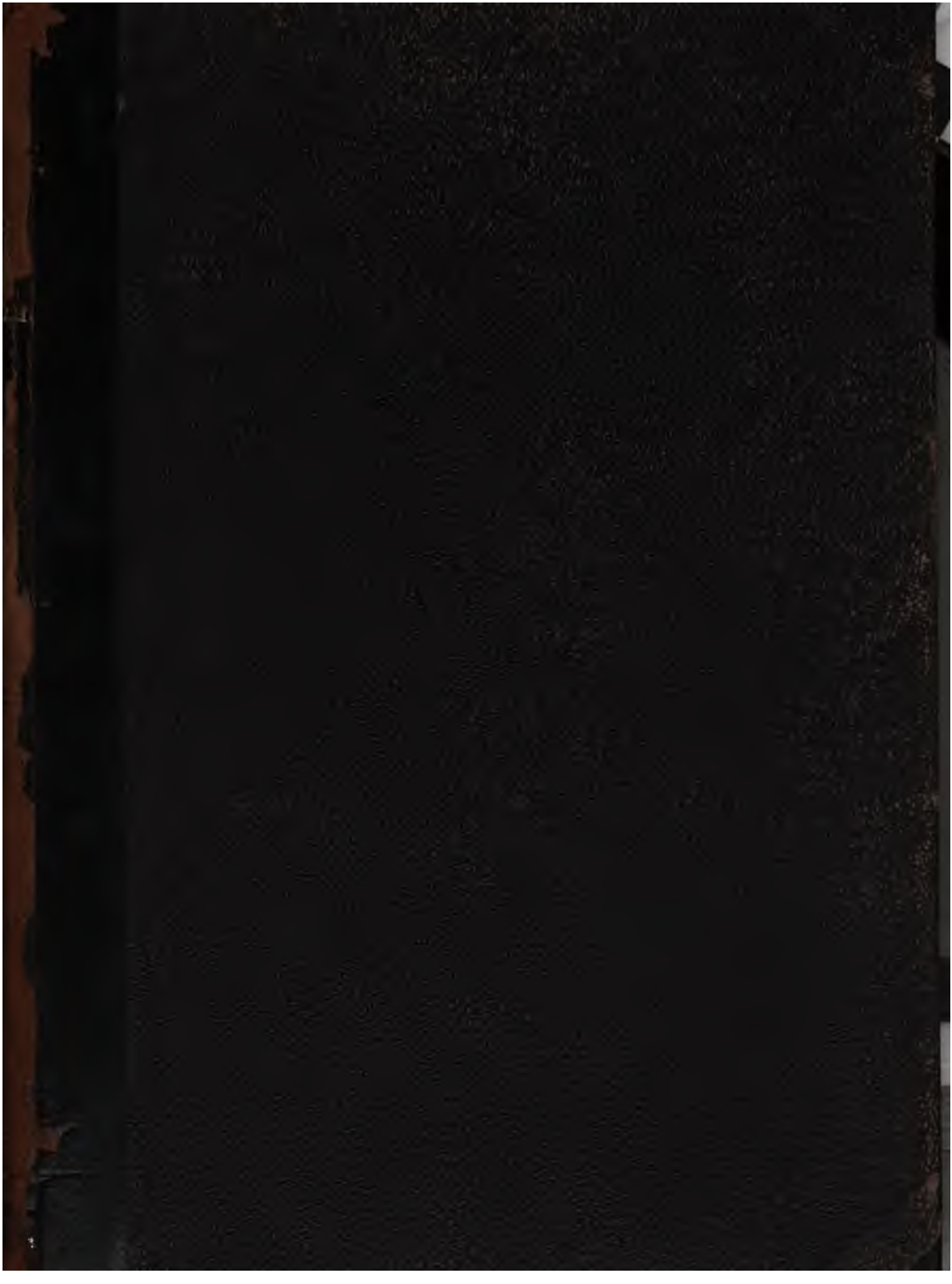
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

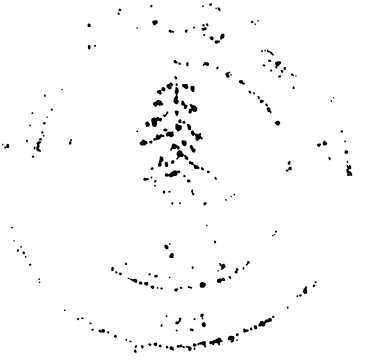
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD UNIVERSITY LIBRARY
1959



Elpat'evskii, S. IA.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

С. Елпатьевскій.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

РАЗСКАЗЫ О ПРОШЛОМЪ.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1904.

PG3460
E47A15
v.3

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		СТРАН.
I.	Сѣнокосъ	1
II.	Домна	12
III.	Гришка-подпасокъ	18
IV.	Дѣдушка Дормидонъ и майоръ Матвѣй Панфилычъ	28
V.	Антонъ-баба и Соломонида-мужикъ	36
IV.	Зимній вечеръ въ кухнѣ	43
VII.	Бабушка	53
VIII.	Отецъ	63
IX.	Мать	73
X.	Дѣдушка	81
XI.	Праздники	98
XII.	О. Платонъ и дьячекъ Вавила	114
XIII.	Попъ—разстрига	122
XIV.	Отецъ Никифоръ	128
XV.	Олена Никифоровна	135
XVI.	Отецъ Кириллъ	144
XVII.	Наши мѣста	170
XVIII.	Новыя времена. Ученье	190
XIX.	Алексѣй Софронычъ и Филатъ-бондарь	195
XX.	Желѣзная дорога	204
XXI.	Варя	218
XXII.	Отъѣздъ Вари изъ Крутыхъ Горъ	236

I. Сѣнокосъ.

Изъ глубины прошлаго предо мной встаетъ свѣтлое іюньское утро, встаетъ нашъ тѣсный, переполненный людьми, маленькій домикъ, наша тѣсная жизнь, полная неустаннаго труда, никогда непокидающихъ заботъ.

Я сплю, но бурная дневная жизнь не даетъ успокоиться моему дѣтскому мозгу.

Я ныряю въ воду, влѣзаю на огромную черемуху Антона-бабы, ловко перепрыгиваю съ кочки на кочку по нашимъ болотамъ, испытываю всякія рискованныя положенія и неизмѣнно стукаюсь о ножку дивана. Я не могу не стукаться. Войлокъ, на которомъ мы спимъ втроемъ,—я и двѣ сестры,—только и можетъ помѣщаться въ нашей заставленной „горницѣ“, между дверью въ кухню и диваномъ. И сестры, въ особенности Даша, ни за что не хотятъ ложиться съ краю у дивана, такъ какъ подъ диваномъ темный уголъ, а извѣстно, что водится въ темныхъ углахъ во всякомъ темномъ мѣстѣ,—на чердакѣ, въ погребѣ, въ овинѣ. Мнѣ тоже дѣлалось жутко, когда я просыпался ночью и смотрѣлъ въ темный уголъ, но я былъ въ нѣкоторомъ родѣ мужчина, и поэтому разъ навсегда заведенный порядокъ строго соблюдался, — я съ краю у дивана, съ другого края Варька, а въ срединѣ пугливая Даша, которая боялась

даже ложиться у двери въ кухню и, чтобы ничего не видѣть и не слышать, всегда закрывалась съ головой въ старое лоскутчатое ситцевое одѣяло, которымъ мы одѣвались всѣ трое.

Въ домѣ еще спятъ. Только мухи, сплошной черной массой облѣпившія темный уголъ образовъ и конецъ оцѣпа, на которомъ качается люлька съ моимъ маленькимъ братомъ Митей, начинаютъ просыпаться и съ глухимъ жужжаньемъ бьются въ мутныя засиженныя стекла оконъ.

Я открываю окно и выглядываю.

Было свѣтлое іюньское утро. Солнце только что встало изъ-за церкви и большая темная тѣнь колокольни далеко протянулась посреди улицы. Медленно плывутъ длинныя нити паутины; пронизывая воздухъ, носятся ласточки. Улица только что просыпается, кое-гдѣ скрипятъ ворота, вдали слышится рожокъ пастуха. Вотъ изъ-за угла сосѣдней избы показывается и самъ дядя Селиванъ, съ красными глазами, рыжей бородой, въ украшенной павлиньимъ перомъ шляпѣ гречневикомъ, съ перекинутымъ черезъ плечо кнутомъ, который черной змѣей далеко вьется за нимъ въ сѣрой уличной пыли. Онъ выступаетъ посрединѣ улицы, важный и сосредоточенный, и, не обращая вниманія на то, что дѣлается по сторонамъ, съ увлеченіемъ играетъ „На зарѣ было, па зоренькѣ“.

На противоположной сторонѣ улицы идетъ сынъ его Гришка-подпасокъ. У него такой же длинный кнутъ; время отъ времени, щеголяя своимъ искусствомъ, онъ щелкаетъ вдоль улицы, и я съ завистью слѣжу, какъ, вздымая пыль и извиваясь въ кольцо, протягивается по улицѣ черный кнутъ.

Тѣнь колокольни все укорачивается, цѣлые снопы лучей побѣжали по рѣзнымъ карнизамъ избъ, по соломеннымъ крышамъ, по наклонившимся надъ изгородями ивамъ и вербамъ. Скрипятъ ворота, съ громкимъ

блеяніемъ выскакиваютъ овцы, мычатъ коровы, ржутъ жеребята. Большая рыжая корова трется плечомъ о косякъ нашихъ воротъ и не хочетъ выходить. Домна осторожно подталкиваетъ ее плечомъ и ласково усовѣщиваетъ:

— Ну, ну, Краснуха, Христосъ съ тобой!

Краснуху она любитъ, — степенная, основательная корова, не какъ озорная Нѣмка. Домна потихоньку сообщила мнѣ, что Краснуху и *самъ* любитъ, — тотъ хозяинъ двора и хлѣвовъ, изъ-за котораго по ночамъ вдругъ начинали кудахтать куры, несуразно ржала лошадь, испуганно мычали коровы, — оттого у Краснухи и шерсть блестящая, волосъ къ волосу; полное вымя тяжело опускается книзу, большіе влажные глаза смотрятъ съ сонной лѣнью. Оттого и молока даетъ больше ведра,—все онъ, *самъ*...

— А, соколикъ, вспорхнулъ ужъ? — привѣтствуетъ меня Домна.

Я слѣжу, какъ быстро сгибается и разгибается спина Домны, качающей вмѣстѣ со старшей сестрой, Настей, воду изъ колодца, и смотрю, какая она старая и тощая съ сѣдыми, выбивающимися изъ-подъ повойника космами, съ сухими руками и скрюченными, давно не разгибающимися отъ тяжелой работы пальцами. Лицо у нея все въ морщинахъ, темное, съ никогда не отходящимъ загаромъ.

— А мы, Степка, нонче въ Дальній Лугъ ѣдемъ. Тебя не возьмемъ. Тятенька вчерась говорилъ — дома останешься.

Я оборачиваюсь. На войлокѣ сидитъ проснувшаяся Варька и скалитъ бѣлые зубы.

Мое сердце полно негодованія, но я дѣлаю равнодушное лицо и говорю:

— Была охота. Мы съ Дашей по грибы пойдемъ. Бабенька въ сметанѣ ожаритъ.

Варька любитъ дразнить меня; ей девять лѣтъ и

она на годъ старше меня, но зато я мальчикъ, что, по моему мнѣнію, значительно измѣняетъ въ мою пользу наше взаимное положеніе, а такъ какъ Варька не признаетъ моего авторитета, то наши отношенія всегда нѣсколько обострены.

— На Дальнемъ-то Лугу заставятъ съ Митькой нянчиться,—больно весело!

Мой аргументъ, видимо, попалъ въ цѣль. Варька молча вскакиваетъ и съ голыми ногами бѣжитъ умываться на крыльцо къ висящему на веревочкѣ глиняному умывальнику.

Изъ-за угла давно выглядываетъ бѣлая, какъ ленъ, большая лохматая голова Кузьки. Онъ дожидается, когда Домна съ Настей уносятъ ушатъ, осторожно осматриваясь по сторонамъ, подходитъ къ окну и громкимъ шопотомъ спрашиваетъ:

— Баушка-то спитъ?

Я оглядываюсь, смотрю чрезъ отворенную дверь внутрь кухни и тоже шопотомъ отвѣчаю:

— Спитъ.

Кузька живетъ напротивъ, изъ оконъ въ окна съ нами, но Карасевы—Кузькина семья—испоконъ вѣковъ въ непримиримой враждѣ съ нашимъ домомъ—кажется, изъ-за пчелъ больше,—вслѣдствіе чего бабушка запрещаетъ мнѣ водить компанію съ Кузькой. Должно быть именно потому мы и были съ нимъ тѣснѣйшими друзьями.

— Помъ рыбу ловить!—въ рукахъ у него рѣшето.—Гришка ночесь баялъ—эвона какой голавь ходитъ!..

Кузька заворачиваетъ рукавъ рубахи и вытягиваетъ всю руку, демонстрируя величину голавля. Я знаю, что вслѣдствіе особенной экспансивности натуры міръ вообще представляется Кузькѣ въ увеличенномъ масштабѣ, но тѣмъ не менѣе перспектива поймать голавля очень соблазнительна. Кузька лѣзетъ въ карманъ своихъ синихъ пестрядинныхъ портокъ и осторожно пока-

зываетъ мнѣ оттуда красныя головки трехъ спичекъ.

— Гдѣ взялъ?—заинтересовался я.

Кузька неопредѣленно потянулъ ноздрями воздухъ и также неопредѣленно выговорилъ:

— Досталъ... Нонѣ Гришка-то, — продолжаетъ онъ убѣждать меня,—тамъ пастись будетъ, у кручи. Огнище разложимъ, у тетки Орины картошки надергаемъ, — во кака картошка! — Кузька складываетъ два кулака вмѣстѣ.

Мнѣ доподлинно извѣстно, что Кузька опять преувеличиваетъ, но предложенія становятся все соблазнительнѣе и въ особенности заманчива мысль объ огнищѣ и печеной въ золѣ картошкѣ. Спички тщательно прятались отъ насъ, и намъ запрещали брать ихъ подъ страхомъ серьезнаго дранья за волосы, поэтому въ путешествіяхъ приходилось высѣкать огонь кремнемъ, что не всегда удавалось. Мы уговорились встрѣтиться за овиномъ.

Въ домѣ вставали. На крыльцѣ стоялъ отецъ, заспанный, съ заплетенными въ косичку волосами, изъ которыхъ выглядывали соломинки; онъ торопливо умывался и кричалъ матери, возившейся около куръ, чтобы поскорѣе увязывали завтракъ.

Какъ ни соблазнительна была перспектива рыбной ловли въ глубокомъ бочагѣ у кручи, но, когда я увидѣлъ, какъ отецъ сталъ подмазывать оси и въ набитую соломой телѣгу начали укладывать кувшины съ квасомъ, ковригу хлѣба, лукъ, и подумалъ, что меня не возьмутъ на сѣнокосъ въ этотъ Дальній Лугъ, куда ѣздили разъ въ годъ и гдѣ была настоящая рѣка, вся заросшая бѣлыми и желтыми кувшинчиками, — мнѣ сдѣлалось очень горько и малодушныя слезы подступили къ глазамъ. Отецъ дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ, какъ я верчусь около него и подаю ему дегтярницу и возжи, и разыскиваю кнутъ.

Въ темныхъ сѣняхъ меня задерживаетъ Домна.

— Нишкни, Степка! Вотъ погоди ужò, тащи кошель-то.

Я расцвѣтаю надеждой, бѣгу разыскивать кошель, съ которымъ мы съ Домной всегда отправлялись на рыбную ловлю, и прячусь подъ крыльцо.

— Ну, съ Богомъ!

На телѣгѣ сидитъ отецъ, мать съ Митей, Настя, Варька, сзади торчатъ косы и грабли. Послѣдней садится Домна.

— Степка, а Степка!—громко кричитъ она, словно я неизвѣстно гдѣ.—Полѣзай въ телѣгу!

Я стремительно выскакиваю изъ-подъ крыльца съ кошелемъ въ рукахъ.

— Ты куда?—сурово останавливаетъ меня отецъ.—Сиди дома, нечего тебѣ тамъ дѣлать. Свяжетъ онъ насъ, уснетъ еще... И лошади тяжело будетъ, — обращается онъ къ Домнѣ.

— Не твоя бѣда, дьяконъ... Уснетъ парнишка, на спинѣ дотащу. Полѣзай, полѣзай, Степа, — безапелляціонно рѣшаетъ она.

Я занимаю единственно возможное мѣсто между граблями и косами, сзади Домны, чтобы не видѣлъ отецъ, который молчитъ и сердито косится.

— Возьмемъ ужъ и Дашу,—говоритъ мать,—что она одна-то сидѣть будетъ. А тамъ хоть за Митенькой поглядитъ.

Даша, стоявшая на крыльцѣ съ полными слезъ глазами, прихрамывая больной ногой, сбѣжала съ крыльца и влѣзла въ телѣгу.

— Слѣзай, Варька! — говоритъ отецъ. — Лошадь не свезетъ, да и бабенька не одна останется, — все подсобишь.

На крыльцѣ показывается бабушка, высокая, сухая, въ темномъ повойникѣ, съ сдвинутыми густыми бровями.

— Ты чего, Тимоѳей, ребятъ-то набралъ? Ровно на ярмарку ѣдешь...

Но лошадь трогается, и бабушка сердито хлопаетъ себя по бедрамъ и уходитъ. Я высовываю языкъ остающейся Варькѣ, на что она грозитъ мнѣ кулакомъ. Даша помѣстилась рядомъ со мной и мое положеніе сдѣлалось еще неудобнѣе, но мы оба въ восторгѣ и украдкой подмигиваемъ и улыбаемся другъ другу.

Такого луга ужъ нигдѣ нѣтъ на свѣтѣ! Нигдѣ нѣтъ такой густой, высокой сочной травы, нигдѣ не растетъ столько щавелю и сладкой кашки и такой крупной земляники, нигдѣ нельзя встрѣтить такого красиваго маку и такого множества краспенькихъ, голубенькихъ и желтенькихъ цвѣточковъ.

Густыми рядами, медленно склопяясь, ложится влажная трава подъ широкими взмахами отцовской косы, увѣренными и быстрыми движеніями мелькаетъ коса Домны, съ отцовской ухваткой, крѣпко упираясь ногами, широкими размахами коситъ Настя. Далеко отъ нихъ, медленно подвигаясь, ворошатъ сѣно мать и Ѳеклушка, дочь Домны, пришедшая раньше насъ, мнѣ тоже нужно бы идти ворошить сѣно, но мои глаза смыкаются и я засыпаю, примостившись въ тѣнь, подъ телѣгой. Я проснулся отъ ослѣпительнаго солнца, нашедшаго меня подъ телѣгой и жегшаго мнѣ лицо и шею.

Все спало кругомъ. Прислонившись къ копнѣ, съ Митей на рукахъ, дремала мать, на колѣняхъ ея спала Даша; зарывши голову въ сѣно, вытянувшись во весь ростъ и тяжело разметавши усталыя руки, спалъ у другой копны отецъ, красный и потный, съ разстегнутой волосатой грудью; тамъ дальше выглядывали изъ-за копны голыя ноги Насти. Казалось, весь лугъ спалъ, окованный этимъ нестерпимымъ зноемъ и блескомъ полуденнаго солнца... Только что скошенная трава поблекла, сморщилась и пожелтѣла, дальше волнами

лежало полувысохшее, переворошенное сѣно. Надъ поникшей травой, надъ мертвыми цвѣтами съ безпокойнымъ жужжаніемъ носились шмели, разыскивая свои потревоженныя гнѣзда, чуть трепеща крыльями, устало носились синія, красныя и черныя, какъ бархатъ, бабочки; высоко въ синемъ небѣ, словно замеръ, повисъ ястребъ. Пахло земляникой, медомъ, цвѣтами, свѣжимъ сѣномъ.

— Ну, чего разоспался!—тормошитъ меня Домна. — Только намъ съ тобой и погулять сейчасъ, а то гляди, отецъ проснется.

Домна вылѣзаетъ изъ-подъ телѣги, гдѣ лежала рядомъ со мной, и мы идемъ къ рѣкѣ.

— Ну, ну,—подбадриваетъ она меня,—плыви, плыви!

Домна, какъ была, въ одной толстой холщевой рубахѣ, спускается въ рѣку, рядомъ плыву и я, путаясь ногами въ густо разросшихся кувшинчикахъ.

Какъ хорошо тамъ! Ольха и ивы наклонились съ берега и зеленымъ шатромъ повисли надъ рѣкой; въ прозрачной, словно заснувшей водѣ видно, какъ плаваютъ между корнями въ промоинахъ берега грузные широкіе язи, лобастые съ темной спиной голавли, красноперая плотва. А рѣка вся заросла желтыми и бѣлыми кувшинчиками, которые тихо покачиваются на взволнованной нами поверхности рѣки. Вонъ подъ широкимъ зеленымъ листомъ стоитъ не шелохнется тонкій, длинный и зеленый какъ листъ щуренокъ, маленькіе окуньки, поблескивая разноцвѣтными чешуйками, стаями носятся между бѣлыми кувшинчиками. Я долго любуюсь, охваченный свѣжестью воды и зеленаго шатра деревьевъ и очарованный этой красотой, которую мнѣ такъ рѣдко приходилось видѣть, но Домна все вытаскиваетъ рыбу и кладетъ въ висящій у ней на шеѣ кошель, и рыбацкая жадность просыпается во мнѣ, я также лѣзу въ промоины и вытаскиваю изъ-подъ корней плотву, пискарей и маленькихъ голавликовъ.

— Поторапливайся, поторапливайся, Домна, — солнышко вонъ ужъ гдѣ!—кричитъ черезъ рѣку отецъ.

Не стѣсняясь присутствіемъ Домны онъ раздѣвается и бросается въ воду. Грузное тѣло отца распугало рыбу и рыбная ловля поневолѣ прекращается. Мы возвращаемся назадъ. Домна захватываетъ цѣлую охапку длинныхъ кувшинчиковъ для Даши, которую она особенно жалѣетъ за ея хромоту.

Снова сверкаютъ косы и падаетъ рядами зеленая трава, снова, устало наклоняясь, ворошатъ сѣно мать и Ѳекла. Мы съ Дашей сидимъ подъ навѣсомъ, сдѣланнымъ изъ материнской юбки, и съ наслажденіемъ уписываемъ густо посыпанные солью ломти чернаго хлѣба, заѣдая зеленымъ лукомъ и запивая кислымъ, сдѣлавшимся отъ солнца совсѣмъ теплымъ, квасомъ. Подъ нашимъ надзоромъ барахтается Митя и удивленно таращитъ свои блѣдные, безцвѣтные глазки. Даша съ нѣжнымъ, бѣлымъ, почему-то не загоравшимъ лицомъ, съ волнистыми свѣтлыми волосами, вся увѣшанная цѣпочками, сдѣланными изъ длинныхъ стеблей кувшинчиковъ съ бѣлыми и желтыми, такими прекрасными чашечками цвѣтовъ, сидѣла, какъ сказочная принцесса. Голубые глаза смотрѣли вдаль, на рѣсницахъ дрожали слезы, — кукушка только что прокуковала ей три раза.

— Только три годочка пожить, Степа! — говоритъ она, плача и прижимаясь ко мнѣ.

Даша упала съ полатей, больше года пролежала въ постели съ поврежденной ногой и осталась хромой на всю жизнь. Въ семьѣ давно рѣшили, что она поступитъ въ монастырь и будетъ „Христовой невѣстой“, какъ называла ее бабушка. Съ тѣхъ поръ она росла слабенькая, хрупкая и боязливая съ печальнымъ выраженіемъ голубыхъ глазъ и вѣчно настороженнымъ, напуганнымъ воображеніемъ, всюду создававшимъ темные страшные образы.

— Давай загадаемъ еще разокъ, — попробовалъ я утѣшить ее.

Снова куковала кукушка и, по мѣрѣ того, какъ я считалъ пятнадцать, шестнадцать,... лицо Даши прояснялось.

Попрежнему прижавшись ко мнѣ, она разсказывала, что случилось, пока я ловилъ рыбу: какъ съ той стороны рѣки, гдѣ, прислонившись къ высокому лѣсу, темнѣла противъ насъ барская усадьба, выбѣжала страшная, черная собака „съ теленка“, — какъ она все лаяла на Дашу и собиралась переплыть рѣку, и какъ потомъ кто-то аукался такъ протяжно и жалобно и долго потомъ хохоталъ вдали...

Дашино настроеніе сообщилось и мнѣ. Я не нуждался въ объясненіяхъ. Кому въ сѣнокосъ бродить по лѣсу и хохотать тамъ, кромѣ „шишиги“, который заманиваетъ людей въ темныя чащи!.. И я также испуганно началъ всматриваться въ синѣющую стѣну лѣса за рѣкой.

Далеко отъ насъ, въ другомъ концѣ луга, доворашивали сѣно мать, Настя и Θекла; солнце спускалось все ниже и ниже, паръ потянулся надъ рѣкой, лѣсъ все синѣлъ и темнѣлъ и какой-то шорохъ несся оттуда, а кукушка все тосковала вдали, накликая бѣды на чью-то голову. Мы сидѣли, прижавшись другъ къ другу, чутко настороженные, испуганные.

— А ежели волкъ бѣшеный выскочитъ? — дрожащимъ голосомъ выговорила Даша.

— Волкъ? А я его вотъ какъ!..—Я храбро схватилъ вилы, но вмѣсто того, чтобы показать, какъ я заколю волка, бросилъ вилы и громко на весь лугъ закричалъ:

— Ма-мынька!..

. . . . . .

Горѣли свѣтлыя лѣтнія звѣзды въ синемъ небѣ, вдали темнѣла туча и погромыхивалъ громъ, съ печальнымъ скрипомъ, шурша колосьями ржи, медленно

движется наша телѣга. Высоко надъ землей, на возу только что скошенной травы сидитъ мать съ Митей, я и Даша. Сдѣлалось темно. Смутно бѣлѣетъ нашъ старый Сивко, впереди идетъ отецъ съ косой на плечѣ и Домна съ граблями и тихо о чемъ-то переговариваются. Въ густой ржи кричатъ перепела, какъ-то особенно рѣзко звенятъ кузнечики.

Огненной змѣей сверкнула молнія по черной тучѣ и освѣтила поднявшіяся надъ болотомъ причудливыя полосы тумана. Ударилъ громъ, упало нѣсколько крупныхъ капель холоднаго дождя и еще, и еще...

Что-то черное и страшное опустилось надъ землею. Замолчали перепела и кузнечики, и тишина сдѣлалась напряженной и жуткой; шедшій впереди съ Домной отецъ говорилъ еще тише, а телѣга скрипѣла все громче и печальнѣе. Туча проходила мимо, все рѣже и рѣже доносились глухіе раскаты грома, засинѣло очистившееся небо, засвѣтились звѣзды, и только далеко впереди, гдѣ на синемъ горизонтѣ повисло темное облако, время отъ времени что-то сверкало ровнымъ бѣлымъ свѣтомъ.

— Ктой-то смотритъ, маменька! Вонъ глядитъ, вонъ глядитъ... Бо-юсь, маменька, бо-юсь,—прижимаясь къ матери и вся дрожа, громко закричала Даша.

Дремавшая и покачивавшая головой мать открыла глаза и стала утѣшать Дашу.

— Это зарница, дурочка... Боженька на землю смотритъ, хорошо ли хлѣбъ растетъ. А ты и говори: Заря моя, зорѣница, зори-зори хлѣбушко!..

Вдали все сверкаетъ... Словно поднимается тяжелая темная бровь и чей-то глазъ, огромный и свѣтлый, выглядываетъ изъ-за края неба и пристально смотритъ на землю. А Даша жмется къ матери и трепещущимъ голосомъ, слово умоляя кого-то, говоритъ сквозь слезы:

— Заря моя, зорѣница, зоря моя, зоренька, зори-зори хлѣбушко!..

Я слышу ласковыя слова и смутно чувствую, какъ меня куда-то несутъ и скрюченные жесткіе пальцы осторожно гладятъ меня по головѣ, но глаза мои не открываются и я засыпаю мертвымъ сномъ на своемъ войлокѣ.

II. Домна.

— Дай Богъ тебѣ здоровья, Домна! Безъ тебя и не управились бы...—говорилъ изрѣдка отецъ послѣ спѣшной полевой работы — сѣнокоса и въ особенности того горячаго жнитва, когда рожь начинаетъ осыпаться и когда приходилось рвать - работать, напрягая до послѣдней степени человѣческіе мускулы и нервы.

Я не могу представить себѣ вообще, какъ управлялись бы мы безъ Домны, какъ шло бы безъ нея наше большое, въ сущности чисто крестьянское хозяйство. Сухая, словно выкованная съ своими жилистыми, скрюченными пальцами, она не отставала отъ мужиковъ ни въ пашнѣ, ни въ косьбѣ, ни въ молотьбѣ, — коса въ косу, цѣпъ въ цѣпъ шла она за отцомъ, и крутогорскіе мужики только дивились на ея работу. Кромѣ всего того мужицкаго дѣла, которое она справляла съ отцомъ, она же вмѣстѣ съ матерью и старшей сестрой Настей несла всю тяготу бабьей работы—копала и полола огородъ, помогала бабушкѣ въ кухнѣ, обряжала весь скотъ, за исключеніемъ Сивки, уходъ за которымъ лежалъ всецѣло на отцѣ.

Не даромъ на селѣ говорили про Домну „зла работать“—у нея была какая-то жадность къ работѣ. Еще до солнца, когда всѣ спятъ, она успѣваетъ сбѣгать, прихвативши кого-нибудь изъ сестеръ, въ лѣсъ и „наломать“ грибовъ, весь день работаетъ не покладая рукъ и ложится послѣдней, не раздѣваясь, примостивши

подъ голову какое-нибудь брошенное старое отцовское полукафтанье.

Къ характеристикѣ Домны, которую дѣлали мужики, бабы обыкновенно прибавляли:

„И баять зла“. Бабы хорошо знали способности Домны и не особенно охотно вступали съ ней въ продолжительные диспуты. А поводовъ было такъ много. Выклюетъ нашъ пѣтухъ, большой драчунъ, глазъ какому-нибудь другому пѣтуху, зайдетъ ли чужая корова въ нашъ огородъ, -- разгорятся страсти, и у колодца, куда по утрамъ сходились бабы съ ведрами, начинается словопреніе, а я любуюсь изъ окна, какъ Домна побѣдоносно расправляется со своими противницами.

Домну побаивались на селѣ и не по тому одному, что „баять зла“. Она была знаменитая коровья повитуха, къ которой нерѣдко приходилось обращаться за помощью. Никто лучше Домны не умѣлъ заговаривать кровь, злые бабьи языки потихоньку поговаривали даже, что она пускаетъ на людей „килы“ и умѣетъ заговаривать слѣды, отъ чего человѣкъ начинаетъ сохнуть.

Вслѣдствіе всего этого Домна пользовалась въ селѣ нѣкоторымъ почетомъ, и даже дядя Селиванъ, съ высоты своего пастушьяго величія довольно пренебрежительно относившійся къ женскому сословію, удостаивалъ Домну особеннымъ вниманіемъ и, когда въ очередной день ночевалъ у насъ, велъ съ ней за ужиномъ степенныя и длинныя разсужденія о психическихъ и физическихъ особенностяхъ нашихъ сельскихъ коровъ и о коровьей повадкѣ вообще.

Домна знала свое значеніе въ домѣ и держалась властно и деспотично. Съ моей матерью она обращалась фамильярно-покровительственно и читала ей нравоученія, когда мать ссорилась съ бабушкой.

— А ты покорись свекрови-то. Цай,— Домна „цокала“,—постарше она, и поклониться можно, не отва-

лится голова-то! Больно вы, погляжу я, молодыя-то бабы привередливы!

Зато, если отецъ, чѣмъ-нибудь разсерженный, начиналъ шумѣть и кричать на мать, Домна принимала ея сторону и безцеремонно говорила отцу:

— Ну, ну воевода, Аника-воинъ, расхрабрился съ бабами-то да съ ребятами? Шель бы ты, дьяконъ, ригу поправить—вонъ вѣтромъ весь уголъ разметало.

Отецъ молча надѣвалъ свой треухъ, кажется, доставшійся ему по наслѣдству отъ бабушкина отца, и шелъ поправлять ригу.

Съ бабушкой она была въ сдержанно-дипломатическихъ отношеніяхъ — обѣ были властныя и непокорныя,—но очень почитала ее, какъ владыку дома, и въ особенности какъ хранительницу старыхъ устоевъ. Домна была „по старой вѣрѣ“ и ей нравилось, что бабушка вела домъ по старинному и соблюдала всѣ древніе, переходившіе изъ рода въ родъ, обычаи.

И сама бабушка, хотя и была дочь священника и жена священника, складывая крестъ, вытягивала два пальца длиннѣе, чѣмъ слѣдовало, и иногда молилась какими-то особенными молитвами, которыми молилась еще только Домна.

Работница-раскольница отлично уживалась въ домѣ православнаго дьякона.

Домна не ходила въ церковь, не исповѣдывалась, не причащалась, садясь за столъ, ѣла своей ложкой и изъ отдѣльной чашки, которую держала въ укладкѣ. Изъ укладки же вынимала по вечерамъ свой образокъ, который и ставила въ божницу, тихонько отодвигая къ сторонкѣ наши образа.

Когда отецъ бывалъ въ веселомъ расположеніи духа, онъ пробовалъ осторожно шутить надъ Домной.

— Чай щи-то вкуснѣе въ твоей чашкѣ?

Она дружелюбно огрызалась:

— Я твоей вѣры, дьяконъ, не трогаю и ты мою не

трожь.—И многозначительно прибавляла:—тамъ, братъ, разберутъ—кого куда!

Иногда на Домну находилъ „стихъ“,—она гремѣла ухватами у печки, огрызалась на насъ, если мы подвертывались подъ руку, и выискивала всякіе предлоги къ ссорамъ. Возникали кухонныя осложненія, Домна считала себя обиженной и начиналась исторія.

Домна собираетъ обѣдъ или ужинъ, но сама не садится за столъ, какъ всегда было принято, вмѣстѣ съ нами и демонстративно примащивается со своей ложкой и чашкой гдѣ-нибудь въ сторонѣ на скамеечкѣ, отдѣльно отъ насъ.

— Ты что не садишься? — говорилъ отецъ, выходя въ кухню и уже начиная сердиться.

— Да я ужъ одна...—смиреннымъ тономъ говоритъ Домна. — Цово ужъ... Кушайте себѣ на здоровье!

Въ кухнѣ водворяется молчаніе.

— Садись, Домна...—говоритъ угрюмо отецъ. — Будетъ тебѣ...

Домна продолжаетъ смиренно хлебать щи и выждавши моментъ, когда всѣ были достаточно удручены, говоритъ про себя:

— Рази я не понимаю!.. Извѣстно куфарка...

Домна называлась роботницей, по нашему рѣзкому выговору на *о*; роботницей, а въ словѣ куфарка, должно быть, для нея заключалось нѣчто неимовѣрно язвительное и унизительное.

Такъ, очевидно, понималъ и отецъ. Онъ выходилъ изъ себя, допрашивалъ Домну, кричалъ на насъ. Только послѣ долгихъ упрашиваній отца, матери и бабушки. Домна удостоивала присоединиться къ намъ и миръ возстановлялся на болѣе или менѣе продолжительный срокъ.

Больше всѣхъ привязана была Домна къ отцу. Она любила его за могучую силу, за домовитость, за крестьянскую работу, степенный серьезный характеръ

и въ особенности за то, что онъ пріютилъ ее съ маленькой Θеклушкой, когда лошадь привезла въ село заблудившагося и замерзшаго въ метель ея мужа. Съ девяти лѣтъ она начала отдавать Θеклушку въ няньки къ вдовымъ мужикамъ, окрестнымъ батюшкамъ, — Θеклушка давно уже выросла, жила на жалованьи и числилась въ невѣстахъ, а Домна все продолжала жить у насъ.

Своего хозяйства она совсѣмъ не бросала, сѣяла ленъ и коноплю, изъ которой пряла и ткала холсты для своей Θеклушки, иногда убирала при помощи отца полоску ржи или овса и, вѣроятно, это—она получала у насъ рубль въ мѣсяцъ — служило подспорьемъ въ бюджетѣ Домны. Изба ея стояла весь годъ заколоченной, и только осенью пріѣзжавшіе изъ другого уѣзда крашенинники снимали ее у Домны и жили тамъ, пока не успѣвали перекрасить толстые крестьянскіе холсты въ синюю крашенину, въ которой ходило все село, кромѣ молодыхъ дѣвокъ и парней, начинавшихъ щеголять въ ситцѣ.

Я бывалъ иногда съ Домной въ ея избѣ. Вроставшая въ землю, темная, низенькая, съ покосившимися стѣнами, закоптѣлымъ потолкомъ, гнилыми синими половицами и тѣмъ никогда не выходившимъ изъ нея кислымъ промозглымъ запахомъ краски, Домнина избушка выглядѣла жалкой и бѣдной, а Домна указывала мнѣ на толстыя балки и бревна стѣнъ, водила меня по развалившимся клѣтямъ и хлѣвамъ, на заросшій бурьяномъ и крапивой огородъ и все хвалила свои владѣнія, все разсказывала изъ какого отборнаго лѣса строили они съ мужемъ свою избу и какая рѣдкостная капуста и рѣдька родились въ ея огородѣ и какъ легко уладить избу въ лучшемъ видѣ.

— Вотъ только батюшкѣ твоему покуцусь... И дѣловъ-то самый пустякъ. Половицы маленько подцистить,

да бревнушко-другое перемѣнить, да крышу цуть уютить... Смотри, изба-то кака будетъ!

Я только долго спустя понялъ, какъ безумно любила Домна свою избу и свое мѣсто, съ какой жадностью мечтала она о своемъ углѣ и о томъ времени, когда она будетъ жить своимъ домомъ, на своемъ хозяйствѣ. Эта мечта на моихъ глазахъ начала осуществляться, но какъ не долго радовалась Домна, и какъ скоро и печально все это кончилось!

Домна выдала свою Θеклу за Гришку-подпаска, сына Селивана-пастуха.

Селиванъ приходилъ къ намъ верстъ за сорокъ изъ той полосы песковъ, которая проходила черезъ всю губернію и занимала югъ нашего уѣзда. Тамъ мотали шелки, оттуда приходили къ намъ портные, офени съ коробами, пріѣзжали такъ называемые „щепетильники“ со всякими товарами, потребными деревенскому люду. Село Селивана изстари занималось пастушествомъ, и какъ по Волгѣ и Камѣ есть села, гдѣ все мужское населеніе занимается лѣтомъ лоцманствомъ, такъ и село Селивана по лѣтамъ пустѣло, и оставались однѣ бабы и дѣвчонки, возившіяся съ огородами и картошкой. Дядя Селиванъ болѣе двадцати лѣтъ изъ года въ годъ являлся къ намъ къ Егорьеву дню и давно началъ водить съ собой въ качествѣ подпаска своего единственнаго сына Гришку.

Повидимому, Домна давно облюбовала Гришку. Жалѣла ли она его сиротство—онъ остался году безъ матери,—просто ли нравился ей этотъ большой сильный ребенокъ, добрый, покладистый и такой наивный и безпомощный, только она очень привязалась къ Гришкѣ и ходила за нимъ, чинила одежду, разъ выпросила у прижимистаго дяди Селивана денегъ на красную кумачную рубашку, о которой давно мечталъ Гришка, а въ очередной день, когда пастухи ночевали у насъ,

подавая ужинъ, клала передъ Гришкой цѣлую груду ломтей хлѣба, подбавляла щей и все приговаривала:

— Ѣшь, Гришенька, ѣшь, нагуливай тѣла, а то дѣвки любить не будутъ.

Разъ дядя Селиванъ пришелъ къ намъ больной, черезъ силу промаялся до Петрова дня и померъ. Міръ оставилъ Гришку допасывать лѣто и далъ ему въ подпаски Кузьку-шестипалаго, мірского сироту, жившаго на попеченіи общества. Въ то же лѣто стало извѣстно, что Домна принимаетъ къ себѣ въ домъ Гришку въ зятья. Какъ ни бѣдна была Домна и какъ ни убого было ея хозяйство, на селѣ очень удивились. За Гришкой признавались пастушьи таланты, но чтобы изъ набаловавшагося въ пастухахъ, не пріобыкшаго какъ должно къ крестьянской работѣ рохли и разгильдяя, изъ этого нескладнаго и всегда словно соннаго подпаска вышелъ настоящій пахарь и настоящій хозяинъ— никто не думалъ.

Сердобольныя сосѣдки очень охотно дѣлились съ Домной своими опасеніями и общими толками; но, къ моему удивленію, суровая, широко расходовавшая свои голосовыя средства, Домна на этотъ разъ не пускалась въ споры и на всѣ предостереженія уклончиво отвѣчала:

— Какъ Богъ велитъ... тамъ видно будетъ.

III. Гришка-подпасокъ.

Мое знакомство съ Гришкой относится, такъ сказать, къ пастушескому періоду моей жизни.

Когда намъ было лѣтъ по семи-восьми и мы не годились еще ни боронить, ни ворошить сѣно, ни ѣздить въ ночное, намъ предоставлялась полная свобода, и съ ранней весны, лишь только начинали обна-

жаться поля, и до поздней осени, когда босыя ноги прилипали къ мерзлой землѣ, мы вели удивительную жизнь,—можно сказать, паслись на подножномъ корму. Засунувъ за пазуху круто посоленый ломоть чернаго хлѣба, съ солнышкомъ исчезали мы изъ дому, солнышко же и загоняло насъ въ избы. Прежде всего на поляхъ появлялись пестики, вылѣзалъ изъ земли щавель, въ берегахъ бочаговъ мы разыскивали земляные орѣшки, выкапывали какіе-то сладкіе корни, въ лѣсу соскабливали съ сосны залегавшіе между корой и древесиной, тоненькія нѣжныя волокна, которыя въ избахъ ѣли съ солью и постнымъ масломъ, а мы находили вкусными и безъ всякихъ приправъ, изъ надрѣзовъ березы пили сладкій сокъ. Когда луга покрывались травой, наше пропитаніе становилось обильнѣе: появлялась сладкая кашка, молочай, сочныя дудки.

Сначала мы жестоко платились, но потомъ желудокъ привыкалъ, и мы отгуливались, какъ отгуливается молодой скотъ на весеннихъ лугахъ. Дальше уже начиналась роскошь, — поспѣвала земляника и клубника, черника и гонобобель, наливался въ поляхъ горохъ, считавшійся въ нѣкоторомъ родѣ общественной собственностью—мужики сѣяли по весиѣ, такъ и приговаривали: „Сѣю горохъ возлѣ дорогъ, для ребятъ—для воровъ“.

А въ лѣсу полная чаша—и малина, и черемуха, и черная смородина, и рябина; грибы, орѣхи, и, помню, все это было необыкновенно вкусное. Устраивали себѣ и дессертъ,—въ старыхъ ометахъ соломы водился большой красный шмель, подъ лѣснымъ мхомъ—маленькій сѣрый. Мы разыскивали гнѣзда и соломинкой выпивали медъ изъ сотовъ.

Дождикъ вымочитъ, солнце высушитъ, изъ луга въ лѣсъ, изъ лѣса купаться въ бочаги; прикурнемъ гдѣ-нибудь на песочкѣ, а тамъ опять гурьбой, куда вѣ-

тромъ потянетъ, какъ воробьи, что стаями носятся по задворкамъ.

Центромъ нашихъ лѣтнихъ скитаній былъ Гришка со своимъ стадомъ. Если полдень заставалъ недалеко отъ села, мы забѣгали въ очередную избу и несли пастухамъ обѣдъ.

Къ полдню Селиванъ пригонялъ скотъ къ лѣску, чтобы укрыться отъ жары. Солнце жжетъ немилосердно, коровы устало отмахиваются отъ тучи гудящихъ надъ ними слѣпней и большихъ злыхъ мухъ, сбившись въ кучу, съ опущенными головами стоятъ у опушки овцы. Еще издали доносится рожокъ, и двѣ рыжія, лохматыя собаки съ веселымъ лаемъ встрѣчаютъ насъ. Дядя Селиванъ тотчасъ же послѣ обѣда засыпаетъ, примостившись гдѣ-нибудь въ холодкѣ, и тутъ начинается наше раздолье. Гришка высѣкаетъ кремнемъ огонь, разводитъ огнище и, чтобы хоть немного отогнать слѣпней, время отъ времени подбрасываетъ зеленыя вѣтки можжевельника и ели, а мы усаживаемся въ кружокъ, жаримъ картошку на тоненькихъ палочкахъ, печемъ грибы или рыбу, если стадо отдыхаетъ недалеко отъ рѣки, а Гришка разсказываетъ намъ новости дня.

Ихъ всегда много и всѣ онѣ необыкновенныя. Волкъ вдругъ выскочилъ, Гришка огрѣлъ дубинкой, а онъ перевернулся, оскалилъ зубы, да какъ засмѣется, — и пропалъ. А то человѣкъ вышелъ незнамо какой, спросилъ что-то, повернулъ за лѣсину — и нѣтъ его. А другой разъ корову *онъ* завелъ въ такую чащу, что только диву даешься, какъ она пролѣзла.

Человѣкъ мало освѣдомленный могъ подумать, что это обыкновенный волкъ и человѣкъ—какъ человѣкъ и корова сама заблудилась, но мы понимали. Обыкновенный волкъ не полѣзетъ на дубинку и всегда убѣжитъ отъ человѣка, а мужики на десять верстъ въ *окр*угѣ всѣ на жати были, да и съ какой стати пут-

ный мужикъ по лѣсу бродить будетъ въ навозницу, либо въ жнитво,—и намъ не нужно было спрашивать, *кто* завелъ корову.

Гришка разсказываетъ равнодушнымъ голосомъ, какъ давно извѣстныя вещи, а мы волнуемся, и глаза у насъ испуганные и сердца учащенно бьются. Намъ извинительно,—и малы мы еще, да и намъ, ребятамъ, больше приходится имѣть дѣло съ тѣмъ, который по хлѣвамъ да по овинамъ управляется, Гришка же въ курсѣ всякой нечисти. Да Гришкѣ и нельзя иначе, цѣлый день съ *нимъ* путается, а онъ постоянно норовитъ устроить какую-нибудь каверзу, почему Гришка и изучилъ всѣ его штуки и повадки.

„Шишига", „лѣшій", а тѣмъ болѣе чортъ, мы боимся произносить и говоримъ *онъ*, либо „цорный", говоримъ не такъ, чтобы очень громко, чтобы *ему* не слыхать было, а то сейчасъ явится, бывали примѣры: „ты пошто, скажетъ, звалъ?" И отвѣчай ему. Гришка тутъ же даетъ объясненія какъ съ нимъ обходиться надо. Самое лучшее –кругъ около себя очертить, перекрестить его да сказать: „наше мѣсто свято". Вообще крестъ тутъ первое дѣло, это мы твердо знали, и никто изъ насъ, да и изъ взрослыхъ не рѣшился бы безъ креста купаться, или въ лѣсъ идти.

Гришка вообще очень освѣдомленъ и считается между нами признаннымъ авторитетомъ; онъ понимаетъ, отчего въ тихое время шумъ вдругъ пробѣжитъ по верхушкамъ деревьевъ и особеннымъ голосомъ закричитъ птица въ лѣсу, и овцы шарахнутся въ сторону, а коровы вытянутъ шеи и замычатъ протяжно и испуганно; знаетъ, почему въ омуту вдругъ вода воронкой закипитъ и начнетъ метаться рыба—и многое другое, что всѣ видятъ, да не всякій понимаетъ, что къ чему. Онъ не только понималъ все это до тонкости, но и видѣлъ, чего другимъ не удавалось видѣть. Такъ, напримѣръ, всѣ на селѣ знали, что къ Агаѳьѣ-солдаткѣ

огненный змѣй летаетъ, съ тѣхъ поръ какъ затосковала она по мужѣ, котораго въ солдаты забрили, но никто изъ насъ самолично змѣя не видалъ, а Гришка видѣлъ и намъ потомъ разсказалъ.

— Выхожу я ночью изъ сарая и вижу, въ родѣ какъ шаръ огненный надъ селомъ летитъ и сзади хвостъ... Искры изъ него сыплются, какъ зашипитъ — и прямо къ ней, къ Агаѳьѣ, въ трубу...

Много удивительныхъ исторій разсказывалъ намъ Гришка, и я боюсь, что за необыкновенными исторіями онъ плохо зналъ обыкновенныя дѣла и что реальный видимый міръ представлялся ему болѣе туманнымъ и фантастическимъ, чѣмъ тотъ, въ которомъ постоянно онъ жилъ, и что онъ былъ ребенокъ какъ мы,—этотъ большой нескладный семнадцатилѣтній парень, пригнувшій однажды при насъ за рога разсвирѣпѣвшаго быка къ землѣ, умѣвшій считать только до десяти и плохо освѣдомленный насчетъ своихъ лѣтъ.

Я такъ помню его... Онъ лежитъ на животѣ и слушаетъ, подперши голову руками, какъ я разсказываю ему бабушкины сказки, житія святыхъ, которыя читаетъ дѣдушка изъ толстой книги по зимнимъ вечерамъ. Лицо застыло, большіе широко-открытые выцвѣтшіе на солнцѣ глаза, словно подернутые туманомъ, не отрываясь смотрятъ мнѣ въ лицо. Разомлѣвшіе отъ жары мои спутники засыпаютъ и мы остаемся одни, и Гришка все проситъ меня разсказывать и еще, и еще. Иногда онъ беретъ рожокъ и, прислонившись къ дереву, начинаетъ играть. Голубыми струйками медленно плыветъ въ неподвижномъ воздухѣ дымъ отъ огнища, пробирается между зелеными лапами ели и можжевельника, голубоватой дымкой повиснетъ надъ собравшимися къ огню коровами. Большіе глаза Гришки неподвижно смотрятъ поверхъ моря желтой ржи съ поникшими отъ жары колосьями, и нѣжные грустные звуки тихо несутся въ глубину лѣса, въ ширь желтыхъ полей.

Жара спадаетъ, потянулъ вѣтерокъ и унесъ тучи слѣпней и мухъ, стадо оживаетъ и застоявшіяся коровы бродятъ по опушкѣ лѣса. Оживаетъ и Гришка, и его сонное лицо преображается. Онъ бѣгаетъ по лѣсу, щелкаетъ своимъ кнутомъ, сурово кричитъ на насъ, если мы не какъ слѣдуетъ исполняемъ его приказанія, командуетъ собаками. Стадо собрано и медленно тянется въ село; впереди величественно выступаетъ Селиванъ, а Гришка зорко слѣдитъ за стадомъ и бѣгаетъ, и кричитъ, и щелкаетъ кнутомъ...

Передъ осеннимъ заговѣньемъ Гришку и поженили. Я помню, что мы, пріятели, принимали торжество отчасти на свой счетъ, очень гордились внезапнымъ превращеніемъ Гришки въ настоящаго мужика и весьма одобрительно смотрѣли, какъ онъ въ новой поддевкѣ тонкаго сукна и козловыхъ сапогахъ съ многочисленными складками стоялъ въ церкви рядомъ съ Ѳеклой, уставившись въ иконостасъ большими, словно испуганными глазами. Былъ свѣтлый, чуть морозный октябрьскій день, мы все время гурьбой провожали Григорія и Ѳеклу, пока они, взявшись за руки, съ вѣнцами на головахъ,—по нашему крутогорскому обычаю, — шли черезъ все село въ свое новое жилье, въ старую Домнину избушку.

Какъ чистила Домна свое жилье! Всю осень она мыла и скребла закоптѣлыя старыя стѣны, перестлала полъ новыми половицами, подвела подъ крышу два новыхъ вѣнца, покрыла свѣжей соломой, уютила дворъ, и старая изба словно поднялась и выпрямилась и, обнесенная новой завалинкой, весело смотрѣла на улицу своими новенькими рамами съ цѣльными стеклами. Въ хлѣву мычала годовалая телка отъ Краснухи, подаренная отцомъ молодымъ на новоселье, двѣ черныя ярочки, данныя на племя рощенникомъ Захаромъ Аѳанасьевичемъ — послѣднимъ хозяиномъ Ѳеклы, вертѣлись на дворѣ. А лучше всего было въ избѣ, гдѣ весело и

счастливо жили Ѳекла, съ дѣтства ходившая по чужимъ людямъ и расцвѣтшая въ своемъ домѣ, на своемъ хозяйствѣ, и Гришка, какъ-то сразу превратившійся въ Григорія, цѣлыми днями хлопотавшій на дворѣ, замазывавшій печку, уставлявшій новыя ворота въ старыхъ косякахъ и также, очевидно, счастливый своимъ самостоятельнымъ мужицкимъ хозяйствомъ, своимъ домомъ, своимъ семейнымъ уютомъ...

Я и сестры часто бѣгали въ Домнину избушку, ужъ очень тамъ весело и привѣтливо было. Въ божницѣ стояли старые образа Селивана, принесенные Григоріемъ изъ своей деревни, и новый, украшенный фольгой, образъ Ѳеклы, висѣла красненькая фигурная лампадка, и сбоку у окна было прибито наставленіе Іоанна Златоуста. На стѣнахъ висѣли мыши, хоронившіе кота, синій генералъ размахивалъ саблей надъ кроваво-краснымъ строемъ солдатъ. Горшки и ухваты, крашенныя деревянныя чашки и ложки, чистый полъ и изъ новыхъ бѣлыхъ досокъ полати, все это чистенькое, не успѣвшее закоптѣть, потемнѣть, какъ не успѣвшія состариться и покрыться морщинами молодыя лица хозяевъ, все это такъ хорошо скрашивало старыя темныя стѣны Домниной избушки.

Домна, очевидно, лучше понимала и вѣрнѣе оцѣнила Григорія. На селѣ скоро перестали подсмѣиваться и съ любопытствомъ и сочувствіемъ наблюдали, какъ онъ устраивается на своемъ новомъ хозяйствѣ.

Къ зимѣ Домна развязала свой послѣдній чулокъ и купила зятю лошадь, а въ ту зиму Захаръ Аѳанасьевичъ сводилъ рощу у Полозовскаго барина и Григорій съ лошадью хорошо заработалъ за зиму. Весной онъ поднялъ паръ, посѣялъ яровое, Ѳекла уладила огородъ, такъ долго лежавшій заброшеннымъ, лѣто выпало удачливое, къ осени у молодыхъ былъ и овесъ для коня, и гречиха, и горохъ, и капуста, и огурецъ. Только хлѣбъ еще покупали, зато озими взошли чудесно и

лежали какъ зеленый бархатъ. Къ Покрову зыбка съ Никиткой качалась въ Домнинoй избушкѣ, въ хлѣву мычала корова съ теленкомъ, прибавилось и овецъ, хрюкала супоросая свинья.

Отъ прежняго Гришки-подпаска ничего не осталось. Онъ подобрался и какъ-то вытянулся, и безцвѣтные желтоватые дѣтскіе глаза потемнѣли и смотрѣли съ новымъ упорнымъ и сосредоточеннымъ выраженіемъ. Повидимому, Домна привила ему свою жадность къ работѣ и свою страстную мечту зажить полнымъ домомъ, настоящимъ хозяйствомъ, какъ люди живутъ. Григорій работалъ, не покладая рукъ, онъ арендовалъ лужокъ у помѣщика Созонта Дмитрича, взялъ у Захара Аѳанасьевича денегъ подъ зимнюю работу и купилъ вторую лошадь. И все разгорались мечты Григорія, и новая сказка жизни все болѣе покоряла его...

Лѣтомъ былъ готовъ новый срубъ, рожь уродилась чудесно, подошло жнитво, и я видѣлъ какъ Домна и Григорій съ женой жали свою жниву, какъ, не зная ночи, убирали свою рожь, свой первый хлѣбъ...

Домна уже заявила отцу, что послѣ молотьбы она уходитъ къ своимъ, въ свою избу...

Григорій дорого поплатился за свою жадность къ работѣ, за свои разгорѣвшіяся мечты.

Былъ второй Спасъ—храмовой праздникъ въ нашихъ Крутыхъ Горахъ. Выходя съ отцомъ изъ церкви послѣ обѣдни, мы увидѣли толпу разряженныхъ по праздничному мужиковъ и бабъ, бѣжавшихъ по направленію къ Домнинoй избѣ. Въ открытыхъ настежь воротахъ толпился народъ, странно молчаливый, жавшійся въ кучу и словно не смѣвшій войти внутрь. Толпа разступилась и дала намъ дорогу.

На перекладинѣ посередь двора на новыхъ ременныхъ вожжахъ висѣлъ Григорій въ красной кумачной рубахѣ и блестящихъ козловыхъ сапогахъ. Я не могъ долго смотрѣть на посинѣвшее лицо съ выкатившимися

глазами и закушеннымъ языкомъ—оно было страшно и смотрѣло злобно. Какъ разъ подъ нимъ лежала издохшая лошадь съ раздутымъ животомъ, другая такая же раздутая лошадь лежала невдалекѣ у входа въ хлѣвъ. Въ толпѣ слышались замѣчанія:

— Вишь верето-то разворочено и ржи чуть осталось, — говоритъ кто-то. — Я видѣлъ ночью, съ гумна везъ Григорій-то, баялъ — на мельницу послѣ праздника ѣду, своево хлѣба попытаю. Навалились лошади на рожь-то, вона какъ разнесло...

— Волосики-то расчесалъ, ма-асломъ намазалъ,— причитала какая-то баба.—Въ оде-е-ежѣ... Въ церковь видно срядился, вышелъ на дворъ, видитъ ни ржи, ни лошадей, ну и не стерпѣлъ...

Мужики поддержали объясненія бабы.

— Главное дѣло не передохнулъ, — слышались замѣчанія.—Ему бы передохнуть, сердешному, дѣло наживное, работникъ-то какой—золото! А тутъ подкатило подъ сердце...

Отецъ распорядился распустить вожжи и опустить тѣло. Оживлять нечего было и думать: Григорій, очевидно, повѣсился, когда звонили къ обѣднѣ, и былъ уже холодный, тѣмъ не менѣе отецъ что-то возился около него. Въ сѣняхъ бабы отхаживали лежавшую безъ памяти Ѳеклу, когда въ толпу вбѣжала запыхавшаяся Варька.

— Маменька кличетъ, — обратилась она къ отцу.— Что-то Домна бьется...

Мы побѣжали домой, у нашего крыльца также собралась толпа народа. Домна была ужасна въ эту минуту. Съ распустившимися космами сѣдыхъ волосъ, съ исказившимся злобнымъ лицомъ она каталась по полу, билась головой о что попало и выла дикимъ нечеловѣческимъ голосомъ. Она рвала на себѣ волосы своими крючковатыми пальцами и все тянулась къ порогу,—повидимому, ей хотѣлось удариться головой объ

острый край его — и искусала руки матери и Насти, которыя еле удерживали ее. Отецъ схватилъ Домну какъ ребенка своими огромными руками и унесъ въ свою темную каморку. До насъ доносилось оттуда тихое гудѣнье отцовскаго баса, время отъ времени снова раздавался дикій, ужасный вопль, мы вздрагивали и начинали плакать, и снова мягкими нотами гудѣлъ отцовскій голосъ.

Полгода Домны не было, я не знаю, гдѣ она пропадала, а черезъ полгода она опять явилась къ намъ похудѣвшая, совсѣмъ сѣдая, унылая и тихая. Къ удивленію всей семьи она стала усердно ходить въ церковь, приняла „Григорьеву“ вѣру, какъ говорила она, записала его на вѣчное поминовеніе, служила панихиды, чтобы замолить грѣхъ его, и все плакала на могилѣ. Приготовленный срубъ продали, избу Домны снова заколотили, а Ѳеклу съ ребенкомъ, ни за что не хотѣвшую оставаться въ своей избѣ, отецъ устроилъ къ Карлу Адамычу, управляющему генеральши Солтухиной, большому пріятелю моего отца. Одинокій старикъ нѣмецъ очень привязался къ ребенку, выучилъ Ѳеклу стряпать, такъ что послѣ его отъѣзда Ѳекла переѣхала въ городъ и нашла хорошее мѣсто. Никишку отдали въ ученье, и много лѣтъ спустя мнѣ пришлось увидѣть на улицѣ нашего города новенькую вывѣску: „Никита Филадельфъ изъ Гельсинфорса“.

А Домна все жила у насъ и все работала, пока хватало силъ. Такъ и не сбылась ея мечта о своемъ углѣ: она умерла у насъ, въ чужой семьѣ, въ чужомъ углу гораздо ранѣе, чѣмъ новенькая вывѣска Никиты Филадельфа украсила улицу нашего города.

Иногда я слышу рожокъ и мнѣ становится такъ грустно... Голубой дымокъ вьется надъ неподвижнымъ стадомъ, плачетъ рожокъ, подернутые туманомъ большіе глаза прислонившагося къ дереву большого ребенка смотрятъ широко и вопрошающе на Божій міръ...

IV. Дѣдушка Дормидонъ и майоръ Матвѣй Панфилычъ.

Было это давно-давно, когда еще мужикамъ волю не объявляли и къ солдаткѣ Агаѳьѣ леталъ по ночамъ огненный змѣй, когда семья наша была въ полномъ сборѣ, живы были дѣдушка и бабушка и жили мы въ томъ старомъ домѣ, крытомъ соломой, состоявшемъ всего изъ двухъ комнатъ, кухни и горницы, и когда я еще не приступалъ къ складамъ, такъ омрачившимъ впослѣдствіи мои юные дни...

Когда мнѣ приходятъ на память тѣ давнія времена, я вспоминаю дѣдушку Дормидона и майора Матвѣя Панфилыча...

Дѣдушка Дормидонъ — длинный-длинный, какъ жердь, и когда стоитъ въ церкви у печки, на своемъ постоянномъ мѣстѣ, цѣлой головой поднимается надъ толпой. Черепъ у него совсѣмъ голый, какъ колѣнка, лицо старое, сморщенное, сѣдая щетина торчитъ на выдавшемся остромъ подбородкѣ, а черезъ все лицо, наискось отъ лѣваго глаза, перерѣзывая губу и подбородокъ, тянется широкій рубецъ. Въ праздникъ дѣдушка одѣвается въ чудной мундиръ,—спереди какъ фракъ, а сзади фалдочки узенькія и длинныя, на рукавѣ—нашивки, на груди—ордена. За отсутствіемъ брюкъ одѣтъ въ бѣлые холщевые портки, въ рукѣ палка длиною съ добраго мужика.

Майоръ Матвѣй Панфилычъ—коротенькій, толстенькій. Одна нога деревянная, вмѣсто лѣвой руки пустой рукавъ болтается, лицо красное и всегда потное, а голова лысая, только по краямъ въ родѣ ободочка волосами обведена. Орденовъ у Матвѣя Панфилыча вп-

димо-невидимо, вся грудь увѣшана, и мы, мальчишки, во время обѣдни глазъ съ него не сводимъ, когда стоитъ онъ со своей супругой впереди народа передъ амвономъ. Всякое воскресенье нашъ пономарь Лука Лукичъ выноситъ изъ алтаря двѣ просвирки,—одну для майора, а другую для дѣдушки Дормидона.

Когда служба кончается, мы, мальчишки, собираемся въ оградѣ и смотримъ, какъ здороваются майоръ и дѣдушка Дормидонъ. Дормидонъ вытягивается во всю длину своего неимовѣрнаго роста и дѣлаетъ подъ козырекъ, майоръ торопливо машетъ имѣющейся въ наличности рукой, вынимаетъ изъ кармана табакерку съ какимъ-то рисункомъ и любезно протягиваетъ своему собесѣднику. Оба запускаютъ пальцы, нюхаютъ, чихаютъ, желаютъ другъ-другу здравствовать и идутъ потихоньку по улицѣ въ гости къ моему отцу, а мы провожаемъ ихъ гурьбой и смотримъ, какъ словно на ходуляхъ шагаетъ своими длинными, уже плохо сгибающимися ногами дѣдушка Дормидонъ и какъ ловко вывертываетъ деревяжкой Матвѣй Панфилычъ.

Я забираюсь съ сестрами на полати, мы ложимся на животы и смотримъ внизъ, гдѣ за убраннымъ чистымъ столешникомъ столомъ мать и бабушка угощаютъ гостей. Сначала все идетъ чинно. Дормидонъ подставляетъ майору свою берестяную тавлинку, и опять оба чихаютъ и здравствуются, а потомъ пойдутъ разсказы.

Бабушка присядетъ къ столу, подопретъ голову рукой и слушаетъ,—очень любила она разсказы про генераловъ, про войну, про сраженія,—дѣдушка трясетъ въ переднемъ углу маленькою сѣденькою головкой, отецъ сидитъ и слушаетъ и по своей привычкѣ глубоко вздыхаетъ, мать подолгу стоитъ у стола съ засученными рукавами и съ заткнутымъ фартукомъ, Домна у печки на ухватъ обопрется, глазъ не сводитъ.

Голосъ у майора тоненькій теноркъ и говоритъ

онъ—часто сбивается и путается—и постоянно обтираетъ лысину платкомъ. И разсказываетъ онъ про черкеса, про Чечню, про Шамиля неугомоннаго, про генерала Ермолова; а дѣдушка Дормидонъ станетъ разсказывать, какъ топоромъ рубитъ,—голосъ грубый, хриплый и все только про одного Суворова и говоритъ! Какъ Аршаву брали, Альпу-гору переходили, съ французомъ бились...

Выпьетъ Дормидонъ лишнюю рюмочку, разгорится его сердце, и пойдетъ онъ честить майоровыхъ генераловъ.

— Енаралы!.. Нашелъ, про кого говорить... Въ бабки бы имъ играть... Тоже славные полководцы! Черкеса ловили... Въ родѣ какъ на конокрада войной ходили!..

Майоръ краснѣетъ, конфузится и пробуетъ заступиться за своихъ генераловъ.

— Извольте прислушать, Дормидонъ Семенычъ... Взять къ примѣру Алексѣя Петровича Ермолова—орелъ! Либо Евдокимова графа,—изъ простого званія до графскаго титула дошелъ, тоже люди были. Опять же горецъ... Что говорить, не съ французомъ сравнить, противъ пушки онъ плохъ, а засядетъ наверху на скалѣ, какъ орелъ въ гнѣздѣ, а скала-то стѣна стѣной, вотъ ты и возьми его! Тоже русскаго народа полегло—конца края нѣтъ!..

Но дѣдушка Дормидонъ рѣшительно не признаетъ никакихъ стоющихъ генераловъ, кромѣ Суворова, да пожалуй еще Михайлы Ларивоныча Кутузова, котораго онъ зналъ еще молоденькимъ офицерикомъ, какъ съ туркой бились.

Публика на сторонѣ Дормидона,—генералъ Суворовъ былъ окруженъ у насъ особымъ ореоломъ.

— Да ужъ что̀ толковать!—протяжно говоритъ бабушка,—генералиссимусъ... И на патретѣ подписано: „Всегда побѣждалъ, никогда побѣжденъ не бывалъ“.

Повидимому и майоръ понималъ, что ему со своими генералами противъ Суворова не выстоять, и постепенно оставлялъ поле сраженія своему собесѣднику.

А дѣдушка Дормидонъ примется разсказывать про итальянскій походъ. Разсвирѣпѣетъ иной разъ старый воинъ, вдругъ вытянется изъ-за стола во весь свой огромный ростъ, лицо нальется кровью и широкій рубецъ побѣлѣетъ,—да и загремитъ на всю кухню:

— Коли—руби! Коли—руби!

И намъ на полатяхъ сдѣлается страшно, и мы жмемся другъ къ другу.

Дѣдушка Дормидонъ былъ нашъ, крутогорскій. Всѣ его родные давно перемерли, и оставалась только отданная въ другое село старая старуха, какая-то внучатная племянница. Жилъ онъ на мірской счетъ—мѣсячину получалъ—въ отведенной ему избушкѣ на задахъ у Антона-бабы, тамъ же міръ помѣстилъ старушку безродную, бабушку Ненилу, скрюченную пополамъ, такъ что на ходу она въ землю смотрѣла, да Кузьку-шестипалаго, прижитаго въ городѣ солдаткой Степанидой и оставшагося послѣ смерти матери круглымъ сиротой. Такъ и жили втроемъ въ родѣ семьи; Ненила стряпала, дѣдушка избу облаживалъ, а Кузька, любимецъ Дормидона, всякими художествами занимался и проходилъ военную школу подъ руководствомъ стараго суворовскаго солдата.

Майоръ жилъ въ Жеребьевкѣ, маленькой деревнѣ нашего же прихода, верстахъ въ трехъ отъ Крутыхъ Горъ. Жеребьевскій крестьянскій парень, взятый въ солдаты, онъ всю жизнь провелъ въ бояхъ на Кавказѣ, и послѣ отставки пріѣхалъ къ намъ безъ руки и безъ ноги, израненный черкесскими саблями, съ майорскимъ чиномъ, съ увѣшанной орденами грудью и съ пенсіей, которой завидовали наши мужики.

— Пошлетъ Господь человѣку счастье... Зачѣмъ ему обѣ-то руки, да двѣ ноги? И безъ нихъ вонъ какъ поживаетъ, любо-дорого!—говорили они, глядя на распречудесное майорово житье.

Разыскалъ *майоръ* свою жену, ходившую въ работ-

ницахъ по батюшкамъ, деревенскимъ торговцамъ, одѣлъ ее въ шерстяное платье, шаль модную купилъ, кринолинъ ей сдѣлалъ, наколку на голову надѣлъ и зажилъ въ законѣ, честь-честью. Построили они домикъ сбоку Жеребьевки на выгонѣ, миткалевыя занавѣсочки повѣсили, герань въ горшкахъ развели и зажили въ свое удовольствіе.

Домикъ бѣленькій, новенькій, на пригорочкѣ стоялъ, кругомъ трава, лужокъ,—скота майоръ не держалъ, и двора у него не было,—а передъ домомъ цвѣтничекъ за палисадникомъ разбитъ. Мы, мальчишки, бывало, любили смотрѣть, какъ майоръ весной въ бѣломъ кителѣ съ разстегнутой грудью исхитряется, упираясь въ землю своей деревяжкой и налегая грудью на заступъ, ковырять свой цвѣтничекъ. Замѣтитъ насъ майоръ, къ себѣ позоветъ, шашки боевыя покажетъ, кинжалы черкесскіе, про Шамиля да про черкесовъ разскажетъ, на свободѣ, пространно, такъ какъ никто не мѣшаетъ ему,—слушаемъ мы, не перечимъ. А потомъ примется сигналамъ обучать насъ, приставитъ кулакъ ко рту и начнетъ выигрывать, какъ рожокъ: и атаку, и отбой, и зарю. Были изъ насъ люди способные, всѣ сигналы выучивали и, когда въ Крутыхъ Горахъ стѣнка на стѣнку выходили, музыкантъ атаку игралъ.

И все, бывало, въ гости ѣздилъ. Родня у него кругомъ большая по деревнямъ была, въ кумовья майора звали, въ посаженые отцы,—и вездѣ на первое мѣсто за почетный столъ. Съ батюшками компанію водить сталъ, съ управляющими, изрѣдка въ городъ ѣздилъ.

А жена его, какъ надѣла кринолинъ и наколку, такъ и заважничала. Въ тѣло скоро вошла, попивать стала, и надъ смирнымъ майоромъ большую волю взяла. Начнетъ мать наливкой угощать, ломается.

— Что-то ужъ и не охота... Не больно я смородинуто эту уважаю.

И пойдетъ разсказывать, у какихъ она важныхъ

господъ въ городѣ съ майоромъ была, да какъ ее лиссабонскимъ угощали.

Послѣ Домна, приходившаяся сродни майоровой женѣ, брапится.

— И охота тебѣ, мать, Пелагею-то потчивать. Ишь губы-то выпятила,—майорша! Была Палага и есть Палага!—энергично заканчиваетъ Домна.

Хотя майоръ былъ въ большой чести въ округѣ, но до дѣдушки Дормидона ему было далеко. Пробовали жеребьевскіе мужики доказывать, что по военнымъ заслугамъ майоръ выше: и чиномъ больше и ордена важнѣе, руки-ноги лишился,—очень хотѣлось имъ своего майора отстоять,—но вся округа была за дѣдушку Дормидона.

Оно и понятно. Вѣрно дормидоновыхъ годовъ никто не зналъ, но сто лѣтъ за нимъ считали,—моей бабушкѣ было уже семьдесятъ, а онъ ее маленькой зналъ и кое-когда по старой привычкѣ Парашей называлъ. И этого же майора не одинъ разъ за волосы диралъ, когда онъ былъ еще просто Матюшкой жеребьевскимъ и съ другими мальчишками на церковной паперти дебошъ учинялъ. Потомъ онъ былъ суворовскій солдатъ, а главное, многіе еще помнили, какъ въ двѣнадцатомъ году онъ собралъ войско изъ мужиковъ и бабъ и побилъ французовъ, рыскавшихъ въ нашей округѣ.

Дѣдушку Дормидона знало полъ-уѣзда, и съ давнихъ поръ завелся обычай, гдѣ былъ храмовой праздникъ, за Дормидономъ мірскую подводу присылать. Наложатъ въ рыдванъ сѣна высоко-высоко, веретьемъ покроютъ, усадятъ дѣдушку и привезутъ, два—три дня у себя держатъ, на мірской счетъ угощаютъ. А когда ему нельзя ужъ стало по старости лѣтъ въ рыдванахъ ѣздить, крутогорскій Степанъ-плотникъ телѣжку ему особенную устроилъ, а мы, мальчишки, впрягались и везли, если не далеко, пять—шесть верстъ. Усадимъ мы дѣдушку въ телѣжку, подмостимъ ему вездѣ, что-

бы помягче было, да и покатимъ стараго воина по лугамъ, по межникамъ, лѣсными тропочками. Веселыя это были путешествія! Дѣдушка Дормидонъ смѣется беззубымъ ртомъ, кряжистый лобастый Кузька—коренникомъ, голову внизъ опуститъ, ногами степенно перебираетъ, а мы съ Кузькой-шестипалымъ—пристяжки, головы на-бокъ держимъ, въ припрыжку скачемъ. Подкатимъ Дормидона къ старостѣ, посадятъ дѣдушку въ передній уголъ, угощать примутся, мужики въ избу набьются и насъ брагой напоятъ, жамками, стручками одѣлятъ. Телѣжку мы оставимъ, и ужъ оттуда тѣ мальчишки привезутъ.

Неугомонный былъ... Бывало на Второй-Спасъ соберется народъ около хоровода, и Дормидонъ ужъ тутъ, баскомъ подтягиваетъ. Иной разъ Лушка, дѣвка такая озорная была, въ кругъ его вытащитъ, и стоитъ Дормидонъ, какъ колокольня, въ хороводѣ, а предъ нимъ Лушка, руки въ боки, выплясываетъ,—смотритъ, смотритъ Дормидонъ и начнетъ ноги переставлять,—не гнулись ужъ онѣ, а тоже все хочется молодцомъ пройтись,—и самъ приговариваетъ:

— Ахъ, Лушка, дуй-те горой! Ну и дѣвка!

Веселье начнется тогда. Бородатые мужики въ кругъ войдутъ, хороводъ развернется на всю улицу, и до поздней ночи пѣсни стоятъ надъ селомъ.

О силѣ и значеніи дѣдушки Дормидона ходили самые фантастическіе разсказы; между прочимъ существовало всеобщее убѣжденіе, что онъ можетъ во всякое время и „за всяко просто“ къ царю во дворецъ явиться и что будто бы такъ у него и въ бумагахъ прописано.

Когда міръ тягался съ казной изъ-за лѣсныхъ угодій, дѣдушка Дормидонъ ходилъ отъ общества въ губернію и охлопоталъ дѣло въ пользу Крутыхъ Горъ, а если пріѣзжало въ село начальство, первымъ впереди стариковъ становился дѣдушка и велъ разговоръ отъ имени общества.

Я помню, какъ онъ объявлялъ войну жившему противъ Крутыхъ Горъ, по другую сторону бочаговъ, помѣщику Созонту.

Это былъ несчастный, Богомъ и людьми обиженный человѣкъ. Кривой, съ изрытымъ оспой лицомъ, нигдѣ не кончившій курса, неслужащій дворянинъ, преждевременно состарившійся отъ постояннаго пьянства,— онъ жилъ одиноко въ своемъ огромномъ, не ремонтировавшемся и постепенно гнившемъ домѣ. Онъ былъ женатъ, но жена его черезъ полгода послѣ свадьбы сбѣжала отъ него съ какимъ-то офицеромъ, захвативши, по слухамъ, крупную сумму денегъ. Въ обыкновенное время это былъ безхарактерный, слабый, хоронившійся отъ людей человѣкъ, надъ которымъ потѣшались даже его дворовые, но когда допивался до бѣлой горячки, смѣхъ прекращался и шутки съ нимъ были плохія. Онъ звѣрѣлъ, бѣгалъ по деревнѣ съ ружьемъ, начиналась порка, и до насъ доносились по вечерамъ изъ-за рѣки бабьи и мужицкіе крики и плачъ.

Тогда-то и объявлялъ ему войну дѣдушка Дормидонъ. Онъ облачался въ свой знаменитый мундиръ и бѣлые холщевые портки, на грудь надѣвалъ ордена и медали и со своимъ длиннымъ посохомъ отправлялся въ походъ, а мы, мальчишки, собирались со всего села и съ криками: „Дѣдушка Дормидонъ на войну идетъ!“ слѣдовали за нимъ на приличномъ разстояніи.

Всегда происходила одна и та же сцена.

Сидитъ на балконѣ въ старомъ засаленномъ халатѣ, надѣтомъ поверхъ нижняго бѣлья, Созонтъ, пьяный, обрюзгшій, грязный и плачетъ, а предъ нимъ мужиковъ порютъ. И начнетъ наступать на него Дормидонъ. Созонтъ сначала вскипитъ, кучеровъ зоветъ, лакеевъ, велитъ взять Дормидона, а тотъ все наступаетъ.

— Попробуй, возьми-ка... А ты знаешь,—кричитъ онъ,—что я къ Его Императорскому Величеству могу пойти, доложить ему, какія ты дѣла тутъ дѣлаешь. Ч

съ твоимъ дѣдушкой, пащенокъ ты этакій, походъ дѣлалъ, кабы не я, срубилъ бы ему турокъ голову; твоего отца на рукахъ носилъ. Брось, я тебѣ говорю, брось...—стучалъ на него костылемъ Дормидонъ.—Смотри свяжу, вотъ-те Христосъ, свяжу, скличу народъ и скажу: вяжи въ мою голову...

А Созонтъ ужъ оробѣлъ, запахиваетъ халатъ и начинаетъ отступать на балконъ, дѣдушка за нимъ по ступенькамъ костылемъ стучитъ, и Созонтъ только бормочетъ: „Пёсъ мордастый! Пёсъ мордастый!“ и скроется въ комнаты.

И пороть пріостановится, утихнетъ. А мы съ торжествомъ провожаемъ по селу возвращающагося тріумфатора.

Такъ и жилъ дѣдушка Дормидонъ въ родѣ какъ съ семьей. Бывало въ церковь идетъ,—рядомъ, въ три погибели согнувшись, бабушка Ненила плетется, сзади Кузька-шестипалый, а мужики смѣются: „Дормидоново семейство тронулось“.

V. Антонъ-баба и Соломонида-мужикъ.

— Главная сила, Степа, — ногами Богъ меня обидѣлъ...—говоритъ мнѣ Антонъ, сидя на завалинкѣ, одѣтый, несмотря на лѣто, въ валенки и неизмѣнный женинъ шушунчикъ на заячьемъ мѣху.—И что такое ноги? — философствуетъ онъ.—Тьфу, прости Господи!.. Главное дѣло—голова... Такъ ли я говорю?—обращается онъ ко мнѣ съ своей любимой поговоркой.

Я соглашаюсь, что дѣйствительно голова важнѣе.

— А вотъ поди жъ ты!—продолжаетъ мой собесѣдникъ.—Головой-то я, кажется, вонъ куда бы полетѣлъ, а ноги-то говорятъ: тпру-у, Антонъ, посиди дома... Такъ *ли я* говорю?

Мы оба молчимъ.

— Птицѣ куда лучше!--разсуждаетъ про себя Антонъ.—Расправила крылья,—только ее и видѣли...

Съ моей стороны отвѣта нѣтъ.

— И что̀ это, братецъ ты мой, за притча? Ничѣмъ я ихъ выпользовать не могу... Спиртами всякими растиралъ, соленымъ вѣпикомъ парилъ, листомъ табачнымъ обкладывалъ, —загибая пальцы, пересчитываетъ Антонъ, — въ муравьиную кучу совалъ, пчелъ припущалъ,—не беретъ, да и шабашъ!.. И гудутъ, и гудутъ, братецъ ты мой... Утолятся на малое время — и опять. И ночей не спишь...--улыбается онъ, словно это доставляетъ ему особенное удовольствіе.—Только вотъ крѣпкой водкой не пыталъ... Да, — сказывалъ еще проѣзжающій,—въ Князевомъ Стану старуха живетъ,--шибко ладно отъ ногъ пользуетъ. Да вѣдь, шутка сказать, восемьдесятъ верстъ, — доберись-ка до нея!.. А надо будетъ, Степа... Такъ ли я говорю?

Я собственно пришелъ купить полфунта подсолнуховъ. У Антона-бабы была лавочка, вся помѣщавшаяся въ одномъ сундукѣ, гдѣ рядомъ лежали подсолнухи, пряники, стручки, спички, варъ, орѣхи каленые, нитки, иголки и проч. Я давно уже получилъ подсолнухи, но Антону скучно. Солнце жаритъ немилосердно, всѣ на работѣ, деревенская улица пуста; онъ сидитъ одинъ дома на положеніи Антона-бабы, и ему не хочется отпускать меня.

— Да, братъ Степа,—снова начинаетъ онъ, — главная причина—ноги... А что̀ выходитъ? Вотъ и прозвали на селѣ Антонъ-баба, а хозяйку Соломонида-мужикъ. Развѣ мое дѣло рубахи шить, стряпню стряпать, съ дѣвчонкой няньчиться? И, скажемъ, бабье это дѣло за косулей спину ломать, мірскія подводы гонять, мірское вино пить?

Послѣднее обстоятельство, повидимому, останавливаетъ на себѣ особенное его вниманіе.

— Бабѣ развѣ должно идти мірское вино? Такъ ли я говорю?

Одна нога у Антона сведена въ колѣнѣ и онъ хромаетъ; другая хоть и не порченая, но часто пухнетъ и болитъ. Лѣтомъ Антону лучше и онъ, прихрамывая, бродитъ въ церковь, по огороду управляется; зимой же и весной непремѣнно лежитъ мѣсяцъ и два. Тогда отецъ часто посылаетъ меня справиться, липоваго цвѣта отнести, малины сушеной: Антона онъ очень любитъ,— вмѣстѣ маленькими росли, пріятелями были.

Придешь зимой,—лежитъ Антонъ на печкѣ. Должно быть, ему очень больно, но философія не покидаетъ его.

— Сколь хитеръ лукавый-то... И сверлитъ, и сверлитъ,—прямо дыхнуть не даетъ. Возропщи, говоритъ... Ну, да нѣтъ, погоди,—торжествуетъ Антонъ.—Іова преподобнаго какъ улещалъ: возропщи, говоритъ, на Создателя... И посрамленъ бѣ...

Антонъ былъ церковникъ и любилъ выражаться по-славянски.

— Тепла *онъ*, братецъ, не любитъ!..

Я понимаю, кто *онъ*.

— А ну-ка, Стена, накинь войлокъ-то этотъ. Волоки, волоки... Вотъ такъ,—ладно, ладно.

Антонъ лежитъ въ шерстяныхъ чулкахъ и огромныхъ, обшитыхъ кожей, валенкахъ; сверхъ заячьяго шушунчика—на немъ овчинный тулупъ, какое-то старое одѣяло, — теперь я накидываю на него вдвое сложенный войлокъ. Антонъ благодушествуетъ.

— Во-во! Не любитъ *онъ* этого! А ну-ка, достань, тамъ въ печкѣ за заслонкой малина въ чайникѣ.

Антонъ пьетъ горячую малину, подъ горой овчины и войлока начинаетъ потѣть, и постепенно ему дѣлается лучше.

— Ну-ка, Стена,—говоритъ онъ, высовывая изъ-подъ овчины красное и потное лицо,—почитай-ка Четью...

Я развертываю толстую книгу Четьихъ-Миней, которую Антонъ прочиталъ не одинъ разъ и послѣ которой онъ неизмѣнно приходитъ въ умилительное настроеніе.

— Что мои ноги.—плёвое дѣло. Подержитъ, подержитъ, да и отпуститъ... Такъ ли я говорю?

Работать въ полѣ Антонъ не могъ, и какъ-то такъ вышло,—понемножку, дальше да дальше и свалилась на него домашняя бабья обуза. Съ дѣвочкой,—одна у нихъ была,— няньчиться пришлось, съ иголкой-ниткой управляться, иной разъ и корову подоить, коли хозяйка въ полѣ задержится, а стряпня, какъ есть вся, на немъ лежала. Хорошо, что жена попалась подходящая: тетка Соломонида здоровенная была и тоже поневолѣ въ мужичье дѣло вошла. И косьба, и пахота, и молотьба — со всѣмъ пришлось управляться. Мужская одежда способнѣе для работы и все равно Антону не надобилась, — Соломонида и сапоги его носила, и полушубокъ, и шапку Антонову и вышла она Соломонида-мужикъ. И міръ понемножку забывать сталъ, что Соломонида— баба; сходъ собирать, къ Антону въ окошко стучатся: „Соломонида, на сходъ иди, луга дѣлить“. Перепадетъ міру за провинность съ кого полведерки, опять подожкомъ въ окошко стучатъ: „Соломонида,— вино пить“... И ничего не подѣлаешь: идетъ Соломонида вино пить, потому мірское дѣло! А выйдетъ чередъ Антоновой избѣ мірскую службу справлять,— глядишь, Соломонида въ сотскихъ ходитъ, съ бляхой. И въ лучшемъ видѣ,—и съ начальствомъ поговорить можетъ и въ волость съѣздить къ писарю.

Голосъ у ней былъ грубый и ухватка сдѣлалась мужичья. Придетъ въ избу, шапку сниметъ, на гвоздикъ повѣситъ, побьетъ валенками нога объ ногу, коли студено на дворѣ..

— Ну-ка, — скажетъ, Антоша, собери-ка поѣсть. Озябла я.

Антонъ столешникъ постелетъ и хлѣба отрѣжетъ, щей изъ печи достанетъ, а пока Соломонида ѣстъ, одежду ея, если намокла, на веревкѣ у печки развѣситъ. Жили они дружно, всякій свою линію аккуратно справлялъ.

У Антона много было и другихъ дѣловъ. Онъ былъ нашимъ регентомъ и кромѣ Антона-бабы его называли еще „иподьякономъ". Къ церкви онъ былъ очень приверженъ, и когда позволяли ноги, не пропускалъ ни одной службы и между причтомъ былъ свой человѣкъ. За старосту у ящика стоялъ, лампадки зажигалъ, свѣчи передъ образами, всѣ церковныя службы зналъ не хуже причта и, не разъ случалось, на клиросѣ за пономаря всю обѣдню справлялъ.

А въ большіе праздники хоромъ регентствовалъ. Онъ и наладилъ хоръ. Максимъ, старшій Карповъ сынъ, не молодой уже, бородатый, угрюмый мужикъ, за главнаго баса шелъ, нѣсколько молодыхъ парней подобралъ съ тенорами, насъ подростковъ,—человѣкъ пять-шесть.

У самого Антона голосъ былъ не мудрый, зато на всѣ руки: не удосужится Максимъ,—Антонъ и за баса дѣйствуетъ, тенора ослабѣютъ,—ихъ подбадриваетъ. Гдѣ онъ премудрость эту понялъ, я и не знаю: кажется, сначала отецъ помогъ ему въ нѣніи и грамотѣ. И ноты списывать выучился,—гдѣ-нибудь разстарается, какую-нибудь новую херувимскую спишетъ, сначала самъ на всѣ голоса разучитъ, а потомъ и за насъ примется. Случилось разъ Антону,—подправились маленько ноги, ходилъ онъ по обѣщанію къ Троицѣ-Сергію,—митрополичій хоръ тамъ услыхалъ, съ тѣхъ поръ не могъ забыть о немъ и все намъ разсказывалъ,—должно быть, хотѣлъ, чтобы мы пѣли, какъ у Троицы-Сергія.

Трудненько было Антону управляться съ нами. Онъ не понималъ, что у каждаго изъ насъ было вполнѣ естественное желаніе, чтобы въ церкви былъ слышенъ именно его голосъ; поэтому тенора заливались во всю

силу своихъ здоровенныхъ легкихъ, а Карповъ сынъ пускалъ иной разъ такую ноту, что пономарь изъ алтаря выбѣжитъ и рукой замашетъ: „Батюшка полегче велѣлъ“. Я, кажется, въ альтахъ состоялъ, мнѣ тоже было лестно, чтобы пріятели голосъ мой слышали, поэтому и я старался. А Антонъ на спѣвкахъ чуть не въ слезы:

— Наказанье мнѣ съ тобой, Степка!—закричитъ онъ на меня.—Чего глотку-то дерешь? Обрадовался, думаешь,—вò какъ хорошо! Нутромъ бери...

А самъ разинетъ ротъ широко и начнетъ нутромъ всякія колѣна выводить.

Передъ вторымъ Спасомъ, когда у насъ бывала ярмарка и съѣзжалось много народа, Антонъ дѣлался настоящимъ мученикомъ. Время горячее—страда, придутъ всѣ съ поля, намаются,—то басы спѣвку пропустятъ, то теноровъ не дозовешься. А храмовой праздникъ, осрамиться передъ чужими людьми не хочется... Отецъ иной разъ оторвется отъ работы, поучитъ на спѣвкѣ. Зато удастся херувимская, либо какой-нибудь новый предпричастный стихъ,—мужики въ восторгѣ.

— Ну, Антонъ, — что̀ твои соборные... Можно сказать, уважилъ!..

А Антонъ про всякія ноги забываетъ, созоветъ насъ, ребятъ, къ себѣ, вынесетъ изъ клѣти тарелку съ пряниками да стручками:

— Ѣшь, робя! Молодца̀!..

Надъ Антономъ подсмѣивались, но, кажется, никого такъ не любили на селѣ. И регентство ему зачитали, да и одинъ грамотный онъ былъ на селѣ, кромѣ причта. Письмо къ солдату написать, — къ Антону кучатся; книжку про божественное тоже у Антона достанешь,—самъ же и прочитаетъ. А главное за веселый характеръ любили его. Антонова изба посередь села стояла, — у Антона и хороводъ водили. Соломонида со стариками на завалинкѣ сидитъ, про мірскія дѣла бесѣдуетъ, а

Антонъ съ бабами да съ дѣвками балагуритъ. Парни, до дѣвокъ охочіе, тутъ же у него и сластей накупятъ. До поздней ночи идетъ веселье у Антоновой избы, и не уйдетъ Антонъ, пока всѣ не разойдутся.

И все онъ любилъ веселое и радостное. Садикъ себѣ развелъ, цвѣтовъ насадилъ, какихъ у насъ и не видывали. Цвѣты онъ любилъ крупные, чтобы видать было, что цвѣтокъ: мальвы высокія, піоновъ у генеральшинаго садовника выпросилъ, георгины, астры. Въ углу черемуха росла огромная, развѣсистая,—самыя сладкія ягоды на селѣ были.

Любилъ я къ Антону въ садикъ ходить. Сидитъ онъ въ неизмѣнныхъ валенкахъ и въ заячьемъ шушунчикѣ подъ своей черемухой,—тихое мѣсто, не дуло ниоткуда,—на сады свои любуется и мечтаетъ.

Журавль пролетитъ надъ головой, проводитъ его Антонъ глазами и вздохнетъ.

— Вотъ, братъ Степа, пожила у насъ птица, дѣтей вывела, къ себѣ летитъ въ теплыя мѣста, на бѣлыя воды... Вона кричитъ: „Прощай, братъ, Антонъ, студёно у васъ!..“ Разумъ какой птицѣ Богъ далъ!..

Вздохнетъ Антонъ, молчитъ и думаетъ.

— Въ городу я былъ, за товаромъ... Митрій Захарычъ, лавочникъ, сказывалъ,—въ Питеръ онъ ѣздилъ, на машинѣ... Сѣлъ, видишь, въ Москвѣ въ родѣ какъ въ домъ этакій длинный на колесахъ да и покатилъ... безъ лошадей... Шестьсотъ,—говоритъ,—верстъ въ сутки отмахалъ... Что ему врать!.. — подумавши. продолжаетъ Антонъ.—Чай, когда ни на есть и у насъ будетъ, Степа? Такъ ли я говорю?

А мечты Антона все разгораются.

— Ежели ужъ человѣкъ до такой точки дошелъ, такъ и летать будетъ! Право слово... Лошадей, — говоритъ,— ни Боже мой, только дымомъ пыхтитъ да заоретъ иной разъ... Все наука, братъ Степа! Чать, когда ни на есть и ноги лѣчить выучатся?

И все мечтаетъ Антонъ.

Сидитъ онъ худенькій, бородка маленькая, клинышкомъ, лицо бѣлое, чистое, пальцы тонкіе, точно не мужицкіе, мягкіе русые волосы на лобъ спустились. Опустилъ онъ голову и задумчиво въ землю смотритъ. А кругомъ золотые подсолнечники, мальвы высокія, піоны красные въ два кулака, георгины разноцвѣтные... Отъ черемухи тѣнь повисла надъ горячей землей; птичка тамъ вверху—что-то щебечетъ.

VI. Зимній вечеръ въ кухнѣ.

Лѣтомъ семья рѣдко бываетъ въ сборѣ, по вечерамъ не засиживаются и огня не вздуваютъ. Цѣлый день въ полѣ, въ лѣсу, въ огородѣ, всѣ заняты своимъ дѣломъ, приходятъ вечеромъ усталые, измученные, наскоро поужинаютъ и спѣшатъ „дорваться“ до постели. Зимой не то,—огромные снѣга, раннія сумерки, метели да стужа рано гонятъ людей въ избы.

И намъ, ребятамъ, нѣтъ лѣтняго раздолья. Мы цѣлый день на улицѣ, играемъ въ клюшки, катаемся на санкахъ, но вечеръ такъ быстро спускается и такъ рано пустѣетъ улица.

Темнѣетъ. Вдали догораетъ багровая полоса зимняго заката, синѣетъ снѣгъ, загораются звѣзды. Проѣхала изъ лѣса заиндевѣвшая лошадь дяди Захара съ возомъ дровъ, и улица становится тиха и пуста. Морозъ крѣпнетъ, задуваетъ рѣзкій холодный вѣтеръ, закурились крыши избъ, изгороди огородовъ. Гдѣ-то завыла собака долгимъ протяжнымъ воемъ, одинъ за другимъ загораются огни лучинъ въ избахъ, и смутный, красноватый свѣтъ протягивается полосами сквозь обледенѣлыя маленькія стекла, еле выглядывающія изъ-подъ огромныхъ занесенныхъ снѣгомъ крышъ, изъ окутанныхъ соломой стѣнъ...

А морозъ все крѣпнетъ. Щиплетъ носъ, уши, давно болѣвшій большой палецъ ноги вдругъ затихаетъ, я пугаюсь и, увязая по колѣна въ сугробахъ, торопливо бѣгу къ дому.

Кухня ярко освѣщена. Тихо потрескивая, весело горитъ сухая лучина, вставленная въ свѣтецъ. Я торопливо раздѣваюсь и лѣзу на полати.

Какъ я помню нашу старую кухню и долгіе зимніе вечера! Внизу подо мной, у самой двери, огромная кровать дѣдушки и бабушки, широкія крашеныя деревянныя лавки со спинками, называвшіяся у насъ диванами, тянутся по стѣнамъ вокругъ длиннаго старинаго фасона стола, за которымъ обѣдало не одно поколѣніе, огромная печка съ приступками и печурками грузно вдвигается въ глубь кухни. По стѣнамъ надписи—„Кирика и Улита“, предохраняющіе отъ клоповъ; черные тараканы знаютъ, что Кирикъ и Улита къ нимъ не касаются, и задумчиво бродятъ по бѣлой стѣнѣ печки, спускаются на полъ и ползутъ къ свѣту, тихо пошевеливая своими длинными усиками.

Щелкаетъ челнокъ въ стану Насти, ткущей холстъ, жужжатъ веретена бабушки, матери, Домны и Варьки, которую съ осени посадили за пряжу, заставивши по обычаю съѣсть посыпанный на черный хлѣбъ пепелъ отъ пряжи. Сбоку стола отецъ въ старомъ полукафтанѣ съ прихваченными ремешкомъ волосами ковыряетъ шиломъ хомутъ, на полу ползаетъ полуголый, въ одной рубашечкѣ, Митя и высматриваетъ, когда падаютъ изъ свѣтца въ тазъ съ водой сгорѣвшіе угли лучины, составляющіе его неотъемлемую собственность. Всѣ увѣрены, что березовые угли хорошо помогаютъ росту, почему Митѣ и разрѣшается ѣсть ихъ сколько угодно, и почему лицо и руки Мити вымазаны углями, словно сажей. На кровати подъ овчиннымъ одѣяломъ тихо всхрапываетъ дѣдушка.

А вьюга все разыгрывается на улицѣ, нѣтъ-нѣтъ

морозъ треснетъ въ стѣну. Отворятъ дверь — бѣлый паръ клубомъ ворвется въ кухню и пойдетъ по полу и на мгновеніе скроетъ копошащагося у таза Митю.

— Ну-ка, дѣвоньки,—обращается Домна къ старшей сестрѣ,—давайте-ка стихъ споемъ!

И толстымъ мужичьимъ голосомъ запѣваетъ:

— „Ужъ ты матушка мати Морея,
Гдѣ ты ноцку спала-ноцевала?“
— „Я во городѣ въ Ёрусалимѣ
Я Христа хоронила“...

—подхватываютъ сестры и бабушка.

— „Тутъ стоитъ Іюда-предатель... Онъ всѣмъ дьяволамъ продаватель, онъ да и продалъ Христа на пропятье испоцали Христа распинати“... — рѣзко выговариваетъ Домна.

Долго-долго тянется суровый однообразный раскольничій мотивъ, и басъ Домны покрываетъ всѣ голоса.

— Ну, что, право, Домна, — протестуетъ Варька,—только и знаешь — „руцки-ножки прободати“... Давай, Настя, про Іосафа-царевича споемъ.

Время отъ времени сестеръ посылаютъ погостить въ женскій монастырь къ бабушкиной племянницѣ-казначейшѣ. Тамъ онѣ учатся мудренымъ вышивкамъ и скромнымъ манерамъ, приличествующимъ дѣвицамъ духовнаго званія, и оттуда привозятъ „стихи“, которые были въ модѣ между молодыми послушницами.

— „Изъ пустыни старецъ въ царскій домъ приходитъ“,—

высокимъ сопрано начинаетъ Настя. Мотивъ сладкій, тягучій... Сестры поютъ въ унисомъ, низкимъ старческимъ контральто поетъ бабушка, неувѣренно подтягиваютъ Домна и мать.

Я слушаю, какъ Іосафъ-царевичъ упрашиваетъ старца показать ему камень драгій, чтобъ узнать цѣну его.

— „Удобнѣе можешь солнце взять рукою.
А сего не можешь постигнуть во вся вѣки вѣковъ“,—

съ чувствомъ поютъ сестры.

Глаза слипаются, вьюга все лютуетъ за окномъ, Іосафъ-царевичъ все упрашиваетъ старца и стучитъ въ окно и глухимъ жалобнымъ голосомъ, который вьюга разноситъ по улицѣ, говоритъ:

— Бю-а-атюшки, матушки! Милостыньку Христа ра-а-ади!..

Я слышу, какъ отворяется примерзшая форточка, и просыпаюсь. Вѣтеръ и снѣгъ врываются въ окно. Бабушка протягиваетъ руку съ ломтемъ хлѣба и, заглядывая въ тѣсную форточку, что-то говоритъ, и до меня доносятся послѣднія слова:

— Заночуйте... Ничего...

— Ахъ, и метель, да стужа какая! — говоритъ бабушка, захлопывая форточку. — Съ ребятишками плетется, сердешная...

Входитъ баба, обсыпанная снѣгомъ, съ краснымъ лицомъ и темными корками давно отмороженныхъ щекъ. За ней входятъ двое ребятъ лѣтъ восьми-десяти. У нихъ висятъ черезъ плечи такія же сумы, какъ и у матери.

— Богъ помочь! — говоритъ баба, кланяясь, окоченѣлыми пальцами разстегивая полушубокъ и разматывая старые рваные платки, которыми была окутана голова. Домна раздѣваетъ ребятъ.

— Погорѣлые?—спрашиваетъ мать.

— Погорѣлые, радѣльница. На Митревъ день погорѣли.

На столѣ дымятся горячія щи. Обжигая губы, жадно глотаютъ иззябшія, проголодавшіяся дѣти, монотоннымъ унылымъ голосомъ разсказываетъ баба:

— Все погорѣло... Ночью. Только хлѣбъ обмолотили,—радовались, послалъ Богъ... Корова была стельная. Хоро-ошая корова... На кого я ихъ оставлю? —

отвѣчаетъ она на замѣчаніе матери.—Самъ-то въ лѣсу все...

Дѣти съ сонными глазами доѣдаютъ остатки щей, баба совсѣмъ разомлѣла отъ усталости и горячихъ щей, отъ тепла жарко натопленной кухни и, пошатываясь, лѣзетъ на печку вмѣстѣ съ дѣтьми.

Снова тихо въ кухнѣ. Щелкаетъ челнокъ, жужжатъ веретена, потрескиваетъ и вспыхиваетъ лучина, шипя падаютъ въ воду горячіе уголья. Медленно вытягиваются нитки изъ заткнутыхъ въ гребень мочекъ льна, медленно тянется длинный зимній вечеръ.

Издали глухо доносится звонъ колокольчика, лица оживаютъ, работа останавливается, и всѣ напряженно прислушиваются. И начинаются долгіе разговоры и разныя предположенія, кто бы это могъ проѣхать, когда нигдѣ не слыхать про мертвое тѣло, и становой только недавно проѣзжалъ насчетъ податей, и теряются въ догадкахъ, пока я не сообщаю, что утромъ околицей проѣхалъ Карлъ Адамычъ.

— И то онъ, изъ городу ѣдетъ...—словно обрадовавшійся концу сомнѣній, подтверждаетъ отецъ. — Хлѣбъ запродалъ, барынѣ на почту деньги возилъ.

Протяжный, надрывающій душу вой собаки смутно доносится вѣтромъ, и опять всѣ настораживаются и прислушиваются.

— У Фетисовыхъ воетъ... — рѣшаетъ Домна. — Кончается у нихъ старикъ-то...

Иногда бабушка начнетъ разсказывать про старыя времена.

Жестокіе разсказы про жестокія темныя времена.

...Давно, давно случилось, моего отца еще на свѣтѣ не было, мать ей разсказывала... Ходила по городамъ и селамъ черная смерть... Порѣшили у насъ на сходѣ село оцѣпить и кругомъ сторожей поставить съ дубинами, чтобы никого не впускать и не выпускать, пока моръ не пройдетъ.

И пришелъ въ ту пору плотникъ, въ городѣ работалъ, нашъ же крутогорскій и, видать, больной. Послѣ открылось, на кокошникъ жемчужный позарился, на улицѣ поднялъ, дочкѣ несъ. Отвели ему лѣсную сторожку, человѣка отрядили, въ дегтю человѣка этого всего вымазали, чтобы носилъ изъ села ѣду и питье и подавалъ бы больному въ окошко, а семьѣ заказъ былъ сдѣланъ, чтобы въ сторожку не ходить и съ больнымъ не видаться. Померъ плотникъ, могилу ему выкопали тамъ же въ лѣсу, въ оврагѣ, на другой день хоронить положили и тоже заказали, чтобы лишняго народа не было и чтобы роднымъ не прощаться.

А была у плотника дочь,—большая дѣвка, просватана ужъ была. И растужилась дочь, что не простится со своимъ родителемъ, что никто-то надъ нимъ не поплачетъ, никто глазъ не закроетъ, положатъ его въ землю необмытаго, неприбраннаго... Ночью срядилась она, крадучись, задворками въ лѣсъ убѣжала, обмыла отца, чистую рубаху надѣла, волосы расчесала, глаза мѣдными пятаками закрыла, на грудь икону положила, а въ изголовьи свѣчу восковую зажгла. Какъ должно срядила отца на тотъ свѣтъ... Приходятъ утромъ двое десятскихъ, которыхъ міръ хоронить отрядилъ, смотрятъ: лежитъ покойникъ прибранный честь-честью, а дочь не хоронится, молится, да причитаетъ надъ отцомъ.

Собрали тогда сходъ и порѣшили дѣвку на своихъ глазахъ оставить. Вырыли посередь села яму глубокую и длинную, чтобы человѣку лечь можно было, а вылѣзть нельзя, опустили туда дѣвку и стали ей на веревочкѣ ѣду и питье спускать. Ночью сторожъ у ямы стоялъ, а днемъ со всѣхъ концовъ села видать, и никому нельзя было подойти и вытащить дѣвку. Только прошло дней немного, окликаютъ утромъ дѣвку,—молчитъ, шестомъ потолкали,—не откликается. Вечеромъ опять попытали,—лежитъ, какъ мертвая. И засыпали...

А сверху камень положили, вотъ что теперь посередь села лежитъ.

Проходилъ ночью сторожъ въ ночной колоколъ бить и слышитъ, ровно стонетъ кто подъ камнемъ. Испугался сторожъ, къ себѣ было убѣжалъ, да заснуть не могъ. Разбудилъ старосту, вмѣстѣ пошли, нѣтъ-нѣтъ да и застонетъ подъ кампемъ-то, послѣ сказывалъ, — протяжно такъ. Народъ сбулгачили, собрались кругомъ, боятся камня коснуться, споры пошли, кто говоритъ,— стонетъ, а кто,—такъ, мерещится. А подъ утро и стонать перестала,—такъ и не тронули.

Въ жуткомъ молчаніи затихшей комнаты съ особенно жалобнымъ воемъ бьется вьюга въ обледенѣлыя стекла. Я помню то мѣсто. По какому-то безмолвному уговору мы, мальчишки, никогда не играли тамъ въ бабки и клюшки, и съ страннымъ ощущеніемъ сжимающагося сердца, далеко обходилъ я сѣрый, плоскій, никогда не обраставшій травой камень, посередь села.

А встревоженные нервы слушателей не успокаиваются, и разбуженная память все вызываетъ темные образы, страшныя воспоминанія...

Домна разсказываетъ свою исторію.

...„На моихъ глазахъ было, у родителей еще жила... Именинникъ былъ князь, наѣхало гостей видимо-невидимо. Ну, пировали, пировали, а потомъ, прохлады ради, на охоту поѣхали. Ѣдутъ селомъ—князь, гости, доѣзжачіе разные верхами, собакъ на сворахъ ведутъ... А мальчишка одинъ,—такъ махонькій, лѣтъ восьми, со Стецу нашего, — возьми да и запусти камнемъ въ собакъ. И, — случись такой грѣхъ — угодилъ камень въ самую, значитъ, первую, любимую собаку князя. Завизжала собака, оглянулся князь, видитъ собака его любимая ногу поджимаетъ.

— Кто,—спрашиваетъ,—это сдѣлалъ?

— А вонъ,—говорятъ ему,—мальчишка съ того двора...

— Взять его въ торока!

Взялъ его главный доѣзжачій, на сѣдло къ себѣ посадилъ, въ поле выѣхали.

— Поставь его,—говоритъ князь,—вонъ на тотъ бугоръ!

Мѣсто этакое открытое указалъ. Отвезъ его доѣзжачій, поставилъ тамъ, къ князю воротился.

— А ну,—приказываетъ князь,—спустить на него собакъ.

Спустили. Рванулись собаки къ бугру, подлетѣли, повертѣлись-повертѣлись, полаяли, назадъ побѣжали и мальчика на тронули. Доѣзжачій догадался.

— Это,—говоритъ,—ваше сіятельство оттого, что въ одежѣ онъ, человѣка въ немъ собаки признаютъ. Раздѣть бы...—говоритъ.

Ну, раздѣли мальчика. Опять собакъ спустили, науськали. Какъ подлетѣли псы, такъ въ секундъ-время и разорвали.

И стояли тутъ гости княжіе и ловчіе, и доѣзжачіе, видѣлъ народъ православный... Только дьячокъ въ ту пору, Вавила Лаврентьичъ, вступился. Народъ булгачить сталъ. Въ овинѣ у себя ночью сходку собралъ, прошеніе къ царю писать, руки прикладывать, ходоковъ выбирать... Послѣ родитель сказывалъ, можетъ, и князю живу бы не быть... Только Іуда одинъ князю доложилъ. Перепороли мужиковъ, до полусмерти выдрали Вавилу на княжьей конюшнѣ, и послѣ въ монастырь на покаяніе отдали. Съ той поры онъ и въ Богоявленское къ намъ переведенъ.

Громкій крикъ раздается съ полатей, Даша захлебывается слезами, уткнувши голову въ подушки, за ней начинаю ревѣть и я. Дѣдушка поднимаетъ голову на кровати и говоритъ недовольнымъ голосомъ:

— Напугали ребятъ-то. Нѣтъ другого разговора. Дашенька! Родимая,—зоветъ онъ:—поди-ка ты ко мнѣ! Что я тебѣ скажу...

Мы живо слѣзаемъ съ полатей и, пока собираютъ ужинать, забираемся къ дѣдушкѣ подъ тулупъ и слушаемъ его веселыя сказки.

Длинный столъ накрывается столешникомъ домашней работы, на первомъ мѣстѣ, подъ божницей въ углу, садится дѣдушка, рядомъ съ нимъ бабушка, съ другой стороны отецъ, мы, дѣти, а на концѣ мать и Домна, которыя подаютъ и уносятъ блюда.

Ужинъ идетъ чинно и молчаливо, по разъ навсегда заведенному обычаю. Онъ не очень роскошенъ, нашъ ужинъ. Пустыя щи, приправленныя въ постные дни грибами, а въ скоромные—ложкой сметаны, или такая же похлебка съ картошкой, каша съ масломъ и большіе ломти чернаго хлѣба, котораго всегда съѣдается очень много—вотъ и все. Первымъ опускаетъ ложку въ общую деревянную, крашеную чашку дѣдушка, за нимъ бабушка, отецъ, мать, Домна, а потомъ ужъ и мы, дѣти. Мы должны были сидѣть тихо и чинно,—разговоры, шалости, смѣхъ во время ѣды считались большимъ грѣхомъ,—деревянная ложка больно стукалась о лобъ нарушителя порядка, и ужинъ снова продолжался чинно и молча. А соблазновъ было такъ много, всякому хотѣлось поймать побольше грибовъ, въ скудномъ количествѣ плававшихъ во щахъ, или зацѣпить кусочекъ сметаны. Въ особенности много искушеній представляла каша. Ради экономіи въ маслѣ она уминалась и по краямъ только смазывалась сверху, а въ срединѣ дѣлалась ложкой маленькая ямочка, куда наливалось масло, всегда ужасно искушавшее насъ. Положеніе было—ѣсть съ краевъ, и когда ложки приближались къ ямкѣ, наступалъ опасный моментъ, рѣдко обходившійся безъ инцидентовъ.

Чаще всего доставалось неукротимой Варькѣ.

Сидѣть все время смирно, не болтая ногами, никого не задирая, не скаля зубы и не запуская ложку не вовремя, и не въ положенное мѣсто—было выше силъ

Варькиной души, и много ложекъ было обломано объ ея буйную голову.

Мы благодаримъ дѣдушку съ бабушкой и отца съ матерью за хлѣбъ-за соль, торопливо гурьбой читаемъ молитвы на сонъ грядущій и спѣшимъ забраться на полати, гдѣ мы спимъ зимой, когда вѣтеръ выдуваетъ нашу горницу, и на полу становится холодно спать.

Тамъ уже ждетъ насъ со своими разсказами Василиса странница. Безродная вѣковуша, Василиса служила у насъ нянькой раньше Домны и выпяньчила старшихъ брата и сестру. Съ тѣхъ поръ она бродитъ по святымъ мѣстамъ, и изрѣдка заходитъ къ намъ по дорогѣ изъ Соловковъ къ Тихону-Задонскому или къ Троицѣ-Сергію, въ Печерскую Лавру, Старый Іерусалимъ. Въ лютыя зимы она живетъ у насъ по два и по три мѣсяца.

Тогда намъ раздолье. Тихимъ, ласковымъ голосомъ, ѣмъ особеннымъ, протяжнымъ тономъ бывалой разсказчицы, говоритъ она намъ про земли, которыя проходила, про чудные народы, которыхъ видѣла, про диковинные цвѣты, плоды и деревья, и про горы, выше нашей церкви, и про морскія волны, больше избы...

И уходитъ отъ насъ все темное, мрачное—и растерзанный собаками мальчикъ, и заживо похороненная чумная дѣвка,—и чудятся намъ нетлѣнныя, благоухающія мощи, и благочестивые схимники, живущіе въ каменныхъ пещерахъ, питающіеся просвиркой и ковшомъ воды, и градъ Іерусалимъ, гдѣ спускается съ неба огонь и сами собой загораются пасхальныя свѣчи...

Тихо въ кухнѣ, только пѣвучій голосъ Василисы монотонно раздается съ полатей, пока мать, выбирающая внизу истрепанныя дѣтскія пальтишки и рубашонки, и свои старыя юбки для погорѣлой бабы, не крикнетъ намъ снизу:

— Будетъ вамъ, полунощники! Спать пора.

VII. Бабушка.

Съ чего начиналась исторія, даже трудно было сказать, но почти всегда изъ-за дѣтей. Привозила мать изъ города ситцу и полусапожки дочерямъ, пекла въ будни заболѣвшимъ дѣтямъ хлѣбъ изъ пшеничной муки, который назывался у насъ папушникомъ, и пекся только въ праздники, давала маленькимъ молока въ постный день,—бабушка начинаетъ пилить. Съ огромными, серебряными очками на носу, въ родѣ теперешнихъ пенснэ, давно сломанными и перевязанными ниточкой, со сдвинутыми бровями, и угрюмымъ лицомъ, она штопаетъ старые-престарые, давно никуда негодные шерстяные чулки и, ни къ кому не обращаясь, сердито говоритъ:

— Господа стали! Нонче полусапожки, завтра кринолинъ, не какъ-нибудь...

Мать сидитъ, наклонивши голову надъ шитьемъ, и молчитъ.

— Ребятъ-то успѣли народить, а какъ прокормить,— видно не наше дѣло. Старики, молъ, нажили, хватитъ!... Не больно много приданаго-то принесла,—хвосты одни...

Бабушка не можетъ простить, что отецъ женился безъ ея спросу на сиротѣ-безприданницѣ, не можетъ перенести, что не все по ней дѣлается, что незамѣтно, понемногу новые порядки проникаютъ въ домъ.

— Бога-то побоялись бы! Ребята-то съ утра, лба не перекрестя, молоко жрать...

И чѣмъ больше молчитъ мать, тѣмъ болѣе грубыя и жестокія слова сыплются на ея голову.

Мать еще ниже наклоняется надъ шитьемъ. Съ своими тоненькими пальцами, съ худенькой фигурой, съ блѣднымъ печальнымъ лицомъ, окруженнымъ пышными бѣлокурыми волосами, она кажется такой

слабенькой и такой беззащитной предъ крупной властной фигурой суровой бабушки съ темными еле тронутыми сѣдиной волосами.

Я вижу, какъ дрожитъ иголка въ рукѣ матери и какъ горькой обидой закипаетъ ея сердце.

— Мои дѣти, не ваши, какъ хочу, такъ и дѣлаю,— короткими фразами говоритъ мать.—За нихъ и Богу отвѣчать буду, съ нихъ не взыщетъ... Вы жили по-своему, а я буду по-моему... У васъ сколько дѣтей-то было, девятнадцать? А въ живыхъ четверо осталось, все махонькими помирали. Не могу я такъ...

И вдругъ слезами зазвенитъ материнскій голосъ:

— Молода была, глупа была, слушалась... Кто мнѣ не велѣлъ въ посты-то, да по средамъ, по пятницамъ грудь ребенку давать? Отчего у меня Оленушка да Андрюшенька-то померли? Вотъ за нихъ-то, истинно, предъ Богомъ отвѣтъ держать буду... Васъ слушалась, глупая.

Слезы высыхаютъ въ материнскомъ голосѣ, она поднимаетъ голову, злые глаза смотрятъ съ блѣднаго лица, и раздраженныя сердитыя и горькія слова срываются съ губъ:

— Тоже счастье добыла себѣ, долю! Ночей не спишь, покою не видишь, да еще каждымъ кускомъ попрекаютъ... По чужимъ людямъ пошла бы, муки такой не видала бы. Только и думали испоконъ вѣка мошну набивать.

И дальше, и дальше разгорается споръ:

— Тимоѳей, а Тимоѳей:—кричитъ бабушка,—уйми жену-то!

Отецъ входитъ, заранѣе раздраженный этой необходимостью быть судьей между женой и матерью, и старается разсердить себя, придраться къ чему-нибудь, чтобы взять сторону бабушки и прибавить еще обидныхъ больныхъ словъ на долю матери. Но иногда и у

него не поворачивается языкъ обижать мать, и онъ говоритъ мягкимъ примирительнымъ тономъ:

— Что ужъ вы, право, маменька... Тоже вѣдь сложа руки не сидимъ, сами видите, какъ всѣ работаемъ. И денегъ-то не Богъ вѣсть сколько тратимъ... Живемъ— Бога благодарить, ни за чѣмъ въ люди не ходимъ... На людей глядя... Дѣвчонки-то растутъ.

Тогда бабушка приходитъ въ негодованіе.

— Ты, что ли, домъ наживалъ?—напускается она на отца.—По бревнушку строили, по грошику собирали, горбомъ дѣдушки-то! Сластей-то не ѣли, въ полусапожкахъ-то не ходили... И ты потатчикъ! Что жъ это такое?— всплескиваетъ бабушка руками.—Сынъ матери перечить сталъ! Лукьянъ Савельичъ!

Бѣдный дѣдушка! Онъ куда-нибудь хоронился, уходилъ въ садъ къ своимъ пчеламъ, когда слышалъ повышенные голоса въ кухнѣ, но, случалось, буря застигала его врасплохъ, и онъ долженъ былъ принимать участіе и судить въ качествѣ главы дома.

— Скажи сыну-то, что мнѣ изъ-за невѣстки изъ дому уходить, что ли?

Я помню, какъ путался бѣдный дѣдушка.

— Тово-этово, какъ бишь его называется...—говорилъ онъ свою обычную поговорку.—Ты, Михайловна, тово-этово, покориться должна. Мать она тебѣ, тово-этово. А ты, Тимоѳей, какѣ порядки, почитать мать-то должонъ, тово-этово, какъ бишь его называется.

Считая, что его роль грознаго судіи кончена, онъ спѣшилъ уйти, прибавляя на ходу своимъ обыкновеннымъ ласковымъ голосомъ:

— Миркомъ бы, тово-этово да ладкомъ... Безъ свары бы, тово-этово...

Мать уходитъ въ горницу и снова наклоняется надъ шитьемъ. И капаютъ слезы на дѣтскую рубашечку, а губы все шевелятся, все шепчутъ горькія слова.

— Полно ужъ плакать то,—съ угловатой лаской ти-

хонько говоритъ отецъ.—Сама посуди, Надежда Михайловна, чай мать она мнѣ, какъ я противъ нея говорить-то буду. Какъ-нибудь перетерпимъ.

А бабушка гремитъ въ кухнѣ горшками и сердито говоритъ, такъ, чтобы ее слышали.

— Что же, видно на старости лѣтъ уходить нужно будетъ изъ своего изъ дому... Глашенька приметъ!

Отецъ знаетъ, что этого никогда не случится, и сестра его Глафира, вздорная взбалмошная женщина, никогда не уживется съ ней, но его всегда удручаютъ такія слова бабушки, и онъ темной тучей ходитъ по дому.

Тогда домъ дѣлается угрюмый и молчаливый, и мы, дѣти, стараемся не показываться на глаза взрослымъ,—подзатыльники раздаются въ это время направо и налѣво и, повидимому, облегчаютъ сердца взрослыхъ.

Тогда самое лучшее мѣсто въ мірѣ—дѣдушкинъ пчельникъ.

— Шумять еще?—встрѣчаетъ насъ дѣдушка и многозначительно подмигиваетъ по направленію къ дому.

— Нѣту,—отвѣчаетъ Варька.—Маменька плачетъ, а бабенька къ тетенькѣ Глафирѣ сбирается.

— А ну какъ, паря, уѣдетъ?—глубокомысленно замѣчаетъ дѣдушка.—Что намъ дѣлать-то? Кто будетъ кокурки да тоболки печь, похлебку варить?

Наши симпатіи всегда на сторонѣ матери, но теперь вопросъ освѣщается съ новой стороны, и мы задумываемся, но дѣдушка лукаво улыбается и успокоительно говоритъ:

— Гляди, ребята, не уѣдетъ... Жалко насъ станетъ.

Вечеромъ дѣдушка поймаетъ гдѣ-нибудь въ сѣняхъ мать и сунетъ ей скомканную бумажку.

— На-ко, Михайловна, спрячь. Меду кадушку продалъ. Въ городъ поѣдешь, тово-этово, ситчику Варькѣ купи веселенькаго. Что жъ, Михайловна, тово-этово, характерная у насъ баушка-то, тово-этово, какъ бишь

его называется, характерная, говорю, да отходчивая... Чего ужъ, тово-этово...

А ночью, когда всѣ уснутъ, дѣдушка долго выговариваетъ бабушкѣ. Та сердится и громкимъ шопотомъ сердито бормочетъ: „Растащатъ", доносится до меня, а дѣдушка все говоритъ ласково и настойчиво, и бабушка постепенно стихаетъ и слушаетъ дѣдушку. И надолго утихаетъ бабушка, не поминаетъ про ситецъ и полусапожки, и только, говоря о какой-нибудь франтихѣ, скажетъ: „на брюхѣ-то шелкъ, а въ брюхѣ-то щелкъ!" Ничего не забываетъ бабушка и свою линію ведетъ неуклонно. Прямо не говоритъ, а случай приведетъ подходящій, примѣръ поучительный изъ прошлаго и всегда своей особой манерой,—притчами, иносказаніями, а въ особенности пословицами,—старыми пословицами, которыя, кажется, кромѣ нея никто и не зналъ, Подойдетъ случай и скажетъ:

— Дѣдушка Филиппъ говорилъ, бывало: „у Сенюшки три денежки,—Семенъ, да Семенъ, сынъ Ивановичъ Семенъ! Нѣтъ денежки у Сенюшки—стервинъ сынъ Семенъ..."

Дѣти были единственной областью, въ которой мать не уступала бабушкѣ и гдѣ упорно отстаивала свою самостоятельность. Во всемъ остальномъ бабушка была полновластнымъ хозяиномъ дома.

Особенно живо помню я ее съ ухватомъ въ рукахъ у печки, къ которой она никого кромѣ Домны не подпускала и которая была чѣмъ-то въ родѣ жертвенника ея.

Высокій повойникъ съ торчащимъ кверху узломъ дѣлалъ еще выше ея высокую сухую костистую фигуру. Суровые сѣрые глаза смотрѣли изъ-подъ нависшихъ бровей съ застывшаго, когда-то красиваго, почти никогда не смѣявшагося лица. Она командуетъ Домной, суетъ намъ по куску хлѣба, чтобы мы не вертѣлись подъ ногами, распоряжается старшими,—кому полоть огородъ, кому копать картошку.

Сурово вела бабушка нашъ домъ.

— Не господа—разносолы-то ѣсть,—скажетъ бывало.

Щи да каша, да картошка, да хлѣбъ,—вотъ въ сущности и вся наша ѣда. Осенью кололи телку, къ Рождеству рѣзали борова, этимъ мясомъ продовольствовались въ продолженіе года, такъ какъ мясо варилось только въ большіе праздники, въ заговѣнье, да для помочей. Впрочемъ, осенью и на Красной горкѣ намъ было раздолье. Въ это время игрались свадьбы и причту полагался баранъ, изъ котораго на нашу долю приходилась задняя ляжка.

Ржаная мука просѣвалась черезъ крупное сито, чтобы меньше отходило отрубей, такъ какъ бабушка знала, что хорошо просѣянный хлѣбъ очень скоро выходитъ, а съ отрубями плотнѣе ложится на желудокъ и меньше ѣстся. Капусту сначала ѣли черную и только къ Рождеству добирались до бѣлой. И яблоки зимой разрѣшали ѣсть, когда они начинали подгнивать, и картошку рыли только, когда она дѣлалась крупной.

А между тѣмъ всякими запасами—и моченьемъ, и соленьемъ—были полны амбары, кладовыя и погреба. За овиномъ длинными рядами тянулись скирды хлѣба, между ними были старыя, почернѣвшія отъ времени, давно изъѣденныя мышами, но все это копилось, береглось „на случай“, и бабушкѣ доставляло большое удовольствіе, когда на селѣ говорили:

— У дьяконовыхъ даве молотили, только пыль идетъ! До зерна-то еще когда-когда доберутся...

Покупать почти ничего не приходилось: и большіе и малые ходили отъ снѣга до снѣга босикомъ, а кожаная обувь надѣвалась только по воскресеньямъ да въ праздники. Изъ своего льна ткали холсты и обшивали семью и красили крашенину, изъ которой бабушка шила себѣ платья. Изъ шерсти своихъ овецъ валяли валенки, изъ своихъ овчинъ шили полушубки *и тулупы,* сальныя свѣчки, что подавались при гостяхъ

въ тѣхъ удивительныхъ старыхъ желѣзныхъ подсвѣчникахъ, лили дома изъ своего сала.

Во всѣхъ важныхъ дѣлахъ отецъ спрашивался бабушку, и я помню только единственный случай, когда онъ хотѣлъ выйти изъ ея воли.

Изъ большого торговаго села Князевъ-Станъ пріѣхалъ церковный староста звать отца, славившагося въ округѣ своимъ басомъ, на мѣсто умершаго въ Князевомъ-Стану дьякона. Бабушка гостила у дочери, отецъ давно говорилъ объ этомъ мѣстѣ, гдѣ дьяконъ получалъ больше нашего священника, дѣло было спѣшное, и отецъ далъ согласіе. Въ тотъ же день возвратилась бабушка, и произошла бурная сцена. Насъ выгнали въ сѣни, но я слышалъ, какъ бабушка говорила, что пельзя покидать Крутыя Горы, гдѣ лежали дѣды и прадѣды, и что она никогда не позволитъ отцу уйти изъ этихъ Крутыхъ Горъ, что она лишитъ его благословенія, и прочее.

Отецъ послалъ отказъ и въ тотъ день сидѣлъ за столомъ угрюмый, углубленный въ свои мысли, а бабушка была особенно весела и благодушна. Она рѣзала крупными ломтями хлѣбъ, испеченный въ первый разъ въ этомъ году изъ новой муки, что всегда составляло праздникъ въ семьѣ, роздала всѣмъ по куску и, перекрестившись на образъ, стала ѣсть.

— Такого-то хлѣба нигдѣ въ округѣ не родится, лучше пшеничнаго,—приговаривала она. Всѣ молчали. Сентенціозно, ни къ кому не обращаясь, бабушка прибавила:

— У Глафиры, въ Болдинѣ — картошка... хоть не ѣшь. Стюдень какая-то и сладости никакой...

Обѣдъ вышелъ натянутый и особенно молчаливый, и только бабушка, по своему обыкновенію ни къ кому не обращаясь, говорила свои сентенціи:

— Позарься на деньги... Тароваты они на посулы-то, а послѣ и будешь локти кусать... Дѣвушку манятъ—городы сулятъ, а возьмутъ и пригорода жалъ.

Бабушка снова хвалитъ крутогорскую землю, вспоминаетъ, какіе буйные хлѣба она рàживала и снова вставляетъ:

— Дѣдушка Поліевктъ говаривалъ: „Жорновъ-то мелетъ, однимъ краемъ говоритъ—на Дону хорошо, на Дону хорошо, а другимъ-то твердитъ—вездѣ одно, вездѣ одно“.

Отецъ тотчасъ послѣ обѣда ушелъ, а бабушка все говорила намъ о прелестяхъ Крутыхъ Горъ, луговъ и лѣсовъ и, только вспомнивая этотъ разговоръ, я начинаю понимать, какъ страстно, несмотря на уваженіе къ тремъ денежкамъ, была привязана она къ своимъ Крутымъ Горамъ.

Противъ обыкновенія бабушка была очень разговорчива въ тотъ день и разсказала намъ, какъ вышло, что она родилась въ Петербургѣ.

...Былъ у бабушкина отца, Кузьмы Власьича, дядя, вдовый одинокій священникъ, жившій верстахъ въ тридцати отъ насъ въ селѣ на тракту. Давнымъ-давно дѣло было. Проѣзжала трактомъ царица въ холерное время и захворала и остановилась въ томъ селѣ. Призвали дядюшку исповѣдывать. Слухи насчетъ царицы и до тѣхъ мѣстъ доходили, а можетъ,—пояснила бабушка,—дядюшка такъ полагалъ, все равно умретъ. И сталъ онъ ее отчитывать на духу, и за то, и за это, и всякія слова ей говорить, инда заплакала царица... А потомъ возьми царица-то, да и выздоровѣй... Только проходитъ тамъ сколько времени, получается изъ Питера бумага, требуютъ дядюшку къ царицѣ. Ужъ такъ онъ тутъ напугался! Думаютъ, будетъ ему за слова тѣ... Срядился, поѣхалъ. А выпило дѣло-то, полюбился онъ царицѣ строгими рѣчами и оставила она его въ Питерѣ при своей церкви. Ну, вотъ долго ли, коротко ли,—пишетъ дядюшка своему племяннику Кузьмѣ Власьичу,—зоветъ его къ себѣ въ Питеръ, только и родни у него было, что мы, зоветъ причетникомъ въ Петербургскую

церковь, дьячкомъ еще былъ въ то время Кузьма Власьичъ. Пишетъ, квартира казенная, доходы большіе. Подумалъ-подумалъ Кузьма Власьичъ,—бѣдно жилъ, да и пожаръ передъ тѣмъ случился, весь хлѣбъ погорѣлъ,—благословился, да по первопутку посадилъ въ сани семью, сложилъ въ другія что понужнѣе и тронулся въ Питеръ.

Показалось ему сначала хорошо въ Питерѣ, доходы такіе, что, пожалуй, у насъ и благочинный не получаетъ столько, дядюшку всѣ почитали, по немъ и Кузьмѣ Власьичу хорошо жилось.

Скоро по пріѣздѣ бабушка и родилась. Принимала ее важная барыня, при царицѣ состояла, она и подарила на зубокъ ту знаменитую бабушкину шаль, которая надѣвалась только въ торжественныхъ случаяхъ.

Пришла весна, Кузьма Власьичъ и спрашиваетъ:

— А гдѣ же, говоритъ, поля-то наши церковныя?

— Какія тебѣ,—дядюшка говоритъ,—поля въ Петербургѣ? Доходы ты получаешь большіе, хоть каждый день крупичатый хлѣбъ ѣшь.

— Это, чтобы я,—говоритъ Кузьма Власьичъ,—покупной хлѣбъ сталъ всю жизнь ѣсть, да ни за что! Домой!..

Какъ ни уговаривалъ его дядя, ничего сдѣлать не могъ. Домой, да домой! Дождался саннаго пути, да и вернулся въ Крутыя Горы.

Спасибо дядюшкѣ, наградилъ, да еще преосвященнаго попросилъ письмомъ, посвятили Кузьму Власьича священникомъ въ Крутыя Горы.

И заказалъ онъ внукамъ и правнукамъ не покидать крутогорское гнѣздо. . . . . .

„Дѣдушка Поліевктъ училъ“... „При покойникѣ о. Филиппѣ заведено было“...

Хорошо учили дѣдушки, хорошіе заводили порядки и не было для моей бабушки непреложнѣе истины, несокрушимѣе авторитета...

Съ бабушкиной стороны нашъ родъ, то повышаясь,

то понижаясь въ духовныхъ чинахъ, непрерывно тянулся въ Крутыхъ Горахъ болѣе двухсотъ лѣтъ. По церковнымъ книгамъ видно было, что задолго еще до Петра Великаго. Я много слышалъ про этихъ дѣдушекъ, ходившихъ въ лаптяхъ и крашенинныхъ рясахъ, служившихъ обѣдни въ валенкахъ и полушубкахъ, еле подписывавшихъ свои фамиліи на толстой синей бумагѣ огромными расползающимися буквами съ мудреными титлами...

Это были суровые лѣсные люди, всѣ они боролись съ лѣсомъ, болотами, звѣрьемъ, лихими людьми, которыхъ раньше много водилось по нашимъ лѣсамъ; всѣ они жили землей, тяжелымъ трудомъ, „по бревнышку строили, по грошику собирали, горбомъ наживали“, они передавали отъ отца къ сыну наше крутогорское гнѣздо, учили какъ жить, заводили порядокъ...

Суровый былъ этотъ порядокъ, долгіе годы, строгими людьми, суровымъ укладомъ жизни складывался. И чинный, церемонный... Съ низкими поклонами, по разъ навсегда заведенному церемоніалу, однѣми и тѣми же фразами встрѣчали и провожали и угощали гостей, бабушка и дѣдушка, отецъ и мать называли другъ друга по имени и отчеству. Мало было смѣху и веселья въ нашемъ домѣ. Цѣловать дѣтей было не принято и считалось чѣмъ-то неприличнымъ, развращающимъ.

— Только и знаетъ, лизаться,—говорила бабушка, когда мать начинала ласкать и цѣловать насъ, дѣтей.

Страхъ правилъ людьми, крестьянинъ боялся барина, дьячекъ батюшки, батюшка благочиннаго, благочинный архіерея и консисторіи...

Бояться должны дѣти родителей, а младшіе во всемъ старшимъ повиноваться, хотя бы этимъ младшимъ было подъ пятьдесятъ, какъ моему отцу. Мы рано знали, что „выше лба уши не растутъ“ и „яйца курицу не учатъ“, а главное знали, „не нами заведено, не нами и кончится“.

Да и нечего заводить было. Все заведено было, все дѣдушки знали, все обдумали. Они знали, что хорошо и что дурно, что нужно дѣлать и чего не нужно; знали, какъ по солнечному закату погоду опредѣлять, а по птицѣ, какой годъ будетъ, сухой или мокрый. Свои астрономическія наблюденія они уложили въ примѣты, а кодексъ морали въ пословицы и поговорки, и нужно было только примѣнять, только черпать изъ этого неизсякаемаго источника вѣковой мудрости. Не было случая, на который не была бы сложена пословица, не было явленія природы, которое бы не было истолковано.

Все такъ ясно и просто было бабушкѣ, такъ мало оставляло мѣста сомнѣнію, и то, что здѣсь на землѣ, и то, что будетъ тамъ, куда бабушка уйдетъ, когда одѣнется въ давно приготовленный саванъ и ляжетъ рядомъ съ дѣдушками на нашемъ старомъ кладбищѣ.

И въ особенности ясно было бабушкѣ, что нѣтъ на свѣтѣ мѣста лучше Крутыхъ Горъ и ничего слаще крутогорскаго хлѣба и нѣтъ правды выше той, которую завѣщали намъ дѣдушки...

VIII. Отецъ.

Отецъ былъ очень похожъ на бабушку. Такого же высокаго роста, съ могучими плечами, также ходившій немного сгорбившись, съ густыми черными волосами и заросшей все лицо огромной темно-рыжей бородой.

Я помню его съ косой въ рукѣ, съ тяжелымъ цѣпомъ, который онъ сдѣлалъ нарочно для себя, помню его въ церкви, помню сидящимъ за столомъ въ ожиданіи обѣда, съ задумчивыми глазами, углубленнымъ въ свои мысли, и всегда на лицѣ его лежало одно и то же выраженіе—забота.

Отецъ былъ дьякономъ, да если бы былъ и священникомъ, не могъ бы жить на доходы съ прихода. Ихъ было мало, этихъ доходовъ. Три рубля за свадьбу, десять копеекъ за годичное поминовеніе усопшихъ, три копейки молебенъ, столько же за панихиду, аналогичная плата за другія требы,—вотъ и всѣ денежные доходы. Остальное собиралось рожью и овсомъ, короваями хлѣба на первой недѣлѣ поста, яйцами на Пасхѣ. А приходы по нашимъ мѣстамъ были маленькіе.

Попробовалъ нашъ священникъ, когда поступилъ въ Крутыя Горы, увеличить плату за требы, но по приходу пошелъ шумъ, и пріѣхавшій благочинный посовѣтовалъ батюшкѣ оставить все, какъ было.

Главный доходъ духовенство получало изъ земли, оттуда же, откуда и крестьяне, а жить ему приходилось не какъ крестьянамъ и не по-крестьянски вести дѣтей. Расходовать нужно было и на расходъ нужны были именно деньги. Подростали дѣти, росли и расходы. Старшій братъ учился въ семинаріи и жилъ на вольной квартирѣ, за которую нужно было платить, въ двери стучалась мода — и кринолины, и барежевыя платья, и полусапожки, и бархотки, и сѣтки на голову. Какъ ни скромно все это дѣлалось, на все это нужны были деньги, и все это нужно было дѣлать, чтобы не отстать отъ другихъ, не осрамить старшую сестру, которая вотъ-вотъ въ невѣсты выйдетъ. Росла и забота. Нужно было думать о приданомъ, безъ котораго въ духовенствѣ не брали невѣстъ, поговаривали объ отправкѣ меня въ духовное училище, а тамъ шли Варька, Даша, Митя и родились еще новыя дѣти...

Нужно было работать не покладая рукъ, самому пахать и косить, пріарендовывать луговъ у помѣщика, чтобы выкормить скотъ и продать осенью; нужно было работать всей семьѣ, чтобы запастись на годъ всѣмъ, что нужно для нашего огромнаго дома.

И вѣчно словно смутное предчувствіе какого-то боль-

шого несчастья висѣло надъ отцомъ. Уберемся ли засухо съ сѣномъ, не обсыплются ли рожь и овесъ, пошлетъ ли Богъ дождичекъ для озимей, не объявился бы моръ на скотъ. Выпадетъ жаркое лѣто, пойдетъ гулять красный пѣтухъ по деревнямъ, — и намаявшійся за день отецъ два-три раза въ ночь встаетъ и обходитъ кругомъ дворъ и сарай, посмотрѣть, нѣтъ ли чего подозрительнаго, не пахнетъ ли гдѣ гарью. Моръ пойдетъ между людьми, пачнетъ народъ валиться по деревнямъ и все чаще станутъ носить мимо нашихъ оконъ большіе сосновые гробы на темное еловое кладбище,—больше и жарче обыкновеннаго молится отецъ по вечерамъ...

О, не смерти боялся отецъ!.. Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ,—Его святая воля, и горе было не тѣмъ, кто уходилъ изъ жизни, а кто оставался жить, шла бѣда, та темная, смутная, страшно звучавшая бѣда, про которую отецъ говорилъ:

— Пришла бѣда, отворяй ворота.

Бѣда!.. Откуда придетъ она? Чѣмъ объявитъ Господь гнѣвъ Свой на людей?

Небо ясное, чистое, солнышко свѣтитъ, всѣ своими дѣлами занимаются, въ саду, въ огородѣ, тиха и мирна деревенская улица.

— Туча идетъ!--кричитъ съ улицы Варька, бѣгущая съ мокрымъ бѣльемъ съ бочага.

— Туча... Туча...—шепчетъ мать, выглядывая за окно и съ испуганнымъ лицомъ поспѣшно запираетъ окна, закрываетъ трубу въ печкѣ, чтобы не влетѣла молнія. И спрашиваетъ Домну много ли молока на погребицѣ, чтобы было чѣмъ заливать пожаръ,—въ Крутыхъ Горахъ всѣмъ было извѣстно, что вода не тушитъ огонь, зажженный молніей, а только молоко.

— Туча идетъ!..—говоритъ вбѣгая въ горницу запыхавшійся отецъ, блѣдный, испуганный и торопливо трясущимися руками зажигаетъ свѣчки передъ образами.

— Богу молиться! Богу молиться!—кричитъ онъ.

Пыль вихрями несется по улицѣ, крутятся сорванные листья, обломанные сучья ивъ, сорванная съ крыши солома, несутся подхваченныя вихремъ куры съ растопыренными крыльями, бѣгутъ ребята съ крикомъ и ревомъ въ облакахъ пыли... А оттуда изъ-за церкви, изъза богоявленскаго лѣса шла туча тяжелая, огромная, изсиня-черная и лохматая, бѣлая бахрома ползла надъ землей и было видно, какъ туча ширилась и становилась все выше и чернѣе и закрыла солнце, и рваная сѣрая мутная бахрома тяжело ползла по землѣ...

Мы стоимъ, большіе и малые, на колѣняхъ передъ зажженными у образовъ свѣчами и жарко молимся и напряженнымъ испуганнымъ шопотомъ читаетъ отецъ молитвы, чтобы пронесъ Господь мимо гнѣвъ Свой. Темно какъ ночью въ горницѣ, изрѣдка голубой свѣтъ наполняетъ горницу и тогда мы перестаемъ дышать и сердца наши перестаютъ биться, пока не прокатится по небу страшный, рвущій, грохочущій ударъ грома. Градъ застучалъ въ стѣны и окна, зазвепѣло стекло сзади и было слышно, какъ ворвался вѣтеръ въ комнату и сыпался градъ на полъ, и отецъ шепталъ:

— Молитесь, молитесь!

Онъ не оборачивался и должно быть не видѣлъ молніи и не слышалъ грома, онъ все шепталъ молитвы и душа его была тамъ предъ темными ликами, чуть свѣтившимися за лампадой.

Сверкала молнія и гремѣлъ громъ, Даша кричала отчаяннымъ изступленнымъ воплемъ и билась на полу... Голубой свѣтъ залилъ комнату и не успѣлъ потухнуть, какъ задрожалъ домъ и зазвенѣли окна и тамъ высоко надъ нами что-то разорвалось, громадное, тяжелое и обрушилось на землю. Мы лежали на полу оглушенные и когда подняли головы красный свѣтъ наполнялъ улицу и огромнымъ пламенемъ горѣлъ овинъ дѣдушки Карпа на другой сторонѣ прямо противъ насъ. Забилъ

набатъ. Бѣжали по улицѣ испуганные, безтолково метавшіеся люди, дождь переставалъ, но все рвалъ вѣтеръ и несъ огненные пучки соломы по соломеннымъ крышамъ избъ. Все сверкала молнія и гремѣлъ громъ, но люди не видѣли молніи и не слышали грома,—одна за другой вспыхивали соломенныя крыши избъ и овиновъ, и все шире разливалось море краснаго огня, и всѣ звуки покрывалъ собою этотъ жалкій отчаянный, какъ вопль ужаса и мольбы, звонъ набата.

Не пронесъ мимо Господь гнѣвъ Свой, бѣда пришла въ Крутыя Горы. Сгорѣла вся подвѣтренная сторона улицы, подъ обломками сгорѣвшаго овина оказалось убитыми пять человѣкъ, бѣжавшихъ съ поля и укрывшихся отъ грозы въ овинѣ. Между ними былъ Захаръ, родственникъ Домны, одинъ работникъ въ семьѣ, послѣ него остались сироты, и сироты пошли по міру... А у насъ и у половины села выбило градомъ яровые и вмѣсто овса и гречихи осталась взрытая земля, покрытая грязью.

Такъ много всякихъ тучъ носилось надъ Крутыми Горами, такъ легко было разорить наше большое хозяйство, какъ и всякое безденежное хозяйство, покоившееся на могучихъ, не знавшихъ отдыха мускулахъ отца. Заболѣй онъ, сгори домъ, никогда не страховавшійся, случись падежъ скота—и все рухнетъ и такъ трудно будетъ снова вставать на ноги... .

О, не за себя боялся отецъ! Только за насъ, малыхъ, чтобы не остались послѣ него сироты!

Сироты, сироты... Изъ тѣхъ страшныхъ печальныхъ словъ далекаго дѣтства, быть можетъ, это было самое страшное и печальное слово. И когда кто-нибудь умиралъ изъ родныхъ, не о немъ жалѣлъ отецъ, а говорилъ:

— Сироты остались...

Мальчикъ выбьется... На казенный счетъ, голодая, на задворкахъ жизни, выпьетъ онъ полную чашу горя

и униженья, но выбьется. Кончитъ курсъ и возьметъ отъ жизни то, что пожелаетъ и сможетъ взять. Страшно было за дѣвочекъ... Безприданница не найдетъ жениха изъ своего сословія, купецъ не возьметъ ее, за крестьянина она сама не пойдетъ и вѣчная дѣвственница тоже въ нѣкоторомъ родѣ пойдетъ по міру и, если не пожелаетъ чернаго монастырскаго клобука, будетъ жить подъ чужой крышей, ѣсть чужой хлѣбъ, няньчиться съ чужими дѣтьми у дяди, у тетки, у брата женатаго,— будетъ доживать вѣкъ заброшенная, одинокая, съ преждевременно увядшимъ унылымъ лицомъ...

Только о насъ денно и нощно думалъ отецъ, только для насъ несъ онъ, вытягивая жилы, свою тяжелую ношу. И долго спустя,—старшій братъ уже былъ женатъ, Настя замужемъ, мы съ Варей учились въ Москвѣ и не требовали денегъ,—помню, отецъ ласковый, любуясь на насъ, сказалъ мнѣ:

— Мнѣ только бы съ поля убраться, а тамъ и глаза закрыть можно.

Я не сразу понялъ. Онъ указалъ глазами на Дашу и Митю и добавилъ:

— Два снопа еще не убраны...

И только долго спустя я понялъ и оцѣнилъ всю силу любви его къ намъ и бремя не перестающей заботы, вѣчной думы о нашемъ будущемъ.

Тогда въ дѣтствѣ мы знали угрюмаго человѣка, вѣчно озабоченнаго, съ вѣчными суровыми окликами, съ рѣдкими, скупыми ласковыми словами. Дѣдушкины завѣты не приказывали давать много ласки дѣтямъ, указали въ страхѣ и строгости воспитывать дѣтей...

За все дѣтство я помню только одинъ случай, когда отецъ былъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности — самимъ собою, нѣжнымъ отцомъ, — громко смѣялся и шутилъ съ нами, и цѣловалъ насъ не холодными церемонными поцѣлуями прощанья и встрѣчи,

а горячими, нѣжными отцовскими поцѣлуями. Только разъ, когда онъ былъ выпивши...

Пиво мірское варилъ, наканунѣ второго Спаса. Былъ тогда еще обычай варить мірское пиво, и два раза въ году передъ храмовыми праздниками огромные котлы и чаны ставились около бочага. На души раскладывался потребный матеріалъ, по душамъ дѣлили сваренное пиво. И пивоваромъ всегда отецъ былъ, такъ какъ искусство это испоконъ вѣку въ нашемъ роду сохранялось.

Пришелъ отецъ съ бочага веселый, съ громкимъ смѣхомъ, съ сіяющими глазами, и назвалъ мать не Надеждой Михайловной, а Наденькой.

— Ну, Наденька, и пиво удалось! Все Антонъ. „Давай, говоритъ, попытаемъ — въ бочку изъ-подъ водки нальемъ“.

Онъ принесъ намъ въ ведрѣ пива, густого, сладкаго бабьяго пива и заставлялъ мать и насъ пробовать Онъ схватилъ на руки Митю и сталъ подбрасывать его къ потолку и оба громко смѣялись, осмѣлились и мы и облѣпили отца, а мать скомандовала „малу кучу“— повалили мы на полъ отца и была веселая мала куча. А потомъ посадилъ насъ къ себѣ на колѣни и обхватилъ своими огромными руками, и все цѣловалъ насъ, и сіяющими глазами смотрѣлъ на мать и повторялъ:

— Наденька, дѣтки-то у насъ какія! Хороши дѣтки-то?

И мать была радостная и все смѣялась, и называла отца „Тимоша“...

А потомъ опять жилъ съ нами большой озабоченный человѣкъ, опять суровые оклики, рѣдкія скупыя ласки. Забота, страхъ...

Все думаетъ отецъ... Думаетъ и вздыхаетъ. Шумно веселятся гости на праздникахъ, разсказываютъ веселыя исторіи, отъ которыхъ смѣхъ стоитъ въ нашей горницѣ, онъ тоже улыбается — и вдругъ глубоко и трудно вздохнетъ, словно думы его Богъ знаетъ гдѣ,

и какъ будто именно въ эту минуту и придетъ ему въ голову какая-либо опасливая мысль.

Сидитъ онъ одинъ у себя въ горницѣ,—эти глубокіе трудные вздохи отца доносятся къ намъ въ кухню.

Только праздники еще нѣсколько оживляли его.

— Уморилъ, Илья Леонтьичъ, — разсказываетъ, бывало, отецъ, возвратившись изъ гостей.—И дастъ Богъ человѣку дарованіе, такъ и льется, такъ и льется...

Настроенная скептически мать вставитъ иногда замѣчаніе:

— Просто языкъ безъ костей—и мелетъ. Какъ есть дуракъ Илья Леонтьичъ-то твой...

Если мать представляетъ слишкомъ убѣдительные доводы, отецъ вступается съ другой стороны.

— А достойный человѣкъ, этого уже отнять нельзя. Непьющій...

И отецъ приводитъ свои доводы. Если мать заподозриваетъ и другія достоинства Ильи Леонтьича, отецъ искренно огорчается.

— Какъ это ты, право, Надежда Михайловна... Другихъ-то легко осудить, а надо на себя посмотрѣть, анъ и увидишь...

Я не помню, чтобы отецъ осуждалъ кого-нибудь. Должно быть, онъ все смотрѣлъ на себя и, кажется, искренно находилъ, что тѣ и другіе умнѣе и достойнѣе его...

Такъ мало праздниковъ было въ жизни отца, и суровые будни наполняли его душу вѣчными заботами и предчувствіемъ всякихъ бѣдъ и вѣчнымъ страхомъ предъ темнымъ будущимъ... Разрѣзывавшій яблоко двумя пальцами, какъ ножницами, носившій бревна, которыя съ усиліемъ поднимали два мужика, припрягавшійся къ лошади, когда приходилось въ осеннюю распутицу вытаскивать тяжелый возъ по грязной глинистой горѣ,—этотъ огромный мускулистый человѣкъ *всего боялся*, былъ робокъ, какъ ребенокъ.

Онъ боялся священника, чтобы не наговорилъ чего благочинному, боялся благочиннаго, чтобы не аттестовалъ какъ-нибудь нехорошо архіерею, боялся училищнаго начальства, чтобъ оно не сдѣлало зла моему брату или мнѣ, и въ особенности боялся этого страшнаго мѣста, которое называется консисторіей, гдѣ безапелляціонно рѣшалась судьба духовныхъ семей и отъ которой въ будущемъ зависѣли его сыновья и дочери.

Я не знаю, кого не боялся онъ. Если генеральша Солтухина присылала за нимъ служить обѣдню въ престольный праздникъ въ ея Богоявленскомъ, онъ робѣлъ и, я увѣренъ, былъ бы радъ отступиться отъ того рубля, который онъ получалъ за службу и который по тѣмъ временамъ представлялъ большую сумму, лишь бы не подвергаться опасности, которую онъ вездѣ видѣлъ.

— Съ владыкой знакома...—говорилъ онъ при этомъ матери. — Скажетъ при случаѣ: крутогорскій, молъ, дьяконъ не благолѣпно служитъ—вотъ и пропалъ...

И въ подтвержденіе приведетъ какой-нибудь случай, гдѣ такъ и пропадали люди изъ-за вздорнаго слова вздорной бабенки.

Я помню, какъ волновался отецъ, когда ожидалъ пріѣзда архіерея и какъ дрожалъ въ церкви его голосъ. Я мучительно ясно помню этотъ пріѣздъ. Архіерей долженъ былъ проходить изъ церкви къ священнику мимо нашего крыльца. Былъ дождь предъ тѣмъ,—мы лежали ничкомъ на землѣ—бабушка, мать и мы, дѣти,—уткнувши голову въ грязь. Такъ билось сердце мое.. Что-то потемнѣло надо мной и съ зловѣщимъ шелестомъ прошло мимо, словно темная птица, шурша крыльями, пронеслась надъ моей головой.

А мать разсказывала потомъ—и намъ такъ трудно было вѣрить,—что она помнитъ время, когда отецъ былъ веселымъ, остроумнымъ человѣкомъ, любилъ собирать компанію, былъ первымъ плясуномъ и пѣсенникомъ, что такимъ онъ женился и такимъ онъ былъ,

пока не понесъ на своихъ широкихъ плечахъ тяжелую крутогорскую ношу. . . . . .

. . . . . .

Кончился рабочій день, уснулъ усталый домъ... Отецъ молится. Чуть теплится лампада передъ образами, и въ вспыхивающемъ красноватомъ пламени тускло блестятъ потемнѣвшіе серебряные вѣнчики надъ еле видными лицами старинныхъ иконъ, предъ которыми молилось столько поколѣній... Отецъ кладетъ поясные поклоны, касаясь пола концами пальцевъ, и чуть слышно шепчетъ свои вечернія молитвы, а я слѣжу съ своего войлока, какъ на бѣлой изразцовой печкѣ сгибается широкая тѣнь и снова выпрямляется и, странно перегнувшись, протягивается по потолку. Молитва все разгорается, громче и громче становится шопотъ, отецъ стоитъ на колѣнахъ и, поднявши голову къ образамъ, съ крѣпко прижатыми ко лбу пальцами громко шепчетъ:

— Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя! Услыши мя, Господи!...

Тѣнь сбѣжала съ изразцовой печки, большая темноволосая голова касается пола, и я слышу напряженный шопотъ:

— Спаси, Господи, и помилуй!...

И снова заросшее волосами лицо поднимается къ образамъ и такъ громко и напряженно шепчетъ:

— Помози... Помози...

Удрученный заботами, вѣчно напуганный человѣкъ, съ горячей вѣрой простирается ницъ передъ Спасителемъ и говоритъ, что его душа не знаетъ покоя и сердце полно страха, и плечи его сгибаются подъ тяжкимъ бременемъ жизни, и все шепчетъ:

— Помози... Помози...

IX. Мать.

Ночь. У-у-у... плачетъ Даша, уткнувши голову въ подушку. Вотъ уже второй годъ каждую ночь въ одно и то же время она просыпается и начинаетъ выть страннымъ, жалобнымъ воемъ. Кто-то приходитъ къ ней по ночамъ, до того неимовѣрно страшный, что, когда пытаются узнать отъ нея днемъ, она блѣднѣетъ и дрожитъ и проситъ не спрашивать, потому что ей страшно вспоминать, страшно выговорить.. Уже взрослой, она разсказала мнѣ, что то была чумная дѣвка, которая приходила къ ней по ночамъ и тащила ее подъ камень. Я закрываюсь одѣяломъ, прячу голову подъ подушку, но этотъ однообразный, безъ повышеній и пониженій, глухой жалобный вой не уходитъ, я не могу спать, мнѣ дѣлается жутко. Я толкаю Дашу кулакомъ въ бокъ, такъ какъ изъ давняго опыта знаю, что отъ ласки она начинаетъ громче плакать. Средство дѣйствуетъ: Даша засыпаетъ, но скоро снова принимается выть своимъ жалобнымъ воемъ. Просыпается Митя, просыпается маленькій въ зыбкѣ, и оба начинаютъ плакать. Я хватаю Варьку за волосы, такъ какъ она говоритъ мнѣ что-то ужасно обидное и совсѣмъ не переносное для человѣка, проснувшагося среди ночи и не могущаго уснуть. Горница наполняется воплями, жалобными и отчаянными криками, несущимися изъ зыбки.

— И что это за наказаніе!—съ отчаяніемъ въ голосѣ говоритъ мать.—Да перестанешь ли ты, Даша? Вотъ сейчасъ отшлепаю, чего ревешь...

— Бо-юсь, маменька! Какъ закрою глаза, такъ она и идетъ и та-ащитъ,—съ громкимъ взрывомъ плача отвѣчаетъ Даша.

— Да кто идетъ, глупая? Кто тебя тащитъ? Видишь, я тутъ...

Даша молчитъ и тихонько всхлипываетъ.

Если мать не можетъ справиться съ нами, она кричитъ:

— Отецъ!

Тогда изъ-за перегородки показывается сонный отецъ. Онъ деретъ на скорую руку за волосы тѣхъ, кто подвернется, и, совершивши скорый и правый судъ, молча удаляется къ себѣ. Тогда мы всѣ, правые и виноватые, недавніе враги, соединяемся въ одну обиженную сторону и горько ревемъ, а мать, забывши, что она же призвала отца водворять порядокъ, начинаетъ ласкать и утѣшать насъ и сердито бормочетъ по адресу отца:

— Только и знаетъ за волосы драть... Крутогорская ухватка! Нѣтъ, чтобы словами разговорить...

Мать забываетъ и то, что она не могла разговорить насъ словами и что сама же собиралась отшлепать, но ея дѣтей обидѣли, и ей жалко насъ.

— Иди ко мнѣ, Дашенька!

Даша проворно бѣжитъ къ материнской кровати и ныряетъ подъ старое лоскутчатое одѣяло, которое, кажется, могло укрыть всю нашу семью. Не помнящая зла Варька, успѣвшая, впрочемъ, въ свое время дать мнѣ сдачу, довѣрчиво прижимается ко мнѣ и засыпаетъ.

Мать беретъ на руки Митю, недовольнаго приходомъ Даши и не желающаго лежать на кровати безъ матери, а босая нога ея мѣрно качаетъ зыбку, и сонный голосъ напѣваетъ:

— А баю-баю-баю, не ложися на краю...

Маленькій, должно быть, выспался, онъ очень доволенъ, что его качаютъ и одобрительно вторитъ изъ зыбки: „а-а-а“. Если мать перестанетъ качать, онъ сердится и начинаетъ плакать, тогда просыпается Митя и тоже реветъ, а измучившаяся за день мать со слезами въ голосѣ говоритъ:

— Да что же это, Господи Боже мой... Заснете ли?

. . . . . .

Глаза матери закрыты, голова безпомощно наклоняется то въ ту, то въ другую сторону, на рукахъ спитъ Митя, а нога мѣрно качаетъ зыбку. Тихо скрипитъ оцѣпъ, мигаетъ лампадка, а сонный нѣжный и всегда такой печальный голосъ тихо напѣваетъ съ кровати:

— А баю-баю-баю...

Скрипитъ оцѣпъ, качается зыбка...

Кто тамъ въ этой зыбкѣ: Анюта, Гриша, Оля? Ихъ много было. Зачѣмъ-то приходили они въ міръ, бѣленькіе и черненькіе, мальчики и дѣвочки, они смотрѣли на Божій міръ сѣрыми, голубыми, темными глазками, смѣялись и плакали, различали горькое и сладкое, выговаривали „тятя“ и „мама“, ползали по полу голыми ножками и, схватившись ручонками за лавку, пробовали встать... А потомъ ложились въ бѣлые сосновые гробики, и ихъ уносили на наше темное кладбище.

Дѣдушка Филиппъ насадилъ своими руками и, должно быть, по своему вкусу, однѣ елочки. Съ тѣхъ поръ выросли огромныя ели, и темнымъ лѣсомъ глядѣло между полей наше кладбище. Тихо было въ немъ, не прилеталъ соловей къ угрюмымъ елямъ, и только кукушка по веснамъ говорила оттуда людямъ о смертномъ часѣ.

Выростали тамъ въ томъ углу, гдѣ лежали дѣдушки, маленькіе холмики, заростали зеленой травой, забывались понемногу голубые, сѣрые и темные глазки...

Только не закрывались раны въ сердцѣ материнскомъ.

Урвется мать въ церковь,—не часто отъ дѣтей ходить удавалось,—на могилку зайдетъ, меня возьметъ.

Пять могилокъ, пять маленькихъ холмиковъ, заросшихъ травой, изъ которой выглядываетъ бѣлая ромашка и розовый горошекъ, сгрудились кучкой рядыш-

комъ между покосившимися и почернѣвшими крестами большихъ могилъ. Мать долго молится, стоитъ на колѣнахъ и припадаетъ лбомъ къ зеленымъ холмикамъ, а слезы тихо катятся по щекамъ, и беззвучно шевелятся губы.

— Гришенька, золото ты мое... Оленька, умница ты моя расхорошая...—вырвется шопотъ, и забудется мать. Стоитъ и смотритъ на могилки, словно слушаетъ, какъ тамъ вверху тихимъ гуломъ шепчутъ ели...

Я дергаю ее за платье, она долго не замѣчаетъ и потомъ опомнится.

— И то домой пора...—Перекрестится еще разокъ, вздохнетъ глубоко и побредетъ домой, унылая-унылая, забывши про меня.

А плакать-то некогда, горевать времени нѣтъ...

Насъ семерыхъ обшить и накормить надо, а тамъ хозяйство, а тамъ новые дѣтскіе глазки ждутъ отъ матери улыбки, требуютъ ласки...

И не всѣ матери такъ богаты, чтобы могли вволю наплакаться надъ умершимъ ребенкомъ...

Помню, Гриша умеръ. Болѣзнь какая-то ходила по деревнямъ и подбирала много дѣтей,—и тѣхъ, что въ зыбкахъ качались, и тѣхъ, которыя ползали и ходить учились. Горѣлъ ребенокъ, красный дѣлался, а потомъ умиралъ. Докторовъ въ то время не было. Наѣзжалъ изрѣдка лѣкарь изъ города, но всѣ такъ и знали, что онъ насчетъ мертвыхъ тѣлъ, а живыхъ не касается и лѣчиться у него такъ же странно было бы, какъ идти вѣнчаться къ могильщику. Лѣчили богоявленской водой, малиной, липовымъ цвѣтомъ, а больше полагались на милость Божію.

Умеръ Гриша въ ночь подъ воскресенье, а въ воскресенье назначена была помочь,—лѣто выпало жаркое, рожь начинала сыпаться. Кухня, горница и даже сѣни были биткомъ набиты столами, за которыми обѣдали мужики и бабы. Гриша лежалъ въ задней клѣти, слу-

жившей кладовой, и я былъ приставленъ къ гробику отмахивать вѣточкой мухъ отъ Гришинаго личика и стеречь, чтобы не взошла кошка и не попортила Гришу, чего мать ужасно боялась. Сквозь отворенныя двери до меня доносилось гудѣнье мужскихъ и бабьихъ голосовъ, упрашиванья отца и матери.

Въ кладовку входитъ мать, красная отъ жары и духоты, съ опухшими отъ слезъ глазами на усталомъ лицѣ. Она долго стоитъ, наклонившись надъ гробикомъ, катятся слезы изъ ея глазъ, и забываетъ она, что тамъ за столами гудятъ пятьдесятъ человѣкъ, которыхъ нужно обносить водкой и пивомъ, угощать кушаньями...

— Болѣзный мой... Сердешный мой... Али я не жалѣла тебя?.. Али не ласкала, Гришенька?—падаютъ, какъ слезы, жалобныя слова въ сосновый гробикъ. И долго-долго говоритъ мать съ сосновымъ гробикомъ.

Торопливо входитъ отецъ и останавливается, блѣдный и растерянный, и часто мигаетъ влажными вѣками, глубоко вздыхаетъ и крестится на образъ.

— Надежда Михайловна! Наденька...— осторожно трогаетъ онъ мать за рукавъ.—Что ужъ дѣлать-то,— не воротишь... Божья воля, Царя небеснаго... Галдятъ мужики-то,—глухо говоритъ онъ.—Вотъ у насъ сколько ребятъ-то—объ нихъ подумать надо.

Мать торопливо утираетъ слезы фартукомъ и идетъ за отцомъ.

— Карпу Спиридоновичу поднеси, уважь...—шепчетъ въ дверяхъ отецъ.—Сама знаешь, какой онъ чивый...

И я слышу, какъ мать говоритъ,—я знаю, она стоитъ со стаканомъ водки и кланяется.

— Выкушайте, Карпъ Спиридоновичъ... Ужъ не обессудьте, чѣмъ Богъ послалъ.

— Много довольны, Надежда Михайловна...

Мать снова упрашиваетъ. Долго и скучно тянутся безконечныя церемоніи.

Шумъ и галдѣнье растутъ. Слышны тяжелыя шутки, взрывы смѣха.

Мимо окна съ громкими, крикливыми пѣснями прошли кончившія обѣдъ бабы и дѣвки. Въ кладовку входитъ мать, она тяжело опускается на наваленные въ углу мѣшки и плачетъ горькими, безмолвными слезами.

Отнесли Гришу на темное кладбище, и подъ высокой елью выросъ новый холмикъ.

А вечеромъ разгорѣлась Даша, и потянулись долгія, безсонныя ночи... Некогда Гришину могилку оправить, некогда поплакать надъ нимъ...

Все не изсякаетъ великій источникъ материнской любви и жалости. Своего горя нѣтъ—чужія слезы рядомъ льются. Придетъ къ матери баба и начнетъ жаловаться:

— Пожалѣй ты меня, Михайловна! Разговори ты меня какими-нибудь словами, радѣльница ты моя... Все Ларивонушка чудится. Придетъ будто ночью, да обниметъ, да какъ за-а-аплачетъ!..

Никогда моей матери не скучно говорить о дѣтяхъ. И примется она жалѣть бабу.

— Какъ не горько, Оринушка!.. Сама знаю, помретъ ребеночекъ—словно у тебя тѣла кусокъ оторвутъ. И все думаешь,—не сберегла, мало жалѣла...

Пожалѣетъ мать, разговоритъ ласковыми словами, иной разъ и поплачетъ вмѣстѣ. И отлегнетъ у бабы на сердцѣ, и уйдетъ она, умиротворенная чужой лаской и жалостью.

. . . . . .

А между тѣмъ, такъ много радости и веселья было въ сердцѣ матери... И ни горе, котораго такъ много испытала она, ни тяжелый, суровый гнетъ бабушки и нашего крутогорскаго дома съ его нравами и традиціями не могли потушить того свѣтлаго и яснаго, что лежало въ ней. Нужно было только, чтобы мы

были здоровы, и чтобы въ домѣ не случилось бѣды,—тогда бывали веселые дни, которые я помню, какъ праздникъ.

Лицо матери сіяло, глаза искрились веселымъ и насмѣшливымъ огонькомъ и губы смѣялись, и прыгала на щекѣ темная родинка, которую мы, дѣти, почему-то ужасно любили. Тогда въ чинномъ крутогорскомъ домѣ поднимался бунтъ. Мы облѣпляли мать, и она цѣловала насъ безъ конца—и въ губы, и въ щеки, и въ волосы,—мы такъ любили эти поцѣлуи, и хохотъ раздавался изъ горницы. Она устраивала жмурки и „гулючки“, сама находила укромные уголки и прятала насъ, и бѣгала, какъ молоденькая, и смѣялась, и говорила веселыя прибаутки. Уставшіе, мы садились около нея на кровати, и она разсказывала намъ про свою сторону.

Это были удивительныя мѣста, совсѣмъ не похожія на нашу крутогорскую сторону. Тамъ росла пшеница, изъ которой пекли намъ папушники, и пшено, изъ котораго варилась наша любимая пшенная каша; тамъ на десятки верстъ тянулись поля безъ болотъ и лѣсовъ, тамъ росли кленъ и ясень, и родились груша и сливы, и арбузы, о которыхъ мы только и слышали отъ матери; тамъ, очевидно, было очень хорошо,—судя по тому, какъ оживлялась мать при этихъ разсказахъ. Разсказывала мать, какъ люди живутъ въ городахъ, и какъ дѣвушкой жила она у своего брата—учителя семинаріи, гдѣ и познакомилась съ моимъ отцомъ.

Небольшого роста, съ тоненькой, худенькой моложавой фигурой и милымъ, ласковымъ лицомъ,—вся нѣжная и свѣтлая,—мать такъ не подходила къ крутогорскому дому. Она любила все то, что осуждалось у насъ,—любила бѣлый хлѣбъ и чай, который начали пить съ появленіемъ ея въ домѣ, любила рядить дѣтей, любила ихъ поцѣлуи, смѣхъ и шалости, была непочтительна къ памяти дѣдушекъ.

Должно быть, оттуда, изъ тѣхъ свѣтлыхъ мѣстъ, отъ тѣхъ свѣтлыхъ людей принесла мать свою ясную, ненапуганную душу, свои вкусы и привычки, и свои мнѣнія—все то, чѣмъ она такъ рѣзко отличалась отъ крутогорскаго строя.

Растужится отецъ своими страхами, своимъ вѣчнымъ предчувствіемъ бѣдъ и начнетъ говорить съ матерью.

— Да полно, Тимоѳей Лукьянычъ...—начнетъ убѣждать его мать.—Самъ ты себя пугаешь. Ну, что тебѣ благочинный сдѣлать можетъ? По службѣ ты исправный, голосъ у тебя—хоть бы и въ городъ, виномъ не зашибаешься—всѣмъ ты правъ. Да хоть бы и генеральшу взять,—вотъ ты все: напишетъ... Ну, напишетъ, а ты къ архіерею,—вретъ, молъ, она, дура,—заставьте прослужить при себѣ.

— Больно ты на языкъ-то востра... Приди-ка къ архіерею съ этимъ,—въ монастырь на покаяніе и упятятъ...

Глаза у матери дѣлаются злые, и негодованіе слышится въ ея голосѣ.

— Дали людямъ этакую волю... Какая-нибудь, прости Господи... Либо нашего Созонта взять, —пьянчужка, затычка кабацкая... Надъ людьми куражатся...

Отецъ машетъ руками и испуганнымъ голосомъ говоритъ:

— Помолчи ты, Христа ради... Пройдетъ кто мимо окна, да доведетъ въ уши.

Но мать все разгорается, все злѣе становятся ея глаза, и больше злобы и негодованія слышится въ ея голосѣ.

— И пускай доведутъ... Я и царю скажу. Да погоди, не долго имъ надъ людьми-то измываться, сократятъ ихъ...

И, несмотря на пугающія его дерзкія рѣчи матери, отецъ становится веселѣе и начинаетъ улыбаться и шутливо говоритъ:

— Тебя бы въ благочинные, мать...

Хотя кромѣ дѣтей мать почти все предоставляла бабушкѣ, тѣмъ не менѣе, въ домъ постепенно входило все новое и новое, противъ чего возмущалась бабушка,—и новые наряды, и повые вкусы, и новыя привычки...

X. Дѣдушка.

Дѣдушка — самый веселый человѣкъ въ нашемъ домѣ. Если было холодно, если большіе ссорились, если дождь нарушалъ обычную программу дня, самое превосходное дѣло было идти къ нему въ пчельникъ.

Хорошо было у дѣдушки. Пчельникъ низенькій, старый-престарый, словно грибъ, наклонился въ одну сторону. Ивы надъ нимъ росли огромныя, съ старыми вороньими гнѣздами. Сзади огороды—бабье занятіе, а предъ пчельникомъ все царство дѣдушкино.

Сначала идутъ рядами кусты со всякой ягодой — малиной, крыжовникомъ, красной, бѣлой и черной смородиной, дальше по всему саду разбрелись раскидистыя яблони, а подъ ними ульи пчелиные.

На порогѣ дѣдушка, маленькій съ рѣденькой сѣденькой бородкой клинушкомъ, съ живыми веселыми глазками, въ бѣлой холщевой рубашкѣ, подпоясанной поясочкомъ, къ которому привязанъ ключикъ отъ укладки. На лысой головѣ старенькая порыжѣлая скуфейка, изъподъ которой выбиваются желтовато-сѣденькіе завитки волосъ.

— А, пострѣлъ—вездѣ поспѣлъ! — радостно встрѣчаетъ онъ меня. — Дѣдушку вспомнилъ! Небось, думаешь, такъ я сейчасъ меду и отвалю. Дожидайся...

— Что, дѣдинька, какъ пчела?—Я знаю настоящій подходъ къ дѣдушкѣ.

— Пчела?—переспрашиваетъ онъ.

Дѣдушка поднимаетъ голову и осматриваетъ виднѣющіеся старые темные ульи, словно желая убѣдиться, что они на мѣстѣ.

— Ничего, пчела нонче веселая, — дѣдушка что-то вспоминаетъ и говоритъ другимъ тономъ: — Кабы не Карпушка... Вредный мужикъ!

Кажется, не только на селѣ, но и во всемъ Божьемъ мірѣ у дѣдушки только и былъ единственный врагъ, — жившій противъ насъ старикъ Карпъ, Кузькинъ дѣдушка. И, повидимому, та старинная вражда между нашими домами, о которой я говорилъ, выходила именно изъ-за пчелъ. По общему мнѣнію, которое раздѣлялъ и мой дѣдушка, Карпъ *слово* зналъ, почему пчелы и водились у него на рѣдкость; и меду много носили, и роились хорошо. Противъ *слова* дѣдушка ничего не имѣлъ—дошелъ человѣкъ до точки, его счастье! Но кромѣ этого, по глубокому убѣжденію дѣдушки, Карпъ на пакости пускался и пакостилъ именно ему, дѣдушкѣ. Дѣдушкины рои какъ-то приманивалъ и огребалъ въ свою пользу, и еще хуже того дѣлалъ: напоитъ своихъ пчелъ пьяными да и натравитъ на нашъ садъ; остервенятся его пчелы и перегрызутъ нашихъ. Пчелы водились еще кое у кого въ нашемъ селѣ, но дѣдушка убѣдился, что разбойницы были именно изъ Карповыхъ ульевъ. Дѣдушка посыпалъ бѣлой муки въ леты и потомъ пошелъ къ Карпу въ пчельникъ, будто бы о цѣнахъ потолковать; смотритъ—летятъ Карповы пчелы, а лапки-то у нихъ въ мукѣ, тутъ онъ и отчиталъ Карпа, какъ слѣдуетъ. Какъ дѣдушка ни усмирялъ свое сердце, — нехорошо отцу духовному сердце имѣть на чадъ, — а совладѣть съ собой не могъ, больно ужъ пчелъ своихъ любилъ.

— Ахъ, Карпъ! ахъ, Карпъ!— бормочетъ дѣдушка.— И есть же жадность у людей!... У меня пчела, у тебя пчела, всѣмъ Богъ пропитаніе даетъ! Такъ нѣтъ вотъ, па-поди!... Ну-ка, Степа,— оживляется онъ, - наклади-ка

щепы въ курильницу, что-то вонъ тамъ пчела больно вьется, гляди, роиться станетъ...

Хорошо у дѣдушки! Гудитъ пчела, вьется; въ пчельникъ иной залетитъ, словно посмотрѣть, тутъ ли дѣдушка,—повьется, повьется, не полюбится ей темный пчельникъ и опять улетитъ на вольное мѣсто по своимъ дѣламъ хлопотать. Дѣдушку пчела знаетъ и не трогаетъ и насъ не обижаетъ, если мы въ пчельникѣ сидимъ или по саду ходимъ; ну, а потянулся къ яблочку надъ ульемъ, потревожилъ чѣмъ пчелу — не прогнѣвайся! А яблокъ кругомъ видимо-невидимо и самыя краснобокія надъ ульями висятъ.

Зато къ ягодѣ ходъ не заказанъ, — шмыгнешь въ кусты, наѣшься малины, смородины и опять въ пчельникъ, а дѣдушка уже кусокъ отъ коровая отрѣзалъ, медомъ намазалъ.

Это за то, что щепы набралъ. А самъ долбитъ колоду, новый улей дѣлаетъ, да на меня любуется, какъ я хлѣбъ съ медомъ уписываю. Вотъ дѣдушка оставляетъ долото и поглаживаетъ спину.

— Что-то, Степа, поясница нонче болитъ у меня... Разыщи-ка жбанъ, да слетай къ бабушкѣ Спиридонихѣ,—старый, молъ, батюшка кучится, бражки, молъ... Поясницу, молъ, у него что-то прихватило...

Я геніально исполняю порученіе. Старая Спиридониха, очень почитающая моего дѣдушку, ведетъ меня на погребицу и цѣдитъ полный жбанъ густой, холодной, пѣнящейся браги.

Потягиваетъ дѣдушка брагу—и мнѣ разрѣшаетъ—и становится еще веселѣе и пріятнѣе.

Издали доносится ревъ и крики. Впереди бѣжитъ босоногая Варька,—ея вихоръ торчитъ стоймя, волосы треплются по вѣтру,—за ней бѣжитъ Даша и ковыляетъ Митя. Варька, какъ буря, пролетаетъ мимо, Даша и Митя вбѣгаютъ въ пчельникъ.

— Дѣдинька!—заливается Даша.—Варька пряпикъ

отняла. Маменька намъ съ Митей дала,—торопясь и захлебываясь отъ слезъ, говоритъ она,—а Варька,—дайте, говоритъ, маменька, я имъ раздѣлю—и съѣ-ѣла...

— Ахъ, шельма!—негодуетъ дѣдушка.—Ну, дѣвка!.. Вотъ погодите, ребята, мы ее достигнемъ. Варька!

Варькина растрепанная голова показывается изъ-за малины.

— Подь-ка сюда! Подь-ка!

— А чего я пойду?—отвѣчаетъ Варька.—Съѣла я пряникъ—вотъ и все,—рѣшительно заявляетъ она.

— Такъ ты вотъ какъ!

Дѣдушка развязываетъ свой поясокъ съ мѣднымъ ключикомъ и бѣжитъ за Варькой. Старенькія ноги сѣменятъ мелкой рысцой, Варька съ визгомъ бросается изъ кустовъ и, сверкая пятками, бѣжитъ въ конецъ сада. Всѣ мы знали, что развязываніе дѣдушкина поясочка имѣетъ только символическое значеніе, тѣмъ не менѣе преслѣдуемый всякій разъ считалъ нужнымъ улепетывать во всѣ лопатки и визжать во все горло.

— Ахъ, воръ-дѣвка!—говоритъ, задыхаясь, возвращающійся дѣдушка.—Ну, дѣвка! Погоди, ребята, вотъ я вамъ меду дамъ, а ей шишъ съ масломъ. Увидитъ она, что вы медъ ѣдите, а подойти-то не посмѣетъ!

Варькинъ глазъ выглядываетъ изъ-за смородины.

— Ужъ такого ли я вамъ меду дамъ,—растягиваетъ дѣдушка.—Ужъ та-а-акого ли ме-еду... Отъ молодого роя,—сла-а-адкій, пресладкій...

Надъ смородиной поднимается вся Варькина голова. Варька становится на цыпочки и заглядываетъ внутрь пчельника.

— А это по правдѣ?—возвышаетъ она голосъ.—Маленькіе,—маменька говоритъ... А я развѣ большая? На той недѣлѣ имъ баранки, а мнѣ нѣтъ?—она нѣкоторое время молчитъ и снова взываетъ:—Дѣ-ѣдинька! А дѣдинька! Я не бу-уду.

Варька куксить глаза и дѣлаетъ удрученное виной лицо.

— Вотъ она, разбойница, гдѣ объявилась...—удивляется дѣдушка.—Медъ-то увидала, такъ не буду! Иди, я тебѣ вихоръ надеру...

Варька нѣкоторое время колеблется. Но потомъ съ отчаянной рѣшимостью выходитъ изъ кустовъ и подставляетъ дѣдушкѣ свой вихоръ.

Дѣдушка легонько треплетъ за вихоръ, причемъ Варька мѣрно мотаетъ головой и считаетъ долгомъ хныкать въ то время, какъ глаза ея разсматриваютъ бѣлые соты меда, лежащіе на лоткѣ.

— Не моги другой разъ, не моги, не моги...—приговариваетъ дѣдушка.

Миръ возстановленъ, мы уписываемъ хлѣбъ съ медомъ, а дѣдушка смотритъ на насъ и улыбается, весь улыбается,—и бородка его сѣденькая, и веселые лукавые глазки, и лысина, выглядывающая изъ-подъ сдвинувшейся на затылокъ скуфейки.

— И въ кого ты, Варька, уродилась?—соображаетъ дѣдушка.—Отецъ у тебя смирный, мать смирная, а ты вонъ какая разбойница вышла...

Варька доѣдаетъ кусокъ, взглядываетъ исподлобья и коротко отвѣчаетъ:

— Въ дѣдиньку.

Глаза дѣдушки становятся совсѣмъ маленькими, беззубый ротъ открывается и сѣденькая бородка долго трясется, а на лысинѣ выступаетъ потъ.

— И то видно въ дѣдиньку...—отдыхая отъ смѣха, говоритъ онъ.—Ухъ, востеръ я, ребята, махонькій-то былъ!..

Усядемся мы въ кружокъ, а дѣдушка начнетъ сказки разсказывать,—все веселыя, смѣшныя сказки: какъ Топтыгинъ-государь по лѣсу похаживаетъ, порядки налаживаетъ, какъ лисица-воровка дуралѣя-волка обхаживаетъ, какъ мудрый Котъ Котафеичъ во всѣхъ дѣлахъ

исхитряется... А то про старыя времена разсказывать примется: какъ французъ Москву палилъ и нашу сторону въ полонъ взять хотѣлъ, да дѣдушка Дормидонъ отстоялъ, и какъ тогда эта самая Спиридониха молодая дѣвка была—отличилась... Даша проситъ разсказать про Іосифа Прекраснаго—исторію, которую дѣдушка никогда не отказывался разсказывать, а мы не уставали слушать.

Митя засовываетъ палецъ въ ротъ, давно капаютъ слезы изъ глазъ Даши, Варька, обхвативши руками колѣна, расширенными сѣрыми глазищами, не отрываясь, смотритъ въ дѣдушкинъ ротъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ братья приносятъ отцу окровавленныя одежды Іосифа, Варька прерываетъ дѣдушку.

— Я, дѣдинька, не буду... Вотъ-те хрёстъ, не буду!

Она энергично крестится.

— Чего не буду? -удивляется дѣдушка.

— Отнимать у нихъ...—Варька указываетъ глазами на Дашу и Митю.

Раскаяніе Варьки, какъ все, что она дѣлаетъ, выражается бурно. Ея брови сдвигаются, глаза суживаются и темнѣютъ, она становится похожа на бабушку.

— Глазыньки мои лопни... Провалиться мнѣ скрозь землю...

Варька изъявляетъ готовность пожертвовать своей утробой и дѣлаетъ еще нѣсколько рискованныхъ предложеній, но дѣдушка и безъ клятвы знаетъ, что Варькино слово крѣпкое и надежное.

Снова тянется длинная трогательная исторія Іосифа Прекраснаго. Дѣдушка обопрется руками въ колѣна, опуститъ голову и сдѣлается такимъ маленькимъ и старенькимъ, и скуфейка покачивается, и все говоритъ дѣдушка трогательнымъ голосомъ, своимъ удивительнымъ, проникающимъ душу голосомъ.

. . . . . .

Не одни мы ходили къ дѣдушкѣ въ садъ. Бывало

забѣжишь, сидитъ у него на порогѣ старикъ, такой же старый, какъ дѣдушка, о дѣлахъ своихъ семейныхъ совѣтуются.

— Побѣгай-ка, Степа,—скажетъ дѣдушка.

И молодые захаживали къ нему съ своими молодыми дѣлами.

Помню, одно время часто ходилъ къ нему изъ Жеребьевки молодой мужикъ Ларивонъ съ женой Натальей. Стоитъ Ларивонъ передъ дѣдушкой съ своими безучастными, остановившимися глазами и изрѣдка роняетъ тихія слова глуховатымъ голосомъ. Говоритъ онъ, что, кабы не родители, и не женился бы онъ; съ малыхъ лѣтъ изъ міра уйти хотѣлъ, Богу потрудиться... И Наталью какъ бралъ, сказывалъ ей. А съ той поры, какъ ребенокъ у нихъ померъ, совсѣмъ затосковалъ онъ, отвратило его отъ мірской и плотской жизни. Любезна ему Наталья, говорилъ онъ, но не можетъ онъ больше жить въ законѣ, видитъ онъ сны зовущіе и на яву все обитель тихая мерещится...

А рядомъ стояла красивая, пышная Наталья и горько плакала о своемъ погибающемъ женскомъ счастьи... Приходила она и одна къ дѣдушкѣ и жаловалась, что вся душа ея изныла, что не жилица она на свѣтѣ безъ Ларивона, и падала она дѣдушкѣ въ ноги и просила его помолиться Богу, чтобы онъ оставилъ ей Ларивона, не звалъ бы, не бралъ бы его къ себѣ...

Долго Ларивона отговаривалъ дѣдушка—не любилъ онъ монастырей, — но отговорить не могъ. Вышло совсѣмъ по другому,— Ларивонъ нашелъ какія-то слова для Натальи, они вмѣстѣ ушли изъ міра, она въ нашъ ближайшій женскій монастырь, а онъ верстъ за сто къ тому святому, котораго особенно почитали въ нашихъ мѣстахъ.

Съ какими нуждами ни обращались къ дѣдушкѣ! Я помню, какъ онъ бѣсовъ изгонялъ. „Стараго крутогорскаго батюшку“ знала вся округа и всѣмъ было

извѣстно, что *это* дано ему. Случалось, что одержимыхъ везли къ нему за тридцать и за сорокъ верстъ и даже изъ другихъ уѣздовъ.

Все больше бабы были... Угонять мужа въ солдаты, ребеночекъ помретъ, особенно если первенькій, молоко бросится въ голову, а то и просто лихой человѣкъ по злобѣ напуститъ, и вселится въ бабу бѣсъ и кричитъ изъ нея дикими голосами, уговариваетъ въ прорубь броситься, либо вожжи мертвой петлей вокругъ шеи затянуть, а иной разъ и ножъ въ руку суетъ.

Много приходилось видать ихъ въ церкви. Стоитъ сначала баба, какъ баба, только ужъ видишь—блѣдная изъ себя и вся дрожитъ. Какъ запоютъ херувимскую, такъ и закричитъ изъ нея бѣсъ... А особенно передъ причастіемъ, когда въ алтарѣ съ шумомъ задернется завѣса и въ церкви сдѣлается такъ тихо и такъ страшно и всѣ знаютъ, что тамъ за завѣсой дѣлается что-то огромное и таинственное, — вотъ тогда всѣ бабы, въ комъ сидитъ бѣсъ, одна за другой закричатъ, упадутъ на полъ и станутъ биться, а изо рта пѣна клубомъ пойдетъ...

Дверь въ горницу къ дѣдушкѣ затворяется, а мы собираемся въ кухнѣ и не дышимъ, слушаемъ, нѣтъ-нѣтъ и въ щелку заглянемъ.

Идетъ баба въ горницу, упирается, двое-трое ведутъ, иной разъ волокомъ тащатъ. Накроетъ дѣдушка эпитрахилью бабу, положитъ ей на голову свою руку и начнетъ молитвы читать своимъ дрожащимъ трогательнымъ голосомъ. Когда дѣдушка къ бѣсу подступитъ, осердится, заговоритъ строгимъ голосомъ, а мы волнуемся, слушая, какъ дѣдушка *его* отчитываетъ.

„...Или, самъ еси Вельзевулъ, или зміевидный, или звѣроличный, или яко пара, или яко птица, или поще-глагольникъ“... „Или во снѣ тяжцѣ, или въ недугѣ, или въ язвѣ“... „Или любонеистовый, или звѣздоволхвуяй, или домоволшебникъ“... „Или съ мѣсяцемъ пре-

мѣняяйся, или утреннiй, или полуденный, или полунощный“...

Все вычитываетъ дѣдушка.

„...Или по случаю срѣтился еси, или отъ кого посланъ еси, или нашелъ еси внезапу, или въ морѣ, или въ рѣцѣ, или изъ кладезя, или отъ стремнины, или отъ рова, или отъ озера, или отъ трости“...

Съ бьющимися испуганными сердцами слушаемъ мы, какое множество *ихъ* по свѣту ходитъ.

„...Или отъ скверны, или отъ луга, или отъ лѣса, или отъ древа, или отъ птицъ, или отъ грома, или отъ покрова баннаго“... „Или отъ знаемыхъ, или отъ незнаемыхъ, или отъ непосѣщаемаго мѣста“...

„Убойся, — строго взываетъ дѣдушка, — умолкни, бѣжи, бѣжи, не возвратися“... „Но отыди въ землю безводную, пустую, не дѣланную, на ней же человѣкъ не обитаетъ“...

Бьется баба подъ эпитрахилью, кричитъ источнымъ голосомъ, а дѣдушка все читаетъ молитвы, все мягче и ласковѣе. Станетъ баба затихать понемножку, прошибетъ ее слеза и примется она плакать горько-горько, а потомъ и въ свое чувство придетъ.

Очень намъ жалко бываетъ послѣ этого дѣдушку. Трудно ему бороться съ бѣсомъ, идетъ онъ изъ горницы по саду, пошатывается, голова въ скуфейкѣ качается, весь онъ ослабѣетъ и придетъ въ пчельникъ,—сейчасъ же спать ляжетъ. И тутъ ужъ мы его не тревожимъ.

Далеко шла слава о дѣдушкѣ. Привозили къ нему и мужиковъ, которые по десяти лѣтъ на цѣпи прикованные сидѣли, и ребятъ малыхъ, которыхъ на новый мѣсяцъ корежило, но больше всего бабъ одержимыхъ было и больше ихъ вылѣчивалъ дѣдушка.

Какъ-то не считали мы, дѣти, дѣдушку за взрослаго. И не потому, что не раздавалъ онъ намъ подзатыльниковъ, что считалось не только привилегіей, но и обязанностью всѣхъ взрослыхъ: очень ужъ входилъ онъ

въ наши дѣтскія дѣла, а главное всегда съ нами веселъ былъ, смѣялся, шутки шутилъ, что, по нашему мнѣнію, взрослому человѣку совсѣмъ не подобало. И самъ дѣдушка, повидимому, больше причислялъ себя къ нашей компаніи, чѣмъ къ взрослымъ. Тамъ, въ горницѣ, когда обсуждались важныя дѣла или пріѣзжали гости и велась чинная бесѣда, дѣдушка все, бывало, поглядывалъ, какъ бы потихоньку убраться къ себѣ въ пчельникъ, и если никакъ нельзя было, скоро начиналъ покачивать головой и похрапывать; съ нами же, дѣтьми, онъ готовъ былъ сидѣть цѣлыми днями. И все находились у него слова для насъ и прибаутки и веселые разсказы, и съ нами онъ почти не употреблялъ своего „тово-этово, какъ бишь его называется", какъ привыкъ онъ говорить тамъ, въ горницѣ.

Дѣдушка былъ самый незамѣтный человѣкъ въ домѣ, его не видно и не слышно было и въ домашнія дѣла онъ почти вовсе не мѣшался. Онъ и раньше, впрочемъ, настоящимъ хозяйствомъ мало занимался и все дѣло вела бабушка. Человѣкъ онъ былъ слабосильный, ни пахать, ни косить не годился и съ молодыхъ лѣтъ сталъ разводить садъ, ухаживать за пчелами, которыя, впрочемъ, и при дѣдушкахъ велись. Съ утра уходитъ онъ въ садъ и весь день хлопочетъ около пчелъ, вокругъ яблонь копается, кусты разсаживаетъ. Зато придетъ дѣдушка домой—и всѣмъ какъ-то веселѣе станетъ.

— А ну-ка, Тимоѳей, скажетъ, самоварчикъ бы наладить. Что-то будто животъ у меня не совсѣмъ...

А отецъ и радъ. Кажется, ему самоваръ ставить и то доставляло удовольствіе. Живой рукой нащиплетъ лучины, самъ не отходитъ, раздуваетъ. А за чаемъ всегда веселье и всѣ какъ-то подобрѣютъ. Дѣдушка шутки шутитъ, мать смѣется, и большіе рыжіе усы отца шевелятся.

Увидитъ дѣдушка на комъ-нибудь изъ дѣвочекъ новое платье, похвалитъ мать.

— Вотъ хорошо, Михайловна, платьице-то срядила! Что замарашками-то водить, тово-этово, чай не перестарки онѣ. Поѣдемъ, Тимоѳей, въ городъ, тово-этово, денегъ дамъ—и Дашѣ сшей. Да баранокъ давно ребятамъ не брали.

И нарочно говоритъ, чтобы бабушка слышала. Бабушка сердится, а говорить ничего не можетъ. Какъ никакъ все-таки онъ глава дома, и по дѣдушкинымъ преданіямъ не велось такъ, чтобы при дѣтяхъ жена мужу перечила.

— Былъ баловникъ и есть баловникъ!—уклончиво скажетъ она.

Ежели бабушка въ хорошемъ расположеніи духа, дѣдушка и дальше пойдетъ.

— Эка ты, старуха, непосѣдливая, все-то не по тебѣ... Чать имъ жить, а не намъ съ тобой, тово-этово. Помрешь, все одно своимъ разумомъ приведется жить, не твоимъ...

— Ну, вотъ помру и пущай живутъ, какъ знаютъ...—только и отвѣтитъ бабушка, а спорить не будетъ.

Хотя бабушка всегда верховодила въ домѣ, по старинную политику соблюдаетъ строго, и если дѣло семейное, хозяйственное, важное, всегда, бывало, скажетъ:

— Какъ Лукьянъ Савельичъ разсудитъ, онъ большой.

А дѣдушка разсудитъ, какъ бабушка ему скажетъ.

— Чего ужъ, Тимоѳей... Самъ не махонькій... Ты добытчикъ...

Мать мою дѣдушка очень любилъ и всегда заступался за нее, быть можетъ, и потому, что самъ онъ былъ пришлецъ въ этотъ неласковый крутогорскій домъ и также мало подходилъ къ суровому строю его.

Дѣдушка былъ низкаго происхожденія, крестьянскаго рода изъ дальняго глухого села. Еще отецъ его, бобыль и церковный сторожъ, былъ крѣпостнымъ господъ Жучковыхъ и дѣдушка совершенно случайно

попалъ въ духовное званіе только потому, что архіерей при объѣздѣ епархіи обратилъ вниманіе на шустраго мальчика и помѣстилъ его въ духовное училище. Мать тоже очень любила дѣдушку и говорила намъ впослѣдствіи, что если бы онъ сразу не взялъ ее подъ свое покровительство, ея жизнь въ Крутыхъ Горахъ въ первые годы замужества была бы прямо невыносима.

И за насъ вѣчнымъ заступникомъ былъ онъ. Начудотворитъ Варька, замѣтитъ дѣдушка, что гроза надъ ней собирается, и уведетъ ее съ собой.

— Ну-ка, скажетъ, Варюха, пойдемъ кусты подвязывать, — и никто ужъ Варьку изъ-подъ дѣдушкина крыла не тронетъ.

Бываютъ люди, которые занимаютъ, повидимому, самое маленькое, самое узенькое мѣстечко въ жизни и все жмутся къ сторонкѣ, чтобы кому-нибудь не тѣсно было отъ нихъ, и только когда такой человѣкъ умираетъ, окружающіе начинаютъ понимать, какъ онъ нуженъ былъ всѣмъ и какое огромное пустое мѣсто остается послѣ него.

Такъ случилось и съ дѣдушкой.

Мы ужинали. Дѣдушка сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ подъ образами и что-то ѣлъ. Вдругъ онъ началъ смѣяться и заговорилъ быстро-быстро и ложка странно запрыгала въ его рукѣ и расплескалась, а глаза уставились въ одну точку. „Рои, рои, рои... ро, ро...“ твердилъ онъ, послышались безсвязныя хриплыя слова и потомъ онъ заплакалъ, лицо сморщилось и перекосилось и, тихо опускаясь, повалился онъ на колѣни сидѣвшей рядомъ бабушки. Въ ту же ночь и померъ дѣдушка.

Плакали мы, дѣти, горько плакала мать, осунувшійся за ночь отецъ тяжело вздыхалъ, но больше всѣхъ *горевала* бабушка. Она какъ-то сгорбилась и постарѣла,

сама обмыла дѣдушку, сама надѣла на него давно приготовленный саванъ и цѣлыми часами не отходила отъ гроба.

— На кого ты покинулъ меня, Лукьянъ Савельичъ?— причитала она по-старинному.—На кого меня горькую оставилъ? Съ кѣмъ я буду думу думати, горе горевати? Пропало мое солнышко красное, закатился мѣсяцъ ясный...

Всплеснетъ бабушка руками, припадетъ къ гробу и заплачетъ горько-горько, а потомъ опять причитать станетъ.

— Шли мы путемъ-дорогой, разминулися... Почто ты покинулъ меня во темномъ лѣсу? Что не аукнешься, не откликнешься, свѣтикъ ты мой Лукьянъ Савельичъ! Не увижу я взора твоего яснаго, улыбки твоей ласковой... Кто меня на путь выведетъ, дорогу покажетъ? Кто меня, глупую, уму-разуму научитъ?

Жизнь свою съ дѣдушкой вспоминать начнетъ.

— Не видала я отъ тебя слова гнѣвнаго, слова браннаго, ни попреку единаго, ни голоса сердитаго...

А въ головахъ стоитъ отецъ и читаетъ молитвы надъ дѣдушкой и капаютъ слезы на широкую отцовскую бороду.

Казалось, одинъ дѣдушка оставался веселымъ. Въ вѣнчикѣ мягкихъ сѣденькихъ волосъ съ застывшей на губахъ улыбкой смотрѣло блѣдное, какое-то дѣтское личико, по-дѣтски кроткое и ласковое, а полуоткрытый глазъ, казалось, смотрѣлъ на насъ и дивился, зачѣмъ это всѣ плачутъ кругомъ.

Отнесли дѣдушку къ зеленымъ елямъ и положили на мѣсто, которое онъ самъ выбралъ, рядомъ съ дѣтскими могилками съ краю, у самой ограды, куда солнце свѣтило, откуда поле широкое видно.

Кажется, никогда не видѣли Крутыя Горы такого множества народа, какъ на похоронахъ дѣдушки. Съѣхались священники и родня, собравшійся со всей

округи народъ не могъ помѣститься въ церкви и наполнилъ ограду и густой толпой стоялъ передъ папертью. Когда показался гробъ изъ церкви, много народу пало на колѣни, а бабы плакали.

А потомъ прошелъ по селу слухъ,—баушка Спиридониха сама видѣла,—когда дѣдушку въ могилу опускали, взвился бѣлый голубь надъ кладбищемъ и пропалъ... И на дѣдушкину могилу стали возить одержимыхъ и служить панихиды.

Опустѣлъ нашъ домъ. Покинутый пчельникъ и каждое деревцо въ саду напоминали намъ, дѣтямъ, о дѣдушкѣ, часто вспоминали объ немъ отецъ и мать, но больше всѣхъ смерть его отразилась на бабушкѣ. Дрогнулъ домоправительскій жезлъ въ крѣпкихъ рукахъ бабушки. Она стала болѣе молчаливой, больше молилась, часто ходила на кладбище, меньше кричала на новые порядки. Дворъ и огородъ постепенно отходили къ матери и только двѣ привилегіи бабушка неизмѣнно сохраняла для себя,—стоять у печки и стрянать обѣдъ, да подавать въ окошко милостыню, причемъ она стала прибавлять:

— За упокой души раба Божьяго Лукьяна...

А потомъ сталъ меркнуть свѣтъ въ глазахъ бабушки. Долго никто не замѣчалъ этого. Я помню сцену. Бабушка была въ кухнѣ и не видѣла меня. Придвинувшись къ самому окну, она нѣсколько разъ пыталась вдѣть нитку въ иголку и я увидѣлъ, какъ опустились у ней руки, и заплакала суровая бабушка.

А потомъ выпалъ и ухватъ изъ ея рукъ и началась для нея долгая темная ночь и остались бабушкѣ только милостыня, да дѣдушкина могила, да молитвы, да долгія думы, да тяжкіе вздохи.

Казалось, со смертью дѣдушки что-то порвалось, пошатнулось, умерло въ нашемъ домѣ, и въ наши старыя стѣны сильнѣе и сильнѣе билась новая жизнь, новые порядки, обычаи.

И все громче и громче, какъ шумъ набѣгающей волны, доносился до Крутыхъ Горъ слухъ о близкой волѣ, о новой долѣ.

А на селѣ долго вспоминали о дѣдушкѣ и много разсказовъ о его жизни приходилось мнѣ слышать. Одинъ изъ нихъ особенно живо сохранился въ моей памяти.

— И страшенъ годъ былъ, Стена! Дѣды и прадѣды не запомнятъ...—разсказывалъ мнѣ Антонъ-баба. Страшный годъ у всѣхъ былъ въ памяти и мнѣ часто приходилось слышать про него.

— Давно было, еще отецъ твой въ семинаріи учился. Снѣга зимой были мелкіе, весной рѣки чуть разлились. И пошли тутъ жары, да сушмень, — ни дождичка, ни росъ. Попрыскало какъ-то разъ за весну и все тутъ.

Трава посохла, деревья словно варомъ сварило, да еще червь напалъ—остатки доѣлъ въ чистую; рѣки высыхать стали, у насъ только въ одномъ бочагѣ вода и осталась, рыба дохла. Поганое болото и то пересохло,— лѣтомъ пѣшкомъ скрозь ходили. Ни ягоды, ни гриба, на поля не глядѣлъ бы, — по округѣ рожь на кормъ скоту косить стали. А тутъ лѣсъ горѣть зачалъ, солнышка не видать, застлало дымомъ, дышать тяжко. Пошла по народу смута, странники сказанія сказывали. Бѣгаетъ будто человѣчекъ махонькій — съ зайца, гдѣ пробѣжитъ, тутъ и посохнетъ.

И надумали, братецъ ты мой, всѣмъ приходомъ иконы поднять, молебствіе съ водосвятіемъ на поляхъ сдѣлать. Къ дѣдушкѣ твоему. А онъ и говоритъ:

— Дѣло, говоритъ, православные, это хорошее, только съ чистыми душами подходить надо. Давайте, говоритъ, исповѣдуемся всѣ, да причастимся сперва. Такъ и сдѣлали, велѣлъ онъ наканунѣ вымыться и бѣлыя рубахи надѣть, исповѣдались всѣ,—и самъ у Богоявленскаго попа исповѣдался, — а на другой день и

причастилъ всѣхъ за обѣдней. Подняли иконы послѣ службы и тронулось все село въ поля. Знаешь, за гамазеей у дуриловскаго-то лѣса дороги расходятся,—ну вотъ тутъ и служили. Какъ-то дымъ прошелъ маленько, небо ясное, ни облачка, солнышко жаркое печетъ, тишь кругомъ, кажется, всякое слово, что дѣдушка твой служилъ, далеко слышно было. А я чашу несъ, рядомъ съ дѣдушкой стоялъ... Только сталъ онъ крестомъ воду крестить, смотрю я, что-то на руку мнѣ капнуло. Поглядѣлъ на небо,—чисто кругомъ; ну, думаю, изъ чаши плеснуло. А потомъ вдругорядь въ самую маковку угодило и еще разъ и еще... Смотрю я на народъ, — дрогнули православные, а капли шлепаются словно по орѣху, пыль поднимаютъ, слышно какъ объ каменную-то землю стучатъ.

Палъ тутъ народъ на колѣни и завопили всѣ — и мужики, и бабы, и дѣти малыя. А дождикъ все шибче, да шибче. Дѣдушка твой тоже на колѣни палъ, крестъ-то въ рукахъ, а молитву читать не можетъ, самъ въ три ручья плачетъ. Старикъ Каллистратъ — пономарь живъ еще былъ, рядомъ со мной стоялъ,—тоже реветъ, лбомъ въ землю тычется.

Недолго въ ту пору дождикъ шелъ, пересталъ. Двинулись домой, отошли можетъ съ полверсты и поднялась тутъ съ солнечнаго восхода туча — сила, черная, страшная, полнеба обняла, солнышко закрыло, темно стало на землѣ какъ ночью и пошелъ тутъ дождь...

И пошелъ, тутъ, братецъ ты мой, до-о-ождь!.. А народъ въ избы идти не хочетъ, — такъ посередь села супротивъ церкви сгрудились, какъ овцы, и стоятъ. А дождикъ-то поливаетъ... А дождикъ-то поливаетъ.

. . . . . .

— Да, была благодать Божія!.. рѣки вздулись, словно въ половодье, напоилъ Господь землю досыта. Травка выглянула, деревья повеселѣли, поля вздохнули, пожары прикончились, грибъ пошелъ всякій. Рожь чуть

поправилась,—опоздали мы маленько иконы-то поднять, только на сѣмена и собрали. Зато овсы налились стѣна стѣной, гречиха, горохъ, рѣпа, огородина всякая—на рѣдкость! Только нашимъ приходомъ и прошла туча, да еще богоявленскіе мужики маленько попользовались.

Ахъ и страшный годъ былъ, Степушка! Что ницихъ-то было! Такъ деревнями и ходили. Рабята малые чуть плетутся, бывало; старики, которые постарше, помирать стали... И со всей округи—къ намъ; только, бывало, и слышишь цѣлый день: „батюшки-матушки милостыньку Христа ра-ади!“

Вся округа въ ту пору за батюшку-то, за отца Лукьяна-то, молилась. Спасибо и тутъ надоумилъ. Какъ убрались съ хлѣбомъ, собралъ онъ сходъ и говоритъ міру:

— Такъ и такъ, православные, явилъ намъ Господь Богъ милость великую,—никому не въ примѣръ... Надо, говоритъ, Его благодарить или нѣтъ?

Извѣстно міръ:

– Какъ не благодарить!

Ну и говоритъ потомъ:

— Ежели бы не Его особливая милость, были бы вы теперь сыты, али ходили бы съ сумой по окошкамъ стучаться, какъ другіе прочіе?

— Извѣстно какъ прочіе,—говоритъ міръ.

— Какъ вы, значитъ, теперь насчетъ своего хлѣба понимаете? Вы его заработали, али Богъ вамъ далъ?

— Понимаешь,—замѣтилъ Антонъ,—какую линію-то онъ велъ?

— Божій хлѣбъ нонѣшній,—заговорилъ народъ,—Божій!

— А коли, говоритъ, Божій, такъ и продавать его нельзя,—на Божьи дѣла и идти долженъ.

Тутъ же міромъ и порѣшили,—у кого старыя скирды есть, или къ примѣру въ амбарахъ отъ прежнихъ годовъ осталось—тотъ воленъ продавать, а что въ это лѣто уродилось, на полушку продавать заказано.

Никому отказу не было. Можно сказать, вся округа отъ насъ кормилась,—и овесъ, и гречиху, и ячмень—все на муку смололи, хлѣбомъ раздавали, лепешки пекли. А самъ дѣдушка-то твой и старое, и новое—большіе у васъ отъ прежнихъ годовъ скирды стояли—все пустилъ онъ по православнымъ. Точила ужъ его бабушка-то твоя—ничего сдѣлать не могла. А глядя на него, кое-кто изъ крестьянъ, кто подобрѣе да посправнѣе былъ, тоже старые запасы перемололи, да по православнымъ пустили.

И сыты были, — закончилъ Антонъ, — и деньгу зашибли, и потому все-таки старое распродали, а цѣны стояли—не приведи Господи! Вотъ онъ какой человѣкъ, дѣдушка-то твой! Будетъ теперь заступникъ и у насъ, крутогорскихъ, предъ престоломъ Божіимъ!

XI. Праздники.

Въ концѣ улицы показывается бѣлая лошадь, подаренная богоявленскому батюшкѣ о. Платону барыней генеральшей Солтухиной, когда-то заводская, дорогая лошадь, теперь старая и унылая съ длиннымъ, тощимъ тѣломъ и острыми лопатками, называвшаяся почему-то „Невѣста“. Въ высокой одноколкѣ, въ которую запряжена „Невѣста“, возсѣдаетъ самъ о. Платонъ,—это значитъ, что у насъ дѣйствительно праздникъ. О. Платонъ жилъ въ пяти верстахъ отъ насъ въ богатомъ селѣ Богоявленскомъ, онъ приходился бабушкѣ двоюроднымъ племянникомъ, въ качествѣ родственника, никогда не пропускалъ нашего храмового праздника и всегда являлся первымъ.

Какъ я помню второй Спасъ, котораго мы задолго начинаемъ ждать, какъ помню эти праздники, — боль-

шіе, шумные, старинные праздники, когда былъ живъ еще дѣдушка!

Не спѣша слѣзаетъ о. Платонъ съ своей высокой одноколки, привязываетъ „Невѣсту“ къ частоколу, оправляетъ свою рясу, расчесываетъ въ передней толстымъ поповскимъ гребнемъ бороду и жидкіе волосы и потомъ уже входитъ въ горницу.

— Тетенька Прасковья Кузьминична! Дяденька Лукьянъ Савельичъ! Братецъ Тимофей Лукьянычъ! Сестрица Надежда Михайловна!

Со всѣми онъ трижды цѣлуется, причемъ бабушка, мать и мы, дѣти, предварительно подходимъ къ нему подъ благословеніе. О. Платонъ всѣхъ насъ, дѣтей, помнитъ и всѣмъ говоритъ какое-нибудь ласковое слово.

— Дѣвицы-то у васъ, Надежда Михайловна, растутъ на украшеніе родительскаго дома!

— Ну какъ, Степа — удерживаетъ онъ меня — небойсь, скоро за склады засадятъ: азъ—ангелъ, буки—Богородица...—И при этомъ прибавитъ какую-нибудь сентенцію вродѣ: „Корень ученія горекъ, плоды его сладки“ или: „Наука юношей питаетъ, отраду старымъ подаетъ“.

Говорилъ о. Платонъ, растягивая слова, плавнымъ медоточивымъ теноркомъ, всѣ его движенія были мягки и медлительны и весь онъ—лысый, съ влажными глазами, съ полнымъ рыхлымъ тѣломъ, былъ какой-то круглый, пухлый и мягкій.

Выраженія онъ любилъ книжныя и уснащалъ рѣчь замысловатыми оборотами и почтительными эпитетами: „въ разсужденіи чего“, „касательно вышеизложеннаго“, „его высокопревосходительство генералъ-аншефъ Илліодоръ Артемьевичъ Солтухинъ“, „его высокопреподобіе, достопочтеннѣйшій о. протоіерей“ и все въ такомъ родѣ. Матеріи для разговора любилъ выбирать важныя, — о генералахъ, объ архіереяхъ, о царяхъ и говорилъ соотвѣтствующимъ высокимъ слогомъ, низкихъ же мате-

рій и низкаго слога не любилъ. Онъ могъ говорить цѣлыми часами и рѣчь его лилась, какъ ручей, а мой отецъ только вздыхалъ и говорилъ послѣ въ семьѣ:

— Богатая словесность у о. Платона!

— Говорòкъ... — подтверждала бабушка. — Въ матушку Олену Митревну. Востра была на языкъ сестрица-покойница.

О. Платонъ былъ франтъ и щеголь. Онъ пріѣзжалъ въ зеленой или лиловой шерстяной рясѣ, кушакъ, которымъ было стянуто полукафтанье, былъ вышитъ не огурцами, какъ было принято у причетниковъ, дьяконовъ и бѣдныхъ священниковъ, а цвѣтами и букетами, иногда и бисеромъ. Всѣмъ было извѣстно, что у о. Платона была подаренная генеральшей шелковая ряса, что по тѣмъ временамъ составляло большую роскошь даже для городскихъ священниковъ. Волосы онъ смазывалъ помадой Мусатова, а не масломъ изъ лампадки, и платокъ его былъ даже надушенъ. Благоухающій, съ расчесанной волосокъ къ волоску бородой, въ свѣтлой рясѣ, въ великолѣпномъ кушакѣ, съ длинной серебряной цѣпочкой, вившейся по полукафтанью, о. Платонъ былъ истиннымъ украшеніемъ нашихъ праздниковъ.

Понемногу подъѣзжали гости въ телѣгахъ и рыдванахъ, покрытыхъ плохонькими ковриками, въ удивительныхъ тарантасахъ, какихъ теперь ужъ не увидишь, подъѣзжали батюшки и дьяконы, и причетники съ женами и дѣтьми, — запыленные, усталые отъ жары. Всѣ они сначала заходили въ кладовку, въ чуланы, гдѣ умывались, причесывались, переодѣвались въ праздничныя платья, которыя привозили въ особыхъ узлахъ, и потомъ уже являлись въ горницу.

Какіе кринолины тогда были, какія яркія модныя двуличневыя матеріи! У матушекъ на головахъ были наколки, а волосы дочекъ собирались въ сѣтки, украшенныя крупнымъ стеклярусомъ самыхъ фантастическихъ цвѣтовъ.

Бѣдныя поповны! Туго стянутыя въ накрахмаленныхъ, коломъ торчавшихъ, ситцевыхъ платьяхъ, въ кринолинахъ, въ которыхъ такъ мудрено было садиться, въ полусапожкахъ, которые жали ноги и скоро натирали мозоли, въ нитяныхъ перчаткахъ, изъ которыхъ выглядывали загорѣлые, привыкшіе къ серпу и граблямъ пальцы,—онѣ сидѣли, чинно сложивши руки на колѣняхъ, рядомъ съ своими матерями и чувствовали себя такъ неловко въ этомъ большомъ обществѣ, къ которому онѣ такъ же не привыкли, какъ ихъ руки къ перчаткамъ и ноги къ полусапожкамъ. Всякій разъ, какъ только къ нимъ обращался кто-нибудь изъ взрослыхъ, румянецъ заливалъ ихъ лица и шеи, даже сквозь загаръ, котораго не могла отмыть никакая огуречная вода, и онѣ спѣшили уйти изъ чопорной горницы въ кухню, а еще лучше въ садъ къ семинаристамъ, тѣмъ корректнымъ джентльменамъ въ неизмѣнныхъ черныхъ сюртукахъ и въ черныхъ же наглухо застегнутыхъ до горла жилеткахъ, которые также избѣгали горницы и предпочитали вольный воздухъ сада.

Тамъ можно было распустить лифъ и снять проклятые полусапожки; тамъ устраивались горѣлки, лапта и всякія игры, въ концѣ которыхъ волосы дамъ оказывались густо уснащенными репейникомъ; тамъ можно было хохотать во все горло, щелкать подсолнухи, ѣсть всякую ягоду и потягивать брагу, которой сестры усердно угощали кавалеровъ и дамъ, и которая такъ превосходно поднимала настроеніе публики.

А въ горницѣ шла чинная бесѣда. Сообщались епархіальныя новости, — какой гдѣ открылся приходъ, кто куда перемѣщенъ, полушопотомъ передавались слухи о томъ, что дѣлается въ архіерейскомъ домѣ, что сказалъ консисторскій секретарь такому-то батюшкѣ.

Въ особенности всѣ волновались, если разговоръ шелъ о поѣздкѣ архіерея по епархіи, объ ожидаемой ревизіи и о томъ, что покрывало тогда всѣ слухи, всѣ

новости,—о близкой волѣ, о новыхъ порядкахъ. Тогда лица принимали напряженное, испуганное выраженіе, а отецъ оглядывался и притворялъ двери, чтобы не услыхалъ чужой человѣкъ, не слышали бы мы, дѣти.

Настроеніе было чинное и степенное. Гости только пригубливали наливку и церемонно отказывались отъ водки. Время отъ времени отецъ выходилъ изъ горницы, тогда вставалъ и шелъ за нимъ о. Платонъ и еще двое-трое изъ гостей. Отецъ покуривалъ, но при бабушкѣ не позволялъ себѣ дымить табачищемъ и хотя кладовка всегда была полна окурками и пропитана дымомъ, бабушка дѣлала видъ, что не замѣчаетъ, зачѣмъ онъ бѣгаетъ туда по нѣсколько разъ въ день. Кладовку гости очень любили, тамъ стояла большая бутыль съ водкой и незазорно было выпить. Въ кладовку ходили все чаще, засиживались больше и возвращались веселѣе.

Тогда о. Платонъ начиналъ разсказывать свои длинныя превосходныя исторіи, касающіяся всего рода его высокопревосходительства генералъ-аншефа Илліодора Артемьевича Солтухина. Ахъ, я многое забылъ изъ этихъ превосходныхъ исторій, но одну, которую о. Платонъ разсказывалъ особенно увлекательно, я помню, какъ сейчасъ.

Сидитъ о. Платонъ на почетномъ мѣстѣ, на кожаномъ диванѣ, рядомъ съ дѣдушкой,—его бѣднаго для праздника нарядили въ суконную ряску, въ которой ему жарко и душно; сидитъ о. Платонъ украшенный, благоухающій и ровнымъ, журчащимъ теноркомъ разсказываетъ.

...И призываетъ его (генералъ-аншефа Солтухина) султанъ турецкій и говоритъ ему: иди, говоритъ, въ мое подданство, прими, говоритъ, ты нашу турецкую вѣру и сдѣлаю, говоритъ, я тебя первѣйшимъ пашей. Ежели, говоритъ, ты на сіе согласія своего не дашь...

Мы всѣ знаемъ, что трагическій моментъ прибли-

жается. О. Платонъ вынимаетъ изъ кармана красный фуляровый платокъ и табакерку, украшенную портретомъ какого-то Солтухина, торжественно открываетъ ее, деликатно беретъ концами пальцевъ понюшку табаку, подноситъ ее къ носу, но не нюхаетъ и въ такомъ положеніи, сморщивши лобъ, отчего его лысина собирается въ складки, продолжаетъ:

— ...И отвѣчаетъ султану турецкому его высокопревосходительство генералъ-аншефъ Илліодоръ Артемьевичъ: я, говоритъ, моему Богу не отступникъ и моему царю не измѣнникъ...

Съ шумомъ входитъ табакъ въ ноздри о. Платона, громко щелкаетъ табакерка и красный фуляровый платокъ отираетъ покрытый крупными каплями пота лобъ. О. Платонъ нѣкоторое время молчитъ, какъ бы давая слушателямъ придти въ себя, и продолжаетъ:

— ...И приказалъ султанъ турецкій заключить его въ седьмибашенный замокъ...

Къ сожалѣнію, я не знаю конца этой чудесной исторіи, но помню, что сколько разъ ни разсказывалась исторія про седьмибашенный замокъ, всякій разъ она выслушивалась присутствующими съ живѣйшимъ интересомъ и героическій поступокъ генералъ-аншефа Солтухина всегда наполнялъ патріотической гордостью мое дѣтское сердце.

Патріотическіе разсказы, преимущественно изъ военной жизни, были любимой темой разговоровъ и всегда имѣли успѣхъ. Я даже не знаю, откуда это воинственное настроеніе забралось въ Крутыя Горы къ скромнымъ и смирнымъ, совсѣмъ не воинственнымъ батюшкамъ и дьякопамъ.

Всеобщимъ любимцемъ и героемъ былъ Суворовъ. Двухтомное „жизнеописаніе“ Суворова, истрепанное до невозможности, ходило по рукамъ круглый годъ и всегда находило читателей. И хотя всѣ знали и перезнали всякія исторіи про Суворова, — его поговорки и

чудачества, и донесенія Екатеринѣ, и штурмы и сраженія, тѣмъ не менѣе разсказы про Суворова были неистощимой темой праздничныхъ разговоровъ.

Въ особенности любила эти разсказы бабушка и всегда при этомъ говорила:

— Всегда побѣждалъ, никогда побѣжденъ не бывалъ! — и заканчивала, давая понять, что этимъ все сказано,—энергично произносимой фразой:

— Да ужъ что говорить, одно слово—генералиссимусъ!..

Я затрудняюсь теперь сказать, что собственно разумѣла бабушка подъ этимъ словомъ генералиссимусъ, которое она такъ великолѣпно выговаривала, но слово всегда производило должное впечатлѣніе.

Обыкновенно въ то время, какъ накрывали на столъ, съ рѣки доносился звонъ колокольчика и на парѣ бойкихъ пѣгонькихъ лошадокъ лихо подкатывалъ къ дому аккуратненькій тарантасикъ съ братомъ матери и его женой.

— Вотъ и я! — веселый и всегда улыбающійся появляется въ горницѣ Николай Михайловичъ.—Отцы святые! Матери преподобныя! - раскланивается онъ направо и налѣво.

Съ пріѣздомъ дяди сразу веселѣе и шумнѣе становится въ нашемъ домѣ, и оживлявшіеся при видѣ его гости говорили:

— Васъ вотъ и недоставало, Николай Михайловичъ! Думаемъ, что не ѣдетъ?..

Даже бабушка, подозрительно относившаяся къ материнскому роду, питала слабость къ дядѣ,—повидимому, онъ очаровалъ ее своимъ веселымъ характеромъ и въ особенности чуднымъ голосомъ и умѣньемъ пѣть, что бабушка очень любила и что составляло единственную слабость суровой старухи.

— Ужъ и прокуратъ ты, Николай Михайловичъ. *Веселонравный*, да важеватый...—говаривала, бывало,

бабушка.—Тебя бы на коня, да саблю тебѣ въ руки, а не кадиломъ махать!

Высокій красавецъ, съ великолѣпной бѣлокурой бородой и веселыми карими глазами,—стройный, ловкій и остроумный, Николай Михайловичъ рѣзко выдѣлялся среди бѣднаго и запуганнаго духовенства. Онъ былъ священникомъ въ подгородномъ селѣ, гдѣ причтъ получалъ большія арендныя деньги за луга, подходившіе къ самому городу, дѣтей у него не было, жилъ онъ по тогдашнему широко, не трясясь надъ копейкой, съ землей не возился, водилъ компанію съ чиновниками и офицерами стоявшаго въ городѣ батальона, выписывалъ „вѣдомости“, какъ называли тогда всѣ газеты—и всегда вносилъ съ собой въ нашъ старозавѣтный домъ запахъ другой жизни, атмосферу иныхъ идей и чувствъ,—въ нѣкоторомъ родѣ вольный духъ.

Жена попалась ему подъ пару. Веселая, моложавая женщина безъ тѣхъ раннихъ морщинъ и выраженія удрученной тоски, которыя лежали на лицахъ большинства нашихъ матушекъ и дьякониць, она также вносила оживленіе и дѣлалась центромъ всюду, куда являлась. Если дядя привозилъ съ собой политическія новости и новые романсы, то она была въ нашей родинѣ законодательницей модъ и выкройки ея ходили по уѣзду. Анна Павловна читала сочиненія Марлинскаго и, помню, привезла сестрамъ первый прочитанный ими свѣтскій романъ „Рославлевъ“, была немного романтична, держалась больше съ молодежью и очень любила покровительствовать всякимъ романамъ и устраивать браки по любви, что было тоже большимъ вольнымъ духомъ въ нашей средѣ, гдѣ впереди всего стояли „приходъ“ и „мѣсто“ и „роспись приданаго“, затѣмъ положеніе родни на практической духовной лѣстницѣ и потомъ уже согласіе жениха и невѣсты, которое собственно и не спрашивалось, а подразумѣвалось само собой.

Какъ ѣли въ праздники! Несмотря на то, что къ утреннему чаю подавали пироги съ разными начинками и таболки и всякія сдобныя печенья, а часа два спустя легонькую закуску,—опять пироги и солонину, и грибы, и капусту,—въ двѣнадцать часовъ накрывали столы во всю длину горницы и тутъ ужъ начиналась ѣда въ настоящемъ смыслѣ слова. Подавались два горячихъ,—щи со свининой или солониной и похлебка съ телятиной или бараниной и отдѣльно нарѣзанное кусками вареное мясо съ хрѣномъ, и нѣсколько жаркихъ и разныхъ сортовъ каши, а потомъ шли сдобные пироги съ малиной, яблоками и всякой ягодой и въ заключеніе вносилось красное желе съ горящей въ срединѣ свѣчкой, появлявшееся неизмѣнно каждый праздникъ и всякій же разъ производившее необыкновенный эффектъ.

На почетномъ мѣстѣ сидѣлъ дѣдушка, справа и слѣва, по нисходящей линіи, усаживались самые почетные гости по степени родства и духовнаго сана,—въ концѣ ютились кто попроще, да побѣднѣе. Щи хлебали изъ общей чашки, вилки подавались, но ножей не было, длинныя полотенца, растянутыя на колѣняхъ гостей, служили салфетками. Отецъ угощалъ мужчинъ, мать дамскій полъ, Настя и Варька ходили вокругъ стола съ большими жбанами браги и подливали, у кого пустѣлъ стаканъ; время отъ времени въ дверяхъ показывалось красное и потное торжествующее лицо Домны съ новымъ блюдомъ, а бабушка давала общій дирижирующій тонъ, подходила къ почетнымъ гостямъ, складывала руки на груди и по старинному, низко въ поясъ кланялась, приговаривая:

— Кушайте, гости дорогіе! Не обезсудьте,—чѣмъ Богъ послалъ...

— И такъ ужъ закормили! Много довольны, Прасковья Кузьминична... говорили гости, но тѣмъ не менѣе сдавались на бабушкины просьбы и подкладывали себѣ какого-нибудь блюда.

И все новыя кушанья носила Домна, пустѣли бутылки съ наливкой, новые и новые жбаны съ пѣнистой холодной брагой носили сестры изъ погреба и постепенно языки развязывались, лица краснѣли, нестройный гулъ голосовъ поднимался надъ столомъ, слышались взрывы смѣха, праздничное веселье наполняло души.

А въ кухнѣ за старымъ обѣденнымъ столомъ засѣдали мы, подростки, и доѣдали остатки—ихъ много было—съ большого стола.

Послѣ обѣда гости постарше разбредались по темнымъ прохладнымъ чуланамъ, въ сараи на сѣновалъ соснуть часокъ-другой, а кто помоложе и мы, подростки, уходили за овинъ на нашъ лугъ. Тамъ устраивались игры въ горѣлки, въ кошки-мышки, въ веревочку, а когда уставали отъ бѣготни и руки вздувались отъ здоровенныхъ ударовъ, устраивали хороводъ и начинали любимую тогда—„Какъ по морю, морю синему“...

Одинъ по одному подходили оживившіеся бражкой отъ послѣобѣденнаго сна гости, хороводъ расширялся и пѣсня крѣпла. Иногда хороводъ раздѣлялся на двѣ стѣнки—мужскую и женскую—и сходясь и расходясь пѣли тоже любимую: „А мы просо сѣяли“...

Весело тогда дѣлалось на зеленомъ лугу и всѣхъ веселѣе былъ дядя Николай Михайловичъ. Никто лучше его не билъ мячъ и самой опасной „кошкой“ былъ онъ же, онъ же запѣвалъ пѣсни и молодцомъ ходилъ въ кругу.

Чѣмъ воздержнѣе и скуднѣе была обыденная пища, чѣмъ скуднѣе и унылѣе тянулись полныя труда и заботъ житейскія будни, тѣмъ сытнѣе и обильнѣе было праздничное угощенье, тѣмъ шумнѣе и веселѣе проходили праздники,—повидимому, и хозяева и гости спѣшили вознаградить себя за долгое воздержаніе и сухояденіе, за томительное однообразіе повседневной жизни,—чай, который у большинства, какъ и у насъ, пили только по воскресеньямъ, разъ въ недѣлю, при-

чемъ каждому на все чаепитіе выдавалось по маленькому кусочку сахару,—теперь подавали нѣсколько разъ въ день и даже въ накладку, и уничтожались цѣлыя горы мяса и десятки цыплятъ, которыхъ, кажется, для того и растили, и пустѣли бутылки съ наливкой и выпивались цѣлые ушаты браги. Даже лошадямъ гостей жилось привольно,—онѣ получали овесъ вмѣсто обычнаго сѣна и соломы съ болтушкой.

И бабушка, которая въ обычное время, по выраженію матери, смотрѣла каждому въ ротъ и берегла всякій кусокъ, считала особенной честью,—это былъ тоже завѣтъ дѣдушекъ,—чтобы гости ея были сыты до отвалу, а кто пьетъ,—въ полпьяна—пьяныхъ она не любила,—и чтобы потомъ полгода по селамъ разсказывали:

— Ну ужъ, Прасковья Кузьминична и угощала на Второй Спасъ!..

Солнце давно зашло, а разыгравшееся на лугу веселье все росло. Изъ дому прибѣгали послы звать къ чаю,—расходившаяся молодежь и старики не хотѣли уходить съ луга, и только когда кто-нибудь изъ насъ прибѣгалъ со словами: „бабинька кличетъ, сердится“...—всѣ понемногу стягивались въ домъ.

Здѣсь съ обильной закуской подавали сласти, всѣ разсаживались—и большіе и малые—въ горницѣ и начиналось пѣніе, продолжавшееся весь вечеръ,—это былъ обычай, соблюдавшійся всѣ праздники, которые я только помню. Я такъ любилъ эти вечера, но, кажется, еще больше меня любила ихъ бабушка, которая всегда въ эти вечера дѣлалась веселой и ласковой.

Въ высокомъ парадномъ повойникѣ, въ огромной пестрой турецкой шали, подаренной Екатерининской фрейлиной бабушкиной матери, она садится у печки, складываетъ руки и, поправляя на колѣняхъ концы шали, обращается къ дядѣ:

— Ну, коноводъ, зачинай.

— Я ужъ когда разойдусь... — отвѣчаетъ Николай

Михайловичъ.—Вы ужъ зачинайте, Прасковья Кузьминична! Развѣ мы умѣемъ, какъ слѣдуетъ, старинныя-то пѣсни пѣть.

Бабушка польщена и послѣ короткаго сопротивленія старческимъ контральто запѣваетъ: „Черный воронъ, что ты вьешься надъ моею головой“ или военную пѣсню, которую любили: „Что не соколы крылаты, чуя солнышка восходъ“—подхватывалъ чудный голосъ дяди, когда-то первый теноръ семинарскаго хора, гудѣли низкія ноты отцовскаго баса, присоединялись молодые свѣжіе голоса семинаристовъ и поповенъ, изъ которыхъ выдѣлялись славившіеся въ роднѣ красивые голоса сестеръ. Духовенство умѣло и любило пѣть и пѣніе выходило сильно, красиво и одушевленно.

Потомъ пѣли: „Снѣги бѣлые, пушистые“, „Ивушку“ — очень часто, „Вечёръ поздно изъ лѣсочка“ и—„двѣ собачки впереди, два лакея позади“ звучали тогда реальнымъ смысломъ и всегда воодушевляли пѣвцовъ; неизмѣнно пѣли „Среди долины ровныя“.

Иногда отецъ и дядя вспоминали старыя времена, когда оба они были семинарскими пѣвчими, и великолѣпные церковные мотивы звучали въ насторожившейся комнатѣ. „Чертогъ Твой вижду, Спасе мой украшенный“ и „На рѣкахъ Вавилонскихъ“, и для особеннаго удовольствія дѣдушки: „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ“.

Пѣли и модные романсы, которые привозили дядя и семинаристы: „Во тьмѣ ночной ярилась буря“, „Что жъ ты замолкъ и сидишь одиноко“ и „Не слышно шуму городского...“

Вплоть до ужина раздавались пѣсни. Ужинъ былъ такой же плотный, какъ и обѣдъ, а потомъ столы и стулья раздвигались—и во всю длину пола настилался войлокъ, и перины для тѣхъ, кто постарше и посолиднѣе, а молодежь отправлялась на сѣновалъ.

На другой день повторялось то же самое, и только

на третій, иногда на четвертый день гости разъѣзжались, усталые и довольные, а усталые и довольные хозяева провожали ихъ на крыльцѣ и все кланялись, и все просили переночевать ночку, погостить еще денекъ....

Не всегда и не все гладко сходило. Случались осложненія, изъ которыхъ возникали ссоры, иногда тянувшіяся по нѣскольку лѣтъ. Нужно было не пропустить чего-нибудь въ строго-установленномъ церемоніалѣ, нужно было не забывать и умѣть угощать гостей.

Особенно часто выходили ссоры съ сестрой отца Глафирой Лукьяновной. Она давно была убѣждена, что моя мать злѣйшій врагъ ея, что именно мать попустила на ея мужа о. Василія тоску, изъ-за которой онъ пьетъ запоемъ и, обыкновенно смирный и не выходившій изъ женіной воли—въ пьяномъ видѣ гоняется за ней съ ножемъ.

Она жаловалась бабушкѣ, что „Надежда“ напустила на нее самое лихорадку, которая возвращалась къ ней всякую весну и вообще, повидимому, склонна была думать, что моя мать вѣдьма, въ чемъ клятвенно увѣряла ее какая-то баба изъ ихъ села, видѣвшая у матери во время купанья сзади хвостикъ. Поэтому она рѣдко бывала у насъ на праздникахъ и почти всякій пріѣздъ ея сопровождался какой-нибудь исторіей. То за обѣденнымъ столомъ посадили ее ниже того-то, несоотвѣтственно степени родства и священническаго сана ея мужа, то за пшенной кашей обошли наливкой и мать плохо потчивала и будто смотрѣла на нее змѣиными глазами. И она жаловалась бабушкѣ и говорила отцу, что нога ея больше не будетъ у насъ въ домѣ, увозила раньше времени мужа и па два, на три года переставала ѣздить къ намъ.

Изрѣдка пріѣзжалъ изъ города о. Демидъ—трою-

родный братъ моего отца—и тоже почти никогда не обходилось безъ исторіи. Это былъ пропитанный злобой человѣкъ, забившій жену и побоями же сдѣлавшій изъ сына идіота, только за то, что онъ не могъ идти первымъ ученикомъ въ училищѣ — и всякій пріѣздъ его портилъ наши веселые праздники. Для него спеціально покупалась бутылка рома и коробка сардинокъ, онъ пилъ чай и подливалъ рому и чѣмъ болѣе пилъ, тѣмъ болѣе краснѣло его широкое лицо съ рыжей бородой, а выпячепные бычьи глаза наливались кровью и злоба закипала въ его сердцѣ.

— Ты чего космы-то распустила ровно дьяконъ? — останавливаетъ онъ какую-нибудь поповну, у которой волосы недостаточно аккуратно спрятаны въ сѣткѣ.

Дѣвушка краснѣетъ и со слезами выбѣгаетъ изъ комнаты, а бычьи кровавые глаза озираются кругомъ.

— Заржалъ жеребецъ! — набросится онъ на осмѣлившагося засмѣяться въ его присутствіи семинариста или кого-нибудь изъ молодыхъ священниковъ.

Постепенно горница пустѣетъ, — у всѣхъ есть сыновья и братья и всѣ боятся инспектора духовнаго училища и онъ остается одинъ съ пустой бутылкой. Иногда вступается бабушка и, какъ ни священны законы гостепріимства, начинаетъ отчитывать его:

— Разогналъ народъ-то, любо!.. Эка сердце-то у тебя лютое! Ты вотъ что, отецъ Демидъ,—порядковъ-то здѣсь своихъ не заводи, а то вѣдь у меня просто: вотъ тебѣ Богъ,—указываетъ она на божницу,—а вотъ и порогъ! Не прогнѣвайся...

Тогда о. Демидъ обижается и говоритъ, что нога его не будетъ въ этомъ домѣ.

Однажды, въ самый разгаръ праздника, когда накрывали обѣденные столы, мимо нашего дома съ громомъ бубенчиковъ и колокольчиковъ проѣхалъ по направленію къ священнику тарантасъ, запряженный парой лошадей.

— Ремизовскаго батюшки лошади,—съ удивленіемъ смотрѣлъ въ окно отецъ и вдругъ поблѣднѣлъ и испуганнымъ шопотомъ выговорилъ:

— Егоръ Семенычъ!..

Горницу какъ выдуло. Одинъ по одному гости разбрелись въ садъ, со столовъ все убрали, на закусочномъ столѣ появились водка, ромъ, коробочка сардинокъ, въ сѣняхъ раздували самоваръ. Отецъ суетился, прибирая комнату, надѣлъ рясу, долго копался въ своей каморкѣ и я видѣлъ, какъ вынималъ деньги изъ своего шкапчика.

Я былъ посланъ къ батюшкиному двору сторожемъ, предупредить, когда пойдетъ къ намъ страшный гость. Это былъ знаменитый въ губерніи консисторскій чиновникъ. Онъ занималъ ничтожное мѣсто, „послѣдняя гнида въ консисторіи“, какъ выражался дядя Николай Михайловичъ, но его сестра была замужемъ за консисторскимъ секретаремъ и въ губерніи всѣ знали, что проникнуть къ секретарю можно только черезъ Егора Семеновича.

Всякое лѣто онъ разъѣзжалъ по губерніи изъ прихода въ приходъ, безъ просыпа пьяный, вездѣ угощался и у всѣхъ требовалъ денегъ.

Теперь пришелъ чередъ нашему уѣзду.

А въ домѣ батюшки происходила унизительная и омерзительная сцена.

На батюшкиномъ диванѣ, скинувши сапоги, въ грязныхъ портянкахъ, въ изорванномъ и вымазанномъ пиджакѣ, грязный и пьяный, лежалъ пріѣзжій. Онъ трясъ кулакомъ и прерывающимся отъ иканья сиплымъ перепитымъ голосомъ говорилъ:

— Вотъ вы всѣ гдѣ у меня! — онъ сильнѣе вытянулъ кулакъ и засмѣялся —Хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю.

Непечатная ругань сопровождала жестъ.

А у изголовья его сидѣлъ о. Демидъ и, улыбаясь

своимъ гнилымъ ртомъ, льстиво поддакивалъ и все повторялъ:

— Ужъ вы, Егоръ Семенычъ, мимо не проѣзжайте, — обидите... Угощу, будьте покойны, найдется для дорогого гостя.

Передъ диваномъ стоялъ батюшка и тоже старался улыбаться своимъ испуганнымъ, какъ у отца, лицомъ, а матушка, всегда такая тонная и важная своимъ профессоромъ-сыномъ, стояла съ подносомъ съ чаемъ и ромомъ, и кланялась и упрашивала гостя отвѣдать чайку.

— Не таранти, таранта! — оборвалъ пріѣзжій о. Демида,—и безъ тебя знаю... Эка удивилъ,—угощу... Знаю я про твое угощеніе-то... Посмотрѣлъ бы я, какъ ты меня не угостишь! Вы чего молчите?—кричитъ онъ на притихшихъ гостей.

И долго тянется безобразная сцена. Подлое, слюнявое, кувшинное рыло, все бахвалится и сыплетъ непечатной руганью, и грязный, пьяный мерзавецъ все куражится надъ испуганными, загнанными рабами, не смѣвшими уйти изъ комнаты.

Я видѣлъ, какъ совалъ ему деньги батюшка, а гость трясущимися руками безцеремонно пересчитывалъ ихъ и бросалъ ему въ лицо, и батюшка извинялся и прибавлялъ еще; я видѣлъ, какъ батюшка и о. Демидъ услужливо подсаживали въ тарантасъ еле державшагося на ногахъ негодяя и все кланялись и благодарили за посѣщеніе.

Только когда тронулись лошади, онъ, очевидно, вспомнилъ про моего отца и схватилъ было кучера за воротъ, но Николай Михайловичъ энергично махалъ изъ-за плетня рукой, кучеръ ударилъ по лошадямъ, а сидѣвшій въ тарантасѣ человѣкъ въ скомканномъ картузѣ что-то кричалъ сиплымъ голосомъ и, повернувшись назадъ, грозилъ по направленію къ нашему дому.

Такъ набожно перекрестился отецъ и такъ глубоко вздохнулъ...

. . . . . .

О. Платонъ уѣзжаетъ послѣднимъ. Онъ уже выпилъ „посошекъ“ — и другой, и третій и, одѣтый, все еще стоитъ въ горницѣ, сіяющій и благоухающій и все источаетъ медлительную, превосходную словесность. Медлительно и съ нѣкоторымъ усиліемъ взбирается онъ на свою одноколку и снимаетъ шляпу, и кланяется, и благодаритъ, и все зоветъ къ себѣ сестрицу и братца, и тетушку Прасковью Кузьминичну... Высоко, какъ журавль, поднимаетъ ноги старая бѣлая „Невѣста“ и, мѣрно покачивая головой, трогается по улицѣ. Миновало село, ѣдетъ о. Платонъ межниками въ свое Богоявленское и говоритъ „Невѣстѣ“, что праздники кончились, что ему скучно и что онъ рано уѣхалъ.

Николай Михайловичъ разсказывалъ, что онъ встрѣтилъ однажды возвращавшагося съ праздника о. Платона на лугу, далеко отъ дороги,—„Невѣста“ мирно щипала траву, а отецъ Платонъ разсказывалъ ей исторію про семибашенный замокъ.

Праздникъ кончился и въ домѣ становится тихо и уныло. Снимаются полусапожки и барежевыя платья, подбираются оставшіеся куски и начинаются будни, и еще тяжелѣе работа, и еще скуднѣе жизнь...

XII. О. Платонъ и дьячокъ Вавила.

Скучно возвращаться о. Платону въ свой неуютный и нехозяйственный домъ. О. Платонъ давно овдовѣлъ, и хозяйство—если можно назвать хозяйствомъ то, какъ онъ жилъ,—вели многочисленныя родственницы, непереводившіяся въ его домѣ. Это были какія-то вдовы, двоюродныя, троюродныя, въ темныхъ платочкахъ, съ

тихой запуганной рѣчью, съ удрученными лицами, ютившіяся по темнымъ чуланчикамъ, заставленнымъ сундуками, заваленнымъ какимъ-то тряпьемъ, гдѣ всегда пахло дѣтьми и клопами. Онѣ поселялись въ домѣ о. Платона съ дѣтьми, ѣздили по губерніи, разыскивая жениховъ и мѣста для дочерей, возили въ училище и семинаріи своихъ сыновей. Всѣхъ ихъ съ неизмѣнной благосклонностью кормилъ и одѣвалъ о. Платонъ, награждалъ приданымъ племянницъ, содержалъ въ семинаріи племянниковъ и съ той же благосклонностью принималъ новыхъ родственниковъ на мѣсто уходившихъ и свивавшихъ свои гнѣзда. Всѣ непорядки своего хозяйства о. Платонъ переносилъ съ философскимъ равнодушіемъ, и я не знаю, замѣчалъ ли онъ, что̀ подаютъ ему ѣсть? И ѣздилъ онъ постоянно въ одноколкѣ собственно потому, что въ суетахъ и хлопотахъ все некогда было починить дрожину въ его тарантасѣ.

О. Платонъ книги читалъ и въ роднѣ считался образованнымъ человѣкомъ. Онъ любилъ творенія св. отцовъ и проповѣди Родіона Путятина, которыя и произносилъ въ церкви къ великому огорченію своихъ прихожанъ, и безъ того жаловавшихся, что обѣдня у нихъ тянется вдвое дольше, чѣмъ въ Крутыхъ Горахъ; выписывалъ журналъ *Странникъ* и *Домашнюю Бесѣду* Аскоченскаго. Изъ барскаго дома попадали къ нему и новыя книги, и позже, когда я уже учился въ училищѣ, помню, онъ привезъ отцу подъ большимъ секретомъ книжку, прибавивши, что сочинитель человѣкъ опасный и что книжку нужно хорошенько спрятать. Конечно, мы прослѣдили отца, когда онъ пряталъ ее въ лукошко съ отрубями,—страшная книга оказалась „Отцы и дѣти“ Тургенева.

Душа о. Платона была тамъ, въ барскомъ домѣ. Родъ Солтухиныхъ, исторія ихъ предковъ, ихъ родня и знакомые и дѣла этихъ знакомыхъ, я увѣренъ, были

ближе о. Платону, чѣмъ его собственныя дѣла, и болѣе извѣстны ему, чѣмъ теперешнимъ потомкамъ Солтухиныхъ.

Съ весны и до заморозковъ, все время, пока жили въ имѣніи господа, о. Платонъ въ нѣкоторомъ родѣ плавалъ въ эмпиреяхъ. Его не часто звали въ барскій домъ, но уже присутствіе господъ, огромная дворня, наѣзжавшіе гости, изрѣдка дававшіеся вечера съ музыкой,—все это приводило о. Платона въ возвышенное настроеніе духа. Побывать въ домѣ было счастіемъ для него. Лакеи въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ, французскія фразы и высокій тонъ разговоровъ и упоминавшіеся превосходительства и сіятельства,—все это покоряло душу о. Платона. Даже и зимой, когда Солтухины уѣзжали, онъ мысленно слѣдилъ за ними и когда, бывало, пріѣзжалъ къ намъ, то прежде всего сообщалъ, что барышню Лидію Валерьяновну увезли въ теплые края,—„здоровье-то у неѣ деликатное“, съ соболѣзнованіемъ прибавлялъ онъ при этомъ,—а что сынъ Солтухина получилъ камеръ-юнкера, и проч., и проч.

Ясно и тихо текла бы жизнь о. Платона, если бы ее не возмущалъ дикій и необузданный дьячокъ Вавила, про котораго разсказывала Домна и котораго, со времени затѣяннаго имъ въ имѣніи князя бунта, прозвали между духовенствомъ „отчаянный“.

Они были товарищами по семинаріи, и скромный, учившійся по второму разряду, о. Платонъ сохранилъ воспоминаніе о блестящихъ способностяхъ Вавилы, бывшаго первымъ ученикомъ и исключеннаго за дерзости, которыя онъ наговорилъ ректору. Жили они довольно мирно; но время отъ времени на Вавилу находили буйныя полосы, онъ начиналъ пить и тогда ругательски ругалъ о. Платона.

— О. Платонъ!—взываетъ черезъ прясло пьяный Вавила.

Ихъ дома стояли рядомъ.

О. Платонъ слышитъ воззваніе и отсиживается въ горницѣ въ надеждѣ, что Вавила поореть, пооретъ да отстанетъ.

Но Вавила не отстаетъ и свирѣпѣетъ болѣе и болѣе.

— Ослица Вааламова, возглаголь! Умудри сладчайшей своею мудростію! Выходи, Платошка! Окна разобью!—неистовствуетъ Вавила.

О. Платону ничего не остается, какъ надѣть подрясникъ и выйти.

— Платонъ Васильичу! — любезно раскланивается пьяный Вавила и начинаетъ язвить.—Какъ поживать изволите? Какъ здоровье ея превосходительства Вѣры Константиновны? Въ добромъ ли здравіи наперсникъ ея превосходительства, господинъ педагогъ? Не оценилась ли превосходительная сучка?

И начинаетъ язвить всякими непочтительными вопросами насчетъ генеральши.

А о. Платонъ пугливо озирается: не слушаетъ ли кто изъ переука.

— Потише ты, Христа-ради, Вивила Лаврентьичъ, дойдетъ до генеральши,—сейчасъ про тебя архіерею напишетъ.

— Плевать бы я хотѣлъ на твою генеральшу!—во все горло оретъ Вавила.—Всѣмъ морды раскрою! Ахъ, Платонъ, Платонъ!—укоризненно качаетъ онъ головой,—продалъ ты свою душу... Ты о чемъ проповѣдь-то въ воскресенье говорилъ? „Рабы повинуйтеся господамъ“, рабья твоя душа! Бить бы тебя, Платошка, да рукъ марать не хочется. Рабъ ты, рабъ!—кричитъ Вавила.

— Да взойди ты ко мнѣ, Вавила Лаврентьичъ, дома поговоримъ,—пробуетъ остановить его о. Платонъ, но Вавилу нельзя остановить.

— Не хочу я къ тебѣ, пакостнику, идти!— кричитъ онъ.

Отрезвѣетъ Вавила, придетъ къ о. Платону и угрюмо извиняется:

— Что ужъ, Платонъ Васильевичъ, не взыщи съ меня пьянаго. Нагрубилъ я тебѣ...

Сердце о. Платона проникается жалостью къ хмурой фигурѣ Вавилы съ испитымъ лицомъ, вспоминаетъ онъ, какъ сидѣли они на одной бурсацкой скамейкѣ, беретъ Вавилу за рукавъ и вводитъ къ себѣ въ кабинетикъ.

— Богъ проститъ,—говоритъ о. Платонъ.—Товарищи вѣдь мы съ тобой, что ужъ другъ съ дружкой-то считаться...

Понемногу о. Платонъ входитъ во вкусъ и произноситъ прекраснѣйшую рѣчь о томъ, что выпить во благовременіи—отчего не выпить, только мѣру знать надо; а ужъ если выйдетъ оказія, перельешь маленько, хоропиться куда-нибудь надо и самое расчудесное дѣло заснуть въ укрытомъ мѣстѣ.

Вавила угрюмо молчитъ и соглашается. И выпьютъ они на мировую съ о. Платономъ, только легонько, аккуратно. И опять сдѣлаются пріятелями, пока не перельетъ лишняго Вавила и не войдетъ строптивый бѣсъ въ его буйную голову.

— Истинно крестъ несете вы, о. Платонъ! — соболѣзнуетъ отецъ.—И какъ это барыня-то терпитъ? Ужли не доводятъ?

— Какъ не доводить!— о. Платонъ улыбается.— Принялъ я разъ грѣхъ на свою душу... Совсѣмъ ужъ письмо архіерею написала Вѣра Константиновна да и говоритъ мнѣ,—въ годахъ женщина и по своему вдовству боязливая:

— Вѣдь этакъ онъ и зарѣзать можетъ, либо подпалить ночью!...

— Я, признаться, прибавилъ отъ себя: — Лучше, говорю, ваше превосходительство, не доводить до этого...

Сами знаете, что спрашивать съ пьянаго человѣка! Испугалась, такъ и не послала письма, — о. Платонъ снова засмѣялся.

Ближе пришлось мнѣ познакомиться съ Вавилой, когда я поступилъ въ духовное училище, и Вавила, сынъ котораго учился и жилъ вмѣстѣ со мной, началъ возить насъ въ училище.

Отецъ не любилъ ѣздить въ городъ: приходилось всякій разъ „совать“ учителямъ, а для меня поѣздки съ Вавилой доставляли огромное наслажденіе. Вмѣсто розвальней, въ которыхъ возили меня крестьяне, Вавила добывалъ большія сани со спинкой, въ корень запрягалъ нашего Сивко, а на гусю своего лихого Игрунчика, къ дугѣ привязывалъ колокольчикъ, что особенно восхищало меня,—съ колокольчиками ѣздили тогда только помѣщики да разное начальство.

Насъ заворачиваютъ въ овчины, какъ тюки, и кладутъ въ задокъ, самъ Вавила примащивается на облучкѣ, а отецъ только упрашиваетъ:

— Сдѣлай милость, Вавила Лаврентьичъ, не гони ты Сивка, сырая лошадь.

Село за нами, за нами боязливый отецъ, сырую лошадь подбадриваютъ кнутомъ, а Игрунчикъ и безъ кнута кольцомъ вьется, по ухабамъ ныряетъ. Хорошо! Вздрагиваетъ и перезваниваетъ колокольчикъ, щелкаетъ длинный кнутъ и веселые окрики носятся по полямъ. А мы съ волненіемъ и трепетомъ ждемъ встрѣчи. Вавила самъ сворачиваетъ въ сторону, когда завидитъ обозъ, но не уступать дорогу другому колокольчику—считаетъ вопросомъ чести для себя. При звукѣ колокольчика онъ поправляется на сидѣньи и вытягиваетъ лошадей кнутомъ. Игрунчикъ не нуждается въ предупрежденіи и давно выработалъ систему,—онъ кусаетъ за шею встрѣчнаго гусевика, отчего тотъ бросается въ сторону и погружается въ снѣгъ, мы опрокидываемъ встрѣчныя сани, въ которыхъ сидитъ волчья или еното-

вая шуба, быстрый обмѣнъ трехъэтажныхъ словъ, и мы летимъ впередъ, а Вавила оглядывается назадъ и не безъ удовольствія смотритъ, какъ барахтается въ снѣгу волчья шуба. Мое сердце наполняется гордостью и чувствомъ удовлетворенія,—когда я ѣзжу съ кѣмъ-нибудь изъ крестьянъ, то мы стоимъ въ снѣгу и, снявши шапки, ждемъ, пока проѣдетъ эта самая волчья шуба.

Держись, Сивко! Расходившійся Вавила долго не можетъ успокоиться.

„Вороти лѣвѣй, — злобно повторяетъ про себя Вавила.—Я тебѣ сворочу, м-морда толстомясая! Я тебя уважу, подлеца“.

Громко щелкаетъ длинный кнутъ, Сивко принимаетъ гнѣвныя слова на свой счетъ и, прижавши уши, переваливаясь съ ноги на ногу, бѣжитъ крупной рысью, торжествующій Игрунчикъ туго натягиваетъ постромки и прибавляетъ ходу, и колокольчикъ особенно задорно заливается по снѣжнымъ полямъ.

Мы живо проѣзжаемъ тѣ сорокъ верстъ, на которыя отецъ тратитъ цѣлый день, и подъѣзжаемъ къ старому покосившемуся домику мѣщанки Флегонтовой, торговавшей на базарѣ яблоками, печеными яйцами, кислыми щами и всякой дрянью и пускавшей учениковъ духовнаго училища въ двѣ маленькія холодныя и грязныя комнаты своего дома.

Вавила часто пріѣзжалъ въ городъ, гдѣ у него постоянно были дѣла. Послѣ исторіи съ бунтомъ онъ долго писалъ прошенія въ различныя присутственныя мѣста до сената включительно, „насчетъ своихъ правъ“, какъ выражался отецъ. Правъ своихъ онъ не нашелъ, зато ознакомился съ юридической процедурой и сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ адвоката среди крестьянъ, и даже получилъ репутацію „доки“. Когда онъ являлся въ городъ, въ нашу квартиру приходили изъ суда другія „доки“, все бывшіе семинаристы и все пріятели Вавилы.

Тутъ писались прошенія и обсуждались всякія юридическія тонкости, а мы бѣгали въ кабакъ за водкой и пивомъ, добывали селедки и капусту и слушали разсказы о героическихъ временахъ бурсы и о бурныхъ семинарскихъ похожденіяхъ Вавилы.

А потомъ Вавила напивался пьянымъ, и отчаянный человѣкъ начиналъ плакать и говорить несообразныя слова: „Зачѣмъ мепя мать родила на свѣтъ“, и жаловаться намъ, что его обидѣли.

Тогда сынъ его, Митька, бралъ его за плечи и строго говорилъ:

— Погулялъ, батя, и ладно... Ложись спать, чего ужъ...

И Вавила покорно укладывался на полу и, обнявши Митьку, крѣпко засыпалъ.

— И какъ это у человѣка страха нѣтъ,— разсказывалъ отецъ матери про Вавилу.—Ну-тка се на базарѣ въ Кудиновѣ при всѣхъ оретъ: „погоди, робя, скоро ихъ всѣхъ по шапкѣ“... Ужъ точно что отчаянный...

А Вавилу не трогали именно потому, что онъ имѣлъ репутацію отчаяннаго. Помѣщица боялась, что онъ спалитъ, духовное начальство говорило, что съ нимъ, кляузникомъ, лучше не связываться, такъ какъ онъ не побоится и до синода дойти. Такъ и жилъ онъ, этотъ озлобленный человѣкъ, наводившій страхъ отсутствіемъ страха, добивавшійся того, что такъ дико и нелѣпо звучало тогда — правъ, громко говорившій о волѣ, о чемъ только шопотомъ на ухо говорили тогда другъ другу.

Должно быть, временами тоска забиралась въ душу озлобленнаго человѣка,—тогда онъ пилъ и ругался съ о. Платономъ, вѣроятно, путевые дебоши доставляли ему нѣкоторое удовлетвореніе и, быть можетъ, онъ не забылъ, какъ пороли его на княжьей конюшнѣ, и въ пьяныхъ слезахъ выливалось отчаяніе отчаяннаго человѣка.

XIII. Попъ-разстрига.

Помню зимній вечеръ. Вся семья собралась въ кухнѣ и медлительно текли долгіе часы зимняго вечера.

Было тихо. Жужжали веретена, трещала лучина въ свѣтцѣ, и съ шипѣніемъ падали горячіе уголья въ подставленный тазъ съ водой. На улицѣ разыгрывалась вьюга и заносила снѣгомъ маленькія деревенскія оконца. Временами раздавался короткій звукъ подожка въ окно и несся въ кухню томящій однотонный мотивъ: „батюшки, матушки! милостыньку Христа ради!"... Тогда веретена переставали жужжать, и поднимались головы и слушали стонущую пѣсню за окномъ. Бабушка шла рѣзать хлѣбъ. Лѣто было засушливое; осенью пошли пожары; по деревнямъ много ходило нищихъ, и въ тотъ морозный вьюжистый вечеръ особенно печально и жалобно билась въ окна нищая пѣсня,—и особенно большіе куски коровая отрѣзала бабушка и подавала въ окно.

Сказывала бабушка въ тотъ вечеръ „житіе",—одну изъ безконечныхъ исторій, которыя она любила разсказывать въ долгіе зимніе вечера.

„... Былъ купецъ въ одномъ городѣ, первый богатѣй. Мукой торговалъ, сѣномъ, овсомъ и, между прочимъ, при домѣ лавку имѣлъ, печеный хлѣбъ продавалъ, и каждое утро возы къ лавкѣ подъѣзжали съ коровами. Лютой былъ купецъ и нищей братіи кусочка не подавалъ, а приказчикамъ наказъ сдѣлалъ, чтобы палками гнали нищихъ, собаками чтобы травили. Только разъ привозятъ короваи,—самъ купецъ принималъ, и выскочилъ изъ-за угла нищій и присталъ: „дай, да дай хлѣбца!" И такъ его купецъ, и эдакъ,—и словами

всякими ругалъ, и съ кулаками за нимъ гонялся; а нищенка спрячется за уголъ и опять за свое: „дай хлѣбушка!“ Разлютѣло тогда сердце у купца, хочется ему прибить нищаго, а ударить-то нечѣмъ. Вотъ онъ схватилъ коровай, да и запустилъ его въ нищаго, что было мочи, а тотъ подхватилъ коровай,—да и былъ таковъ...“

И опять вмѣстѣ съ вьюгой врывается въ кухню жалобный мотивъ, рѣжетъ бабушка большую горбушку коровая и крестится и подаетъ въ обмерзшее и не запиравшееся всю зиму заиндевѣвшее оконце. Снова идетъ бабушка къ своему гребню, снова жужжатъ веретёна... Вечера были долгіе, а словъ въ то время мало было, и слова говорились медлительныя, тягучимъ голосомъ. Бабушка смотритъ, какая выходитъ нитка у Варьки, вставляетъ новую лучину въ свѣтецъ и снова начинаетъ сказывать съ того мѣста, на которомъ остановилась.

...„Ну вотъ долго ли, коротко ли,—кончился купецъ и предсталъ на судъ Божій. И зачали дѣла его земныя на вѣсахъ вѣшать, и зачали дьяволы грѣхи его на чашку сыпать. Сыпали, сыпали,—много купецъ за свой вѣкъ грѣховъ накопилъ. А на другой-то чашкѣ ничего. И стоятъ кругомъ ангелы и ничѣмъ оправдать купца не могутъ. Только одинъ ангелъ возьми да и положи на пустую чашку коровай-то этотъ, которымъ собирался купецъ нищаго прибить,—и видятъ всѣ: чашка съ короваемъ все книзу идетъ, а съ грѣхами-то вверхъ поднимается. Такъ и оправился купецъ...“

Мы, дѣти, лежимъ на полатяхъ и слушаемъ. Дотошная Варька не удовлетворяется.

— Ну, а дальше-то что было, бабинька?

— Что дальше?—Оправили купца по всѣмъ статьямъ. Вотъ оно, нищему хлѣбушка подать!—поучаетъ бабушка.—Коровай-то изъ ада кромѣшнаго купца вызволилъ.

Въ окно стукнули, но всегдашняго припѣва не слышно было. Всѣ насторожились, стукъ повторился.

— Кто бы это?—спросилъ отецъ.—Развѣ староста изъ городу пріѣхалъ...

Отецъ отставилъ санки, надъ которыми возился вечеромъ, открылъ примерзшее оконце и высунулъ голову. Клубы морознаго пара врывались въ комнату, слышны были тревожные короткіе вопросы отца. И когда онъ закрылъ окно, лицо его было блѣдное, испуганное и онъ коротко бросилъ:

— Братецъ, Павелъ Никифоровичъ...

И судя по тому, какъ тревожно поднялась бабушка, и выпало веретено изъ рукъ матери, и порывисто и неловко натягивалъ отецъ полушубокъ, чтобы идти отпирать калитку, мы, дѣти, почувствовали, что пришелъ кто-то, чьего прихода боятся большіе, и намъ сдѣлалось жутко и страшно. Всѣхъ насъ вытолкнули въ горницу и плотно затворили дверь и цыкнули на насъ, чтобы не смѣли ходить въ кухню.

А тамъ, въ кухнѣ, очевидно, происходило нѣчто необычное, тревожное. Въ полголоса что-то говорилъ отецъ, доносились короткія фразы бабушки и кто-то кашлялъ страшнымъ хриплымъ кашлемъ густого сердитаго баса. Мать торопливо вошла къ намъ въ горницу и начала рыться въ комодѣ, откладывала какое-то бѣлье, сняла съ вѣшалки ватную кацавейку отца, въ которой онъ рубилъ дрова, и слезы капали изъ глазъ матери.

Въ непритворенную дверь мы увидѣли прислонившагося къ жарко натопленой печкѣ большого, сутуловатаго человѣка, въ рваномъ полушубкѣ, въ старыхъ, обсоюженныхъ кожей валенкахъ, съ краснымъ обмороженнымъ лицомъ, съ густой щетиной давно небритаго подбородка. Когда онъ начиналъ кашлять, лицо его багровѣло и все огромное тѣло тряслось. Мы видѣли, какъ отецъ подносилъ ему стаканчикъ водки, и рука

того обмерзшаго человѣка тряслась, расплескивала водку и не могла поднести стаканчикъ къ губамъ. Потомъ дверь опять захлопнулась, и глухо гудѣлъ въ кухнѣ хриплый густой басъ. Потомъ стало вовсе тихо, и только слышался шорохъ двигавшихся людей.

Варька въ качествѣ лазутчицы успѣла обѣжать черезъ холодныя сѣни и сообщила, что дяденька полѣзъ въ печку париться и что на столѣ водка стоитъ и ужинать собираютъ. Неизвѣстно откуда добыла она такъ быстро свѣдѣнія, но она тутъ же разсказала намъ, что дяденька—попъ-разстрига и бѣглый солдатъ и что его сквозь строй гоняли.

Мы, маленькіе люди, были дѣти своего времени и понимали тогда, какъ теперь не понимаютъ взрослые люди, то непереносно страшное, что было въ словахъ „бѣглый солдатъ“ и „сквозь строй“. По этому случаю мы всѣ кучей забились въ самый уголъ огромной материнской кровати и прижались другъ къ другу и укрылись материнскимъ всеобъемлющимъ лоскутчатымъ одѣяломъ. А хриплый страшный кашель все доносился изъ кухни, и тревожно гудѣли тамъ голоса.

Намъ дали ужинать въ горницѣ и, когда мы встали на другой день, дяденьки уже не было. И то, что онъ ночью пришелъ и ушелъ до свѣта, пока село спало, и то, что большіе хоронили его отъ насъ и были встревожены, покрыло страхомъ и ужасомъ этого невѣдомаго дяденьку, и жуткимъ и темнымъ воспоминаніемъ осталась эта ночь въ моей дѣтской душѣ.

А потомъ постепенно сталъ онъ забываться. Я не встрѣчалъ его ни у кого изъ родныхъ на праздникахъ,—повидимому, онъ не появлялся больше въ нашихъ мѣстахъ. И имя его рѣдко произносилось въ семьѣ, а когда мы начинали приставать къ старшимъ съ разспросами, на насъ цыкали и обѣщали выдрать за волосы, если мы будемъ лѣзть.

И только долго спустя, когда я уже былъ студентомъ,

мнѣ снова пришлось встрѣтить его. Мы шли съ матерью черезъ Хитровъ рынокъ, и я замѣтилъ, какъ мать вздрогнула и подошла къ высокому сѣдому, сгорбленному старику въ полукафтаньи, съ посохомъ, съ котомкой за плечами, какъ ходятъ мѣряющіе своими шагами великую Россію странники. Я видѣлъ, какъ мать поцѣловалась съ нимъ, долго говорила и что-то совала въ руку. И когда вернулась—старикъ быстро смѣшался съ толпой, и я не видѣлъ его больше—слезы текли изъ ея глазъ, какъ тогда, въ ту ночь. И плача говорила, когда мы шли дальше:

— Все ходитъ, все ходитъ. И пристанища не имѣетъ... Старикъ ужъ, сердешный...

Это былъ онъ, дядя Павелъ Никифоровичъ.

— Адресъ дала нашъ,—говорила мать, - звала, просила, да гдѣ—не придетъ! И посейчасъ гордый...

И вѣроятно она вспомнила то, о чемъ я думалъ въ эту минуту.—ту вьюжистую ночь, когда заходилъ онъ къ намъ въ Крутыя Горы, и прибавила:

— И въ тотъ разъ оставляли мы — погостите, братецъ, у насъ!—да на бабушку обидѣлся,—помнишь, бабушка-то какая была,—попеняла ему что-то...

И дѣйствительно, старикъ не заходилъ къ намъ, и я больше не видѣлъ его. Повидимому мать и сама не знала въ подробностяхъ жизнь дяди. Она говорила, что послѣ разстриженія онъ сильно пилъ и пьяный нанялся въ охотники и служилъ солдатомъ; но былъ ли онъ бѣглымъ солдатомъ, наказывали ли его и какъ онъ освободился отъ долгой николаевской службы и что вообще потомъ съ нимъ было,—она не знала.

Она близко знала его, когда онъ еще учился въ семинаріи и часто навѣщалъ брата ея, съ которымъ былъ очень друженъ. Павелъ Никифоровичъ былъ первымъ ученикомъ, веселымъ человѣкомъ и умницей, которымъ гордилась семинарія.

— Въ философіи еще лекторомъ французскаго языка

назначенъ былъ!—было тогда такое званіе,—съ уваженіемъ говорила мать и прибавляла:

— И гордо себя держалъ.

Еще съ философіи онъ задумалъ уволиться изъ духовнаго званія и пойти по свѣтской части, а передъ самымъ концомъ курса былъ вызовъ изъ Петербурга семинаристамъ, желающимъ поступить въ военно-хирургическую академію. Вызвались двое: братъ матери, сдѣлавшійся потомъ профессоромъ академіи и „лекторъ французскаго языка“ Павелъ Крутогорскій. Братъ матери былъ сирота и никто не мѣшалъ идти, куда ему хотѣлось, а отецъ дяди,—крутой и непреклонный отецъ Никифоръ,—объявилъ сыну, что онъ проклянетъ его и не дастъ своего отцовскаго разрѣшенія, безъ котораго нельзя было поступить въ академію.

Тогда Павелъ Никифоровичъ запилъ, еле кончилъ семинарію по второму разряду и долго скитался безъ мѣста, былъ гдѣ-то учителемъ, служилъ въ какой-то палатѣ и все не желалъ жениться и быть священникомъ. Мать разсказывала, что отецъ Никифоръ упорно заставлялъ его жениться на засидѣвшейся въ дѣвушкахъ некрасивой поповнѣ, за которой отдавался богатый приходъ, что его двѣ недѣли спаивали и вѣнчали пьянаго, и что, когда онъ очнулся и отъ священнической рясы, и отъ постылой жены, онъ запилъ дикимъ, мертвымъ запоемъ. И вся эта полоса жизни его была, очевидно, дикая, темная и жестокая. Говорили, что и жена его стала пить и пьяные дрались они, что часто служилъ въ церкви пьяный и разъ въ алтарѣ произошло что-то дикое и богохульное, за что и разстригли его.

Тогда онъ и ушелъ отъ отца, отъ рясы, отъ жены, отъ нашихъ мѣстъ. Ушелъ навсегда, такъ какъ не было возврата въ обычную жизнь попу-разстригѣ, которому нельзя было поступить на службу ни въ казенныя, ни въ общественныя учрежденія, который являлся позоромъ для семьи, преступникомъ, лишеннымъ правъ со-

стоянія. И постепенно стали забывать о немъ въ роду, и только изрѣдка доходили вѣсти, невѣрные темные слухи.

Случайно, уже послѣ окончанія курса, я разговорился со знакомымъ и узналъ, что учителемъ его былъ разстриженный священникъ Павелъ Никифоровичъ Крутогорскій. Оказалось, что онъ нѣсколько лѣтъ былъ учителемъ въ семьѣ отца моего знакомаго, южно-русскаго помѣщика, и переучилъ много помѣщичьихъ дѣтей. Онъ былъ суровый и замкнутый человѣкъ и превосходный учитель, и его высоко цѣнили въ семьѣ. На него находили полосы тоски и темнаго дикаго запоя, тогда онъ ссорился и уходилъ изъ дому. И не боялся помѣщикъ разыскивать въ городѣ по трущобамъ и привозить къ себѣ оборваннаго босяка, опухшаго отъ пьянства.

Только въ одно мѣсто онъ никогда не приходилъ,— въ свое мѣсто, къ своимъ людямъ, и я навѣрное знаю, что онъ никогда больше не видѣлся со своимъ отцомъ.

XIV. Отецъ Никифоръ.

— Чистый идолъ! звѣрь какой-то!.. —говорила мать про о. Никифора. — Кажется, и нѣтъ у насъ въ роду хуже, какъ онъ, да еще отецъ Демидъ.

И какъ всегда въ такихъ случаяхъ глаза матери дѣлались сухіе и злые.

— Жена попалась ему, о. Никифору, покойница Анисья Власьевна, добрая да ласковая,—такъ вѣдь говорить съ нимъ разучилась... Цыкнетъ на нее, какъ волкъ ощерится, она и молчитъ. Полусапожки, бывало, дочери купитъ, такъ точитъ, точитъ ее; такъ въ чахотку и вогналъ... И сына-то, Павла Никифоровича, за что погубилъ? „Живи по моему, а не по своему!“ Одинъ сынъ

былъ. И дочь въ монастырь ушла, тоже отъ веселаго житья.

Лицо у матери блѣдное, и все разгораются ненавистью глаза.

— Крутогорская порода...—добавляетъ она. –Никого не пожалѣетъ.

Крѣпко не любила мать о. Никифора и на моей памяти никогда не ѣздила къ нему въ гости, не любила, когда и онъ пріѣзжалъ къ намъ. Отецъ также не любилъ ѣздить къ отцу Никифору и выискивалъ всякіе предлоги, чтобы отложить поѣздку. Но отецъ Никифоръ былъ братъ бабушки и пока бабушка была жива, хоть и не каждый годъ, но разъ въ два года, на Илью Пророка, храмовой праздникъ въ Карповомъ погостѣ, гдѣ жилъ о. Никифоръ, онъ снаряжался въ дорогу. И меня бралъ съ собой.

О. Никифоръ жилъ въ другомъ уѣздѣ, въ шестидесяти верстахъ отъ насъ, и путешествіе было долгое и трудное, на половину лѣсомъ. Чѣмъ дольше мы ѣхали, тѣмъ гуще и темнѣе становились лѣса и больше встрѣчалось болотъ, тѣмъ меньше было полей и луговъ, тѣмъ рѣже попадались деревни и села. И встрѣчныхъ мало было, и, помню, жутко было ѣхать въ безмолвномъ лѣсу. Зато звѣря всякаго много было: зайцы то и дѣло выскакивали, бѣлки прыгали съ дерева на дерево, лосямъ былъ водъ, медвѣдь бродилъ по ягодникамъ, а по зимамъ волки стаями ходили. И люди другіе были. Лѣсъ ли угрюмый, звѣрь ли сердитый положили на нихъ печать; были они непривѣтливые, неразговорчивые, и худая слава шла про тѣхъ мужиковъ. Земледѣліемъ мало занимались, только льны у нихъ родились хорошіе, а больше вокругъ лѣса бились. Корье драли, сани дѣлали, бураки фигурчатые, уголь жгли, много смолокуровъ было, — по мѣсяцамъ изъ лѣсу въ деревню не выѣзжали. Потомъ звѣрь: бѣлку били, лисицъ, барсуковъ, на волковъ капканы

ставили, на медвѣдя съ рогатиной ходили, въ отхожіе промыслы ходили тоже по своей части, по звѣриной— знамениты были на нѣсколько губерній, на волковъ облаву устраивать, медвѣдя обкладывать. И собаки у нихъ были особенныя, ихнія, со старины велись, къ медвѣдю были приспособлены.

Когда я пріѣзжалъ въ Карповъ погостъ, мнѣ казалось, что дальше и ѣхать некуда, что все тамъ будетъ лѣсъ, лѣсъ да болото.

Погостъ былъ: жили тамъ только батюшка, да дьяконъ, да дьячокъ, да сторожъ церковный; избушка стояла при церкви, гдѣ зимой отогрѣвались прихожане въ ожиданіи службы,—и все тутъ. А кругомъ лѣсъ стѣной стоялъ, темный лѣсъ, дуба вовсе не было и березка рѣдко попадалась: только ель сплошная, да сосна кое-гдѣ. Передъ домомъ о. Никифора рѣчка вилась: въ болотѣ родилась, по болоту текла; а за рѣчкой опять все ель, ель, ель. Дома причта стояли старые, оброшенные, и церковь была деревянная, старая, оброшенная. Давняя распря шла между прихожанами и причтомъ изъ-за луговъ поемныхъ, безъ которыхъ мужикамъ жить нельзя было, и которые духовенству уступать не хотѣлось, потому что они составляли главный доходъ. Потому и не ремонтировали прихожане церковные дома причта, какъ по положенію должны были. И давно положено было церковь каменную строить и деньги были отказаны, а старая деревянная церковь все стояла, все чернѣла и словно вростала въ землю. Тянулся судъ, какъ тянулся въ тѣ старыя времена, десятки лѣтъ, и отцы передавали дѣтямъ старый споръ, старую вражду. Еще до отца Никифора все судился причтъ, но при старенькомъ батюшкѣ дѣло какъ-то слаживалось и было что-то въ родѣ перемирія. А когда поступилъ о. Никифоръ— это было второе мѣсто его, съ перваго онъ ушелъ, потому что не ужился съ прихожанами, всегда былъ крутой и властный—онъ захотѣлъ повернуть дѣло по-

своему, и еще больше вспыхнула вражда между причтомъ и прихожанами.

Мужики косили сѣно на спорныхъ лугахъ и травили скотомъ поповскій хлѣбъ, а о. Никифоръ вызывалъ станового и исправника, таскалъ прихожанъ въ городъ по судамъ, писалъ въ консисторію. И чѣмъ дольше жилъ, тѣмъ больше втягивался въ судебную волокиту, въ сутяжническія кляузы и все больше враждой и злобой наполнялось его сердце. Сталъ онъ судиться съ своими дьяконами, которые, по его мнѣнію, перекидывались на мужицкую сторону, и съ благочиннымъ, который мирволилъ мужикамъ, и съ консисторіей, которая потакала благочинному, и писалъ онъ доносы и на судъ, и на благочиннаго, и на консисторію.

Угрюмо выглядѣлъ старый, сложенный изъ огромныхъ бревенъ домъ, тяжелыми желѣзными болтами запирались ставни, дубовыя ворота были какъ крѣпостныя двери, и псы лютые выли на широкомъ дворѣ. А въ комнатахъ ходилъ высокій высохшій старикъ, съ длинной сѣдой бородой, съ сумрачными сѣрыми глазами, такъ похожій на бабушку, и, вмѣсто привѣтствія, начиналъ попрекать отца, что два года ужъ не былъ, что забыла его родня и ѣздить ужъ не хотятъ. И мало было гостей въ комнатахъ: духовенство не любило о. Никифора и боялось къ нему ѣздить, — сидѣли какіе-то батюшки старенькіе, безсловесные, да вдовыя племянницы, просвирни, въ темныхъ платочкахъ, съ унылыми лицами. О. Никифоръ жилъ одинъ, и изъ комнатъ смотрѣло угрюмое холодное бездомовье, и стекла въ окнахъ были зеленыя, засиженныя, обои клопами запачканные. Скудно было угощеніе о. Никифора. Съ годами, вмѣстѣ съ сутяжничествомъ, скупость пришла къ нему, и сталъ онъ высчитывать копейку и беречь кусокъ и сталъ онъ бояться, чтобы гости не объѣли его, и лошади не съѣли овесъ его. Угрюмо и скучно проходили

его праздники, гости сидѣли по угламъ и неохотно разговаривали. Больше всѣхъ разговаривалъ самъ отецъ Никифоръ, и чѣмъ больше говорилъ, тѣмъ больше оживлялся, словно хотѣлось ему выговорить на людяхъ всѣ свои одинокія думы, которыя передумалъ за годъ. Говорилъ все объ одномъ и томъ же, что я слышалъ всякій праздникъ: о своихъ кляузахъ, о всемъ, что случилось за годъ съ его судебнымъ дѣломъ, и разсказывалъ отцу, какіе онъ ходы приготовилъ, какъ подвелъ благочиннаго, какъ нашелъ въ синодѣ своего товарища, столоначальника и какъ доѣдетъ онъ консисторію...

— Вотъ теперь они у меня попляшутъ!

И онъ дѣлался почти веселъ, глаза блестѣли и смѣялся онъ короткимъ злымъ смѣхомъ.

Все объ одномъ. Никогда ни однимъ словомъ не обмолвился онъ о своемъ сынѣ, и когда отецъ передавалъ поклонъ отъ дочери, жившей въ монастырѣ въ нашемъ уѣздномъ городѣ, и разсказывалъ объ ея житьѣ-бытьѣ, онъ слушалъ и молчалъ, и лицо его становилось темное и угрюмое, а потомъ снова начиналъ свои разсказы и снова оживлялся. И, должно быть, не было уже у него другихъ словъ, кромѣ словъ вражды и злобы, должно быть, не было уже въ его сердцѣ мѣста ни сыну, который скитался въ это время неизвѣстно гдѣ, ни дочери, давно не навѣщавшей Карповъ погостъ.

Я видѣлъ, какъ тягостно было моему отцу и какъ на другое же утро начиналъ онъ придумывать разные предлоги, чтобы не жить положенные три дня и уѣхать раньше изъ этого угрюмаго непривѣтнаго дома, отъ непривѣтныхъ злыхъ рѣчей.

Онъ говорилъ, что батюшка велѣлъ ему раньше ворочаться, что помочь у него назначена — овесъ косить, и уѣзжалъ, и когда скрывался отъ насъ за деревьями крестъ старой церкви погоста, снималъ шапку, крестился и глубоко трудно вздыхалъ.

— Хоть бы кого пожалѣлъ!—говорилъ онъ:—всѣ-то у него мошенники, нѣгоди... Нутка-се про отца Серафима какое слово сказалъ: съ свояченицей будто живетъ.... Ахъ грѣхи, грѣхи!

Онъ ловилъ себя на осужденіи и снова вздыхалъ и вспоминалъ, что нашъ доморощенный Сивко, вѣрный другъ его, остался безъ овса, и поэтому слѣзалъ съ телѣги и заставлялъ слѣзать меня, и шли мы рядомъ, чтобы не обременять своею тяжестью толстаго, какъ печь Сивка, но мысли о дядѣ не покидали его.

Онъ забылъ про меня и, по своему обыкновенію, говорилъ вслухъ свои мысли.

— ...Пастырь духовный!.. Всю-то жизнь... Съ собой не унесешь,—все здѣсь останется...—слышу я короткія фразы отца.

И разсказалъ мнѣ разъ отецъ старую исторію про Карповъ погостъ, знаменитую исторію, которая жива была еще въ нашей округѣ.

Былъ священникъ въ погостѣ: въ этомъ самомъ домѣ жилъ, и былъ онъ атаманъ разбойничій. И два сына съ нимъ разбойничали, и церковный староста, и причтъ, и было много въ шайкѣ изъ прихожанъ. Долго онъ разбойничалъ, и ничего съ нимъ сдѣлать не могли. Жизнь онъ спасъ архіерею, когда тотъ былъ ректоромъ семинаріи—той самой, въ которой потомъ мнѣ учиться пришлось. Сдѣлали старшіе семинаристы заговоръ, чтобы утопить его въ озерѣ, и мѣшокъ былъ приготовленъ; а атаманъ этотъ тогда въ богословіи былъ, въ заговорѣ участвовалъ и донесъ ректору. Съ тѣхъ поръ и помнилъ владыка старое добро и не хотѣлъ вѣрить про разбой и убійства батюшки.

Пошлютъ духовнаго слѣдователя, священника,—въ консисторіи инструкцію дадутъ. Покопается, прихожанъ опроситъ,—а они всѣ заодно,— пріиметъ мзду, тѣмъ дѣло и кончится. Долго шло такъ, только дошли слухи до Питера, и стали изъ синода запрашивать.

Тогда и назначили слѣдствіе произвести дѣдушку Кузьму, отца бабушки и этого самаго о. Никифора. Смѣлый человѣкъ былъ, ничего не боялся, и неподкупный. И сразу все открылъ бабушкинъ отецъ,—и опросъ какъ слѣдуетъ сдѣлалъ, изъ сосѣднихъ деревень мужиковъ созвалъ и кладовую разбойничью нашелъ: въ углу двора была, — будто мшанникъ для телятъ, а въ кладовой всякое оружіе: и пистолеты, и ружья, и кинжалы, и кистени, и добро награбленное.

Должно быть, отцу самому дѣлалось страшно, когда онъ разсказывалъ о кистеняхъ и пистолетахъ, и говорилъ онъ глухимъ пониженнымъ голосомъ, какъ дѣдушку Кузьму совсѣмъ было убили тогда разбойники и долго гнались за нимъ ночью, вотъ въ этомъ самомъ лѣсу, и спасъ—вынесъ его и пономаря Луку только Сивко,—знаменитый въ лѣтописяхъ нашего дома, прародитель того самаго Сивка, на которомъ мы ѣхали. И кончилось все, какъ слѣдуетъ, только у Сивка ухо оказалось прострѣленнымъ, а разбойники всѣ въ Сибирь пошли, въ кандалахъ, кромѣ батюшки-атамана, который въ тюрьмѣ померъ,—не дождался суда.

Страшно было слушать глухія страшныя слова въ молчаливомъ, темномъ мохнатомъ лѣсу, и я крѣпко держался за рукавъ отца и все оглядывался назадъ, не видать ли погони за нами.

Померъ о. Никифоръ не хорошей смертью, — безъ креста-покаянія. Нашли разъ его въ лѣсу съ разбитымъ вискомъ, и осталось неизвѣстнымъ, упалъ ли онъ съ одноколки, на которой ѣздилъ по приходу и ударился вискомъ о пень, или другое что приключилось,—темный лѣсъ не сказалъ.

XV. Олёна Никифоровна.

Была у о. Никифора дочь, — Олёна Никифоровна. Красавица была, — сильная, бѣлолицая, румяная, съ длинной русой косой, съ ясными глазами и звонкимъ смѣхомъ. И во всей роднѣ дивились, когда она, такая красивая и веселая, и самая богатая невѣста въ округѣ, по двадцатому году въ монастырь ушла. И отецъ Никифоръ не только не неволилъ, а всѣми мѣрами противился, не пускалъ въ монастырь и, несмотря на свою скупость, богатое приданое давалъ, — а она все-таки ушла.

Долго спустя, она разсказывала мнѣ:

— Знаешь, Степа, погостъ-то нашъ? Домъ-то нашъ? Жизнь-то нашу? Маменьку мою ты не помнишь,—всю-то жизнь въ слезахъ провела... Восемнадцать насъ было, а двое осталось,—мы съ братомъ... Родила да хоронила... Да что говорить,—самъ знаешь! И отшибло меня. Такъ и рѣшила съ младыхъ лѣтъ: послужу Господу Богу... А еще и 17-ти не было, — женихи стали свататься. Заикнулась разъ я тятенькѣ:—отпустите, говорю, въ монастырь, претитъ мнѣ супружеская жизнь,— а онъ разсердился, закричалъ на меня, и еще больше жениховъ стало ѣздить. Ухитрялась я, грѣшница, — разузнаешь на сторонѣ,—въ семинаріи попивалъ, озорники въ роду, либо болѣзнь какая... Одного, грѣшница я, и паренекъ смирный былъ, и роду хорошаго, стала угощать ласково, онъ и подпилъ; а я послѣ говорю: вотъ, батюшка, на смотрины пріѣхалъ и то выпилъ. А больше насчетъ денегъ... Скупенькій былъ покойный родитель, запримѣтишь — интересантъ женихъ, и скажешь:

— Вотъ, тятенька, къ деньгамъ онъ къ вашимъ

ластится, а не ко мнѣ... И самое это для него было непереносное, сейчасъ разсердитъ себя чѣмъ-нибудь и откажетъ.

— И былъ, Степа, — увлекалась своими воспоминаніями Олёна Никифоровна, — одинъ случай: совсѣмъ трудно пришлось мнѣ. Привезъ родитель изъ губерніи жениха. Ужъ дѣйствительно выбралъ, и ничего сказать нельзя было. И роду хорошаго: по матери троюроднымъ племянникомъ митрополиту московскому приходился, и изъ себя миловидный, смирный, непьющій и по первому разряду кончилъ. Сказывалъ тятенька, — въ академію могъ бы, да мать упросила не покидать: одинъ онъ у нея. Я его и такъ, и этакъ,—вижу нѣту мнѣ никакого выхода. И другіе—повернется разъ-другой, видитъ—не клеится и въ сторону, а онъ наѣзжать сталъ, будто къ роднымъ на перепутьи. Сидитъ и разговоры разговариваетъ; разъ пріѣхалъ съ матерью да съ дядей старикомъ,—вижу, дѣло кончать и ужъ насчетъ росписи приданаго разговаривать собирается, потому что отецъ говоритъ намъ:

— Погуляйте,—говоритъ,—по уличкѣ.

Господи, Боже мой, что, думаю, мнѣ дѣлать! Говорю я жениху:

— Не хотите ли, я вамъ садъ нашъ покажу?

И пошли. Онъ говорить сталъ, какъ жить будемъ, а я ему отвѣчаю:

— Откажитесь вы отъ меня, Павелъ Николаевичъ! Не хочу я замужъ,—хорошій вы человѣкъ, а и за васъ не хочу.

— Я, говоритъ, отъ васъ, Олёна Никифоровна, отказаться не могу; потому что, говоритъ, лучше васъ на свѣтѣ нѣтъ. Я, говоритъ, сколько невѣстъ смотрѣлъ, а такой не встрѣтилъ, сердце мое лежитъ къ вамъ. Потомъ, говоритъ, полюбите. Жалѣть васъ буду, въ глаза смотрѣть...

Стала я тутъ врать ему на себя: придумываю: что бы

такое похуже на себя наговорить, и вдругъ и придумала.

— Чернонемочная, говорю, я: на новый мѣсяцъ схватываетъ.

Вижу перемѣнился въ себѣ, замолчалъ. А потомъ и говоритъ:

— Я и такой васъ любить буду, Олёна Никифоровна... Господу Богу вмѣстѣ молиться будемъ, пожалѣетъ Онъ насъ.

Тутъ ужъ я всѣ хитрости бросила, плачу въ три ручья, говорю ему:

— Павелъ Николаевичъ! Христомъ Богомъ молю, откажитесь вы отъ меня! Не могу я въ супружество идти,—Господу Богу обрекла себя. Въ ножки, говорю, поклонюсь, на колѣнки стану, не губите вы меня.

Бьюсь вся, реву, за руку его схватила, не отпускаю. На скамеечкѣ мы сидѣли въ малинѣ. Испугался онъ тутъ, видитъ — не въ себѣ я, сталъ меня уговаривать ласково такъ, и самъ плачетъ. Не найти, говоритъ, мнѣ больше невѣсту по сердцу, не видать мнѣ счастья на свѣтѣ. И его-то мнѣ жалко, а себя-то еще жалчѣе.

— Павелъ Николаевичъ, говорю ему, Господа Бога молить буду,—пошлетъ вамъ счастье.

Ну, а все-таки сжалобился надъ душой моей горькой,—отказался. Воротились мы въ горницу, такъ сразу и говоритъ:

— Простите, говоритъ, вы меня, маменька, и вы, отецъ Никифоръ, раздумалъ я на приходъ поступать, буду, говоритъ, въ академію готовиться.

А потомъ воззрился на меня, блѣдный, лица на немъ нѣтъ, и говоритъ:

— Слова своего не беру, будетъ ждать Олёна Никифоровна, опять приду. Такъ, говоритъ, съ Олёной Никифоровной мы уговорились. И глазъ съ меня не спускаетъ.

Послѣдній былъ. Больше отецъ не уговаривалъ, очень разсердился.

— Иди, говоритъ, куда хочешь, ежели не умѣла такого жениха удержать.

Я и ушла.

Такъ говорила мнѣ монахиня-послушница женскаго монастыря въ нашемъ уѣздномъ городѣ, красивая въ своемъ черномъ клобукѣ, вся свѣтлая и радостная, говорила ласковымъ и бархатнымъ голосомъ и смотрѣла на меня ясными сѣрыми глазами. Ей было уже около тридцати лѣтъ, а она все выглядѣла двадцатилѣтней дѣвушкой. Она уже болѣе десяти лѣтъ жила въ монастырѣ, но, казалось, только что ушла оттуда, откуда такъ страстно рвалась уйти и полна была радостью и весельемъ освобожденія отъ того темнаго и тяжкаго, отъ чего ушла.

У ней была свѣтлая келійка, и окна выходили на широкій монастырскій дворъ и храмы Божіи. Не было ни пылинки, ни пятнышка въ свѣтлой горенкѣ, бѣлая кроватка уютная стояла у стѣны, блестѣли, какъ зеркало, крашеные полы и настланы были бѣлыя, какъ снѣгъ, дорожки; большой украшенный кіотъ стоялъ въ углу и старинныя иконы въ старинныхъ серебряныхъ ризахъ, отцовское приданое. И пахло въ свѣтлой горенкѣ просфорами и восковыми свѣчами и геранью...

Потомъ я часто бывалъ у нея, привозилъ ей новости со всей округи, какъ привозятъ люди духовнаго званія, — кто померъ, кто родился, кто замужъ выходитъ, какія приключились въ роду горя и радости, — чаще горя, чѣмъ радости. Она слушала меня и смотрѣла на свою уютную келійку, на лампадки передъ иконами, на бѣленькія тамбурныя занавѣсочки, на цвѣточки герани въ окнахъ, на всю чистоту и уютъ своей келійки, и говорила низкимъ бархатнымъ голосомъ:

— Холодно на міру-то, Степа! Вспомню я жизнь нашу женскую въ духовенствѣ и нѣту хуже на свѣтѣ.

Придетъ человѣкъ не знамо какой и поведетъ тебя къ вѣнцу, и идешь, какъ овца... И не уйдешь никуда, — цѣпью скованы — не раскуешь... Хорошій мужъ попадется—и то горюшка хлебнешь, а дурной случится, лучше и не говорить...

На мгновенье лицо Олёны Никифоровны становится суровымъ и ложится на него тѣнь того темнаго, что лежало на лицѣ о. Никифора.

— Только все деньги, деньги... Дрожатъ люди... И о душѣ-то подумать некогда.

Она смотритъ въ окно на широкій монастырскій дворъ и свѣтлые золотые кресты Божьихъ храмовъ, лицо снова становится свѣтлымъ и радостнымъ.

— А у насъ-то! Тишина, служба Господня, молитва Божія. Вотъ я и ушла, Степа.

И она ушла отъ тяжкаго бремени жизни, отъ горькой доли женской, ужаснулась міра холоднаго и ушла въ свѣтлую келійку, въ тихую пристань, на молитву Господню...

Въ то время она была пѣвчая и регентша монастырскаго хора, и городскіе любители церковнаго пѣнія нарочно ходили въ монастырскую церковь, чтобы послушать низкій бархатный контральто Олёны Никифоровны. И въ монастырѣ она уже была замѣтнымъ человѣкомъ, а въ роду почитали ее, и матушки, когда пріѣзжали въ городъ за покупками, неизмѣнно заходили къ ней и, скованныя тяжелыми цѣпями, изстрадавшіяся надъ дѣтьми, надъ своей горькой тѣсной жизнью, матери подолгу засиживались въ тихой свѣтлой келійкѣ Олёны Никифоровны, и вздыхали, и любовались, и завидовали ея жизни, и уносили въ свои тѣсныя деревенскія избы воспоминанія о другой жизни, чинной, богоугодной, безъ брани, безъ криковъ и слезъ, безъ нужды и печали...

И стали матушки возить къ Олёнѣ Никифоровнѣ своихъ дочекъ, чтобы научились онѣ хорошей жизни,

хорошему обращенію, и образовался у нея въ родѣ какъ институтъ для благородныхъ дѣвицъ духовнаго званія.

Въ тѣ времена не было женскихъ епархіальныхъ училищъ, не было земства и школъ и не было еще тѣхъ псаломщиковъ, которыхъ потомъ посылали по окончаніи семинаріи въ села до выслуги въ священники, а были только дьячки стараго уклада, которые еще на моей памяти писали съ титлами и не твердо разбирали гражданскую печать; я не помню до воли ни одной школы въ нашей округѣ, я зналъ матушекъ, у которыхъ сыновья были профессора семинаріи и протоіереи и которыя не умѣли ни читать, ни писать. Въ мое время это было уже исключеніе, а правило было такое, что письмо дѣвкамъ ни къ чему, а читать умѣть надо, случится молитвы—надъ покойникомъ умѣть почитать, а станутъ матерями—письмо отъ сына, чтобы разобрать можно. Потомъ жили поповны и работали, какъ крестьянскія дѣвки, такъ какъ въ нашей округѣ главный источникъ жизни духовенства была земля и не выходили изъ ихъ рукъ заступъ, коромысло, серпъ и цѣпъ. И общество было все тоже крестьянское: тѣ же хороводы, тѣ же посидѣлки.

А жизнь и тогда, въ предреформенное время, стучалась въ двери поповскихъ домовъ и требовала образованности. Люди иносословные появлялись въ поповскихъ домахъ, все положеніе духовнаго лица требовало не мужицкаго поведенія, наконецъ женихи-семинаристы, какъ ни скудно было ихъ свѣтское образованіе, тѣмъ не менѣе помимо воли присматривались въ губернскомъ городѣ къ культурнымъ формамъ общежитія и скудно, но предъявляли соотвѣтствующія требованія къ невѣстамъ и не очень охотно брали тѣхъ, которыя назывались у насъ „обломами“, которыя „ступить не умѣли“.

Изстари такъ велось, и въ мое время все то же было,—священники и дьяконы отвозили своихъ доче-

рей въ монастырь для образованія, отвозили подростковъ въ томъ возрастѣ, когда онѣ переставали быть дѣтьми и не дѣлались еще нужны въ семьѣ, какъ рабочія силы, обыкновенно на зиму, отъ осени до весны. Въ тѣ времена почти у всѣхъ находилась какая-нибудь, хотя дальняя, родственница въ монастырѣ, мои же сестры, и вообще поповны изъ нашего рода, ѣздили, конечно, къ Олёнѣ Никифоровнѣ. И когда я бывалъ у нея, я всегда видѣлъ въ ея келіи двухъ трехъ дѣвочекъ-подростковъ, поповенъ. Бѣлокуренькія и черненькія головки сидѣли цѣлые дни, наклонившись надъ пяльцами, и вышивали по канвѣ шелками, шерстью и бисеромъ, а потомъ шли въ церковь, слушали вечерню и повечеріе, утреню и литургію, слушали, какъ поетъ и управляетъ хоромъ Олёна Никифоровна, и снова возвращались въ келію. Учились онѣ въ монастырѣ всякому рукодѣлію и грамотѣ, чтенію и письму, пѣли древнія кантаты монастырскія и читали книжки божественныя, поучительныя. И не однѣ божественныя, а и рòманы, какъ тогда выговаривалось, и съ моими сестрами случилась большая непріятность въ Крутыхъ Горахъ, когда привезли онѣ изъ монастыря „Черную женщину“ и „Послѣдняго Новика“. И свѣтское обращеніе и моды шли оттуда же, изъ монастыря. Тамъ жили не только духовныя и крестьянки, а и купеческія дочки, случалось, милліонщицы. И такая Аглаида Никитична рядомъ съ Олёной Никифоровной въ кельѣ жила. Былъ тогда обычай,— кое-гдѣ и сейчасъ онъ соблюдается: умрутъ родители; братья, чтобы капитала не дѣлить, приданаго не давать, уговорятъ сестру въ монастырь поступить,—и взносъ въ монастырь сдѣлаютъ, и келью построятъ. Послѣ плачетъ дѣвушка, убивается, а ужъ изъ монастыря не уйдешь. Связи съ городомъ постоянно поддерживались, и въ церковь пріѣзжали, и въ кельи, случалось, заходили барыни въ шляпкахъ; и къ себѣ подходящихъ монашекъ приглашали; такъ и присматри-

вались поповны къ другому міру, къ другому обращенью.

А главное, какъ и въ теперешнихъ институтахъ, учились онѣ „приличію“, обращенію, хорошимъ манерамъ, низкимъ пояснымъ поклонамъ, тихому мягкому говору, улыбкамъ ласковымъ, почтительнымъ. Понемножку привыкли онѣ къ чистотѣ и уюту монастырской кельи, отмывались покрытыя мозолями отъ серповъ и граблей дѣвичьи руки и буйные деревенскіе волосы привыкали къ гребню и прятались въ сѣтки. И увозили поповны изъ монастырей чтеніе, письмо и рукодѣліе, и кантаты духовныя, и манеры хорошія, и вѣточки герани, которыя расхóдились потомъ по избамъ сельскаго духовенства. Тамъ ихъ снова встрѣчали грабли и серпы, цѣпы и заступы, но „приличіе“ и манеры оставались, и когда бабушка, хранительница древнихъ устоевъ, наблюдала ласковую рѣчь и низкіе поклоны и прибранные по порядку волосы, она одобрительно качала головой и говорила на своемъ древнемъ крутогорскомъ языкѣ:

— Очестливая!

Въ тѣ давнія и недавнія времена дореформенной Россіи всѣ женскіе монастыри въ нашей округѣ были такими институтами, и оттуда шли приличія, манеры и моды, маленькая культура, маленькая доза грамотности.

Только мать не любила монастырскаго образованія и, какъ только умерла бабушка, перестала посылать дочерей къ Олёнѣ Никифоровнѣ:—не любила она всего уклада монастырскаго, поклоновъ низкихъ, голоса сладкаго; хотя вслухъ не осуждала, но говаривала: — порóжнемъ живетъ Олёна Никифоровна.

Потомъ я не видѣлъ Олёны Никифоровны больше двадцати лѣтъ, и когда снова увидѣлъ ее, она была уже мать Евлалія и игуменья того же монастыря. И словно пыль легла на веселое цвѣтущее лицо и какъ туманъ

застлалъ ясные глаза. Она не почитала за грѣхъ веселіе и смѣхъ, и шутила со мной, и смѣялась, вспоминая старыя времена, но когда пришла послушница и стала о чемъ-то ей докладывать, темныя брови строго сдвинулись, и поблекшее обострившееся лицо стало суровое и непреклонное и сразу напомнило мнѣ о. Никифора. Вышла она собирательница и домостроительница, проснулась въ ней жадность, и возгорѣлась она великой ревностью къ монастырю своему. Не узналъ я стараго заброшеннаго монастыря: жаромъ горѣли недавно вызолоченные кресты монастырскихъ храмовъ, весело глядѣли бѣлыя стѣны келій, и новый большой каменный домъ высился тамъ, гдѣ былъ раньше заброшенный огородъ, и чувствовался строгій порядокъ и чинъ во всемъ монастырѣ. На всю губернію была извѣстна мать Евлалія, и изъ Москвы благочестивые люди пожертвованія присылали. А въ нашемъ городѣ первымъ человѣкомъ сдѣлалась, и самые почтенные люди въ городѣ за честь почитали получить приглашеніе на чашку чаю послѣ обѣдни къ матушкѣ Евлаліи. Въ строгихъ купеческихъ домахъ была она совѣтчицей и указчицей, и когда знаменитая купчиха, вдовая Андрюсова, которая много лѣтъ сама вела милліонное фабричное дѣло и женатыхъ сыновей, какъ ребятъ, въ рукахъ держала, помирать стала — за ней послала, за матушкой Евлаліей, и съ ней совѣтовалась, какъ капиталъ между дѣтьми раздѣлить, что для души-спасенія отписать, и куда и на какія дѣла.

Двѣ рыженькія дѣвочки сидѣли за пяльцами въ комнатахъ игуменьи; и былъ между родными разговоръ, что разыскала она своего брата, списывалась съ нимъ, деньгами ему помогала и послѣ смерти его выписала двухъ дѣвочекъ, которыхъ онъ пристроилъ гдѣ-то на югѣ.

XVI. Отецъ Кириллъ.

О. Кириллъ былъ высокій, широкоплечій, ходилъ сгорбившись, словно ему тяжело было носить свое большое тѣло, и голову внизъ держалъ, отъ чего длинные черные волосы тяжелыми прядями падали по щекамъ и въ рамкѣ темныхъ волосъ большое лицо казалось худымъ и блѣднымъ. И, когда поднималъ голову, мнѣ все казалось, что за мной кто-то стоитъ и что онъ смотритъ на того, кто стоитъ за мной. Глаза у него были особенные, большіе темные — и печальные, и блаженные, и словно только что слезами омытые. И все улыбался онъ—неувѣренной дрожащей улыбкой, какъ улыбаются люди, очнувшіеся послѣ тяжелой болѣзни, которые не рѣшили еще, смерть идетъ къ нимъ или жизнь, и не знаютъ, смѣяться имъ или плакать. И когда одинъ былъ, разговаривалъ самъ съ собою.

Являлся онъ всегда неожиданно и приходилъ только лѣтомъ, случалось, черезъ два-три года, и всякій разъ бабушка горевала и ахала. Приходилъ онъ въ опоркахъ, а то и совсѣмъ босой; по лѣсу, по колючкамъ шелъ; полукафтанье истрепанное, заплатанное,—видно было, съ чужого плеча, и рубаха и порты крашенинные, какъ мужики носили, и тоже, очевидно, чужіе, такъ какъ бабушка, всегда обряжавшая его, шила изъ холста и холстъ выбирала потоньше. Принимали о. Кирилла съ почетомъ, всѣ подходили подъ благословеніе и бабушка звала его: „о. Кириллъ“. Самоваръ ставили, медъ приносили, вынимали изъ завѣтнаго сундучка старые засохшіе пряники и баранки, ставили на столъ всякое угощеніе. А когда покушаетъ о. Кириллъ и отдохнетъ съ дороги, поведетъ его бабушка въ свою темную, тѣсную кладовку и начнетъ его отчитывать; а

мы спрячемся гдѣ-нибудь поблизости и слушаемъ,—очень любопытно было намъ, маленькимъ, слушать, какъ большого человѣка, какъ насъ маленькихъ, отчитываютъ. Строго выговариваетъ бабушка о. Кириллу, что не бережетъ онъ одежу, что позволяетъ ворамъ-послушникамъ обирать себя; высчитываетъ, что за сапоги дано было, что полукафтанье ваточное стоило; про достатки наши худые скажетъ. А о. Кириллъ молча слушаетъ и только изрѣдка слово обронитъ, и должно быть, тѣсно ему въ маленькой кладовкѣ, и чувствуетъ вину свою, — еще ниже опуститъ большую, темную голову.

А къ ночи, когда заснутъ въ домѣ, станетъ ему бабушка на шесткѣ голову мыть щелокомъ съ мыломъ,—париться лѣтомъ въ печкѣ не было обычая, пожаровъ боялись,—и когда вымоетъ голову, сама чесать примется и, чтобы ловчѣе было, положитъ голову о. Кирилла къ себѣ на колѣни. И долго чешетъ бабушка большую голову своего любимаго болѣзнаго сына и говоритъ ему болѣзныя, тихія слова, которыя только она да о. Кириллъ слышитъ. На другой день станутъ обряжать о. Кирилла, позовутъ изъ Богоявленскаго портного и посадятъ полукафтанье шить, нарѣжутъ холста и заставятъ сестеръ бѣлье шить, а пока отцовское надѣнутъ: и полукафтанье, и бѣлье, и сапоги.

Должно быть, любо было о. Кириллу вымытому, причесанному, въ чистомъ бѣльѣ,—идетъ онъ по саду къ дѣдушкѣ въ пчельникъ и весело улыбается. А дѣдушка ждетъ, и тоже, должно быть, любо ему видѣть сына прибраннымъ, веселымъ,—смѣется, хитро подмигиваетъ и говоритъ:

— Что, баушка-то точила?

Потомъ вспомнитъ, что онъ глава дома и что было ему ночью бабушкой наказано, и станетъ серьезно говорить:

— Ты что это, о. Кириллъ... тово-этово, какъ бишь его называется... куды сапоги дѣлъ? На Николу послали,—три съ полтиной дадено... Опять же полукафтанье, все прочее, тово-этово... Шантрапу-то твою монастырскую не одѣнешь... тово-этово...

Хочется дѣдушкѣ еще сказать много строгихъ, наставительныхъ словъ, но не выходятъ у дѣдушки строгія слова, и на полусловѣ обрываетъ онъ свою рѣчь и говоритъ своимъ обычнымъ тономъ:

— Ну-ка, парень, снимай-ка подрясникъ, давай колоду кончать.

Сниметъ о. Кириллъ подрясникъ, надѣнетъ ремешокъ на волосы и начнетъ съ дѣдушкой улей облаживать. А потомъ вмѣстѣ по саду пойдутъ,—дѣловъ у дѣдушки окажется множество,—яблони подрѣзать будутъ, колья подставлять подъ вѣтки, малину окапывать. А разговариваютъ мало и въ пчельникѣ сидятъ,—что-нибудь работаютъ и больше молчатъ. Такъ и идетъ время. Видѣлъ я разъ. Уходить собрался о. Кириллъ, а я отпросился проводить его до лѣсу. Зашелъ онъ къ дѣдушкѣ проститься и засидѣлся. Помню, сидятъ оба и молчатъ. Уперся дѣдушка руками въ колѣни, смотритъ на о. Кирилла, глазъ не спускаетъ, и сѣденькая голова въ скуфейкѣ покачивается; а потомъ и говоритъ:

— Живешь, о. Кириллъ?

Поднялъ голову о. Кириллъ, взглянулъ на дѣдушку темными, большими глазами и отвѣтилъ:

— Живу...—И опять наклонилъ голову.

И я видѣлъ, какъ дѣдушка поднялся и пошелъ будто мимо о. Кирилла, а потомъ обернулся, обхватилъ трясущимися руками шею его и припалъ къ темной волосатой головѣ его и всхлипнулъ. Вышелъ дѣдушка изъ пчельника, пошелъ по саду и сѣденькая голова все тряслась; а за нимъ тихо брелъ большой сгорбленный о. Кириллъ...

Больше съ нами, дѣтьми, проводилъ время о. Кириллъ. Лѣтнее время рабочее: то сѣнокосъ, то жнитво, пахота да бороньба, цѣлый день люди въ полѣ, въ огородѣ и домъ пустой стоитъ, мухи однѣ летаютъ, только кто-нибудь къ печкѣ приставленъ за хлѣбами смотрѣть, а больше для пожарнаго случая. Мы, маленькіе, съ дѣдушкой домовничаемъ и о. Кириллъ съ нами. Станетъ припекать солнышко, въ холодокъ, въ пчельникъ заберемся, и тамъ разговоръ по душамъ пойдетъ. Прежде всего всѣ новости деревенскія на перебой разскажемъ о. Кириллу и всѣ необыкновенныя происшествія, случившіяся въ округѣ, а потомъ его спрашивать примемся. У насъ всегда копился большой запасъ вопросовъ, за которые большіе называли насъ дураками и говорили: „Отвяжись!“ Много ихъ рѣшалъ дѣдушка, но были такіе, на которые только о. Кириллъ давалъ намъ отвѣты: куда солнце на ночь уходитъ, куда на зиму птицы улетаютъ и почему онѣ въ разное время разными голосами кричатъ, правда ли, что душа у мертваго девять денъ изъ дому не уходитъ, все въ окна и двери бьется? И самый важный вопросъ: какъ мы будемъ на томъ свѣтѣ жить? О. Кириллъ все зналъ и всѣ наши вопросы рѣшалъ и, очевидно, считалъ такими же важными и значительными, какими казались они намъ.

Въ горницѣ съ взрослыми онъ больше молчалъ, а съ нами никогда не уставалъ разговаривать. И, когда разговорится, примется разсказывать про дѣла лѣсныя, которыя, должно быть, хорошо зналъ: какой звѣрь какъ себѣ логово устраиваетъ, какъ медвѣдь берлогу себѣ на зиму налаживаетъ, какъ векша орѣшки въ дупло на зиму собираетъ, какой обиходъ у какого звѣря, какъ заяцъ живетъ, барсукъ, лисица, волкъ...

Сидимъ мы въ кружкѣ, и, когда о. Кириллъ разсказываетъ, кто-нибудь изъ насъ, дѣтей, подвернется къ нему подъ локоть и начнетъ о. Кириллъ гладить

дѣтскую голову. Рука у него была большая и нѣжная; потихоньку и осторожно гладитъ онъ дѣтскіе волосы и, должно быть, потому, что намъ не привычна была ласка взрослыхъ,—было такъ сладко нашимъ головамъ подъ его рукой и такъ любили мы прижиматься къ о. Кириллу. Должно быть, и онъ любилъ насъ, дѣтей, и ему сладко было гладить дѣтскія головы: никогда не устаетъ онъ и съ мѣста не сдвинется, пока сидитъ ребенокъ подъ рукой его. И чѣмъ меньше ребенокъ былъ, тѣмъ ему пріятнѣе.

. . . . . .

О. Кириллъ всегда приносилъ намъ гостинцы: берестяные бураки, искусно украшенные разноцвѣтными кусочками коры; въ буракахъ была малина лѣсная, смородина черная, гонобобель, черника, брусника, все, что попадалось въ лѣсу; а изъ кармановъ вынималъ кислыя лѣсныя яблоки, орѣхи, разноцвѣтные, свѣтлые камешки, которые выбиралъ въ пескѣ дальней рѣчки.

Мы, дѣти, очень любили, когда приходилъ о. Кириллъ. И не потому только, что прибывало нашей компаніи и не потому даже, что домъ приходилъ на праздничное положеніе,—чай пили два раза въ день, пекли хлѣбъ изъ пшеничной муки, обильнѣе и вкуснѣе кормили насъ,—особенный миръ и тишина водворялись въ домѣ. Не ссорились взрослые, не ругали и не драли за волосы насъ, маленькихъ, и когда всѣ собирались съ поля, огорода, къ вечернему чаю, такъ ласково и привѣтливо сидѣли большіе за столомъ и угощали и привѣчали о. Кирилла.

Уходилъ о. Кириллъ такъ же неожиданно, какъ и приходилъ. Случалось, просыпались—и нѣтъ о. Кирилла, не дождется полукафтанья и бѣлья, и приходится пересылать съ оказіей Настѣ, которая съ мужемъ въ лѣсу жила не далеко отъ Демьяновой пустыни, къ ней о. Кириллъ особенно часто заходилъ.

И когда уходилъ о. Кириллъ, то мирное и ласковое

настроеніе оставалось въ домѣ, и въ семьѣ долго говорили про о. Кирилла, и все улыбались и были добрые и ласковые.

— Веселонравный былъ о. Кириллъ, молодой-то!— говорила бабушка и улыбалась такой рѣдкой у бабушки, ласковой улыбкой.

— Пригожій изъ себя... И первый щеголь!.. Пріѣдетъ, бывало, изъ семинаріи—чисто профессоръ! Съ тросточкой и—картуза не носилъ, все въ шляпѣ!..

Въ особенности мать любила говорить про о. Кирилла.

— Думала, Степа, самый счастливый на свѣтѣ человѣкъ будетъ Кондратій Лукьянычъ! Ужъ истинно красавецъ изъ себя былъ, волосы длинные носилъ, кудрями вились... Стихи сочинялъ, — семинаристы въ тетрадки списывали, наизусть заучивали... На флейтѣ какъ игралъ,—заслушаешься!.. На гусляхъ тоже... И веселый, развеселый!..

Лицо матери дѣлалось свѣтлое и нѣжное. Она знала о. Кирилла дѣвочкой-подросткомъ, когда онъ былъ еще Кондратіемъ Лукьянычемъ и жилъ на квартирѣ у ея брата. Онъ такъ и остался въ ея памяти красавцемъ-семинаристомъ, молодымъ и веселымъ, съ кудрями, флейтой, гуслями, со стихами собственнаго сочиненія.

— А ужъ какъ онъ, Степа, книги любилъ!.. Все, бывало, покупаетъ, покупаетъ... Что отъ барина за уроки получитъ, все туда же; по ночамъ сочиненія писалъ за двугривенный богатенькимъ протопопскимъ сынкамъ-лѣнтяямъ—все изъ - за книгъ... И столько, Степа, книгъ у него было, какъ семинарію кончилъ, кажется, и не видала никогда... Теперь вотъ у Глафиры Лукьяновны зря, безъ призору валяются...

И всегда мать оканчивала свои разсказы неизмѣннымъ, грустнымъ замѣчаніемъ:

— Такъ и думала, Степа,—счастливчикъ родился!..

Въ миру Кондратій, о. Кириллъ былъ старшимъ и

самымъ любимымъ сыномъ у бабушки; думала она, сдастъ ему дѣдушка мѣсто и сядетъ онъ на крутогорскій приходъ, старое дѣдовское гнѣздо поддерживать; и былъ онъ, какъ въ сказкахъ разсказывается: все получилъ, чтобы счастливымъ быть, и жизнь легко развертывалась предъ нимъ, и была ему во всемъ удача, когда начиналъ жить. Съ философіи попалъ онъ учителемъ въ барскій домъ,—свои деньги завелись,—на лѣто съ учениками въ имѣніе ихъ ѣздилъ.

Счастье и дальше улыбалось счастливчику: кончилъ онъ по первому разряду и сразу поступилъ въ богатый приходъ. И насчетъ невѣсты никто не неволилъ,—самъ выбралъ, изъ Богоявленскаго взялъ, съ дѣтства знали другъ друга, и была Катерина Петровна добрая, красивая и любящая. И увезъ онъ въ село, въ новый домъ на счастливую жизнь молодую жену Катерину Петровну и свои книги, флейту и гусли...

А потомъ словно буря пронеслась надъ Кондратіемъ Лукьянычемъ и унесла его счастье, изломала и исковеркала жизнь его. Умерла первыми родами Катерина Петровна, умеръ черезъ полгода и ребеночекъ... Мать моя была еще дѣвушкой, жила въ городѣ и не видѣла въ это время Кондратія Лукьяныча; но много разсказывалъ мнѣ отецъ и, хотя изрѣдка и неохотно, говорила и бабушка. Тоска напала на Кондратія Лукьяныча и почти два года не въ себѣ былъ,—и службу не служилъ, людей плохо узнавалъ. Все уйти порывался, такъ просто, безъ цѣли, безъ опредѣленнаго намѣренія,—уйти куда глаза глядятъ, только затѣмъ, чтобы уйти.

И сторожей къ нему приставляли, но ничего сдѣлать не могли, — обманетъ какъ-нибудь сторожей и уйдетъ. Разъ онъ очутился за двѣсти верстъ, въ другой губерніи, въ маленькомъ уѣздномъ городкѣ, гдѣ не было у него ни родныхъ, ни знакомыхъ, и его совсѣмъ было отправили по этапу какъ безпаспортнаго,

да къ счастью случайно узналъ о немъ, оказавшійся товарищемъ по семинаріи, учитель мѣстнаго духовнаго училища. Другой разъ три мѣсяца не было о немъ слуховъ, и отыскался онъ въ дальнемъ монастырѣ у другого брата, который былъ тамъ игуменомъ. И, вѣроятно, не любовь къ брату потянула его, — никогда не дружили они и потомъ рѣдко видѣлись,—о. Нифонтъ былъ аскетъ, суровый и честолюбивый и, повидимому, изъ честолюбія и принялъ монашескій санъ тотчасъ же послѣ окончанія семинарскаго курса. И пить принимался Кондратій Лукьянычъ,—да, должно быть, не тянуло его къ водкѣ,—недолго пилъ.

Должно быть, бабушка поняла, что ему нужно было уйти. Ранней весной, какъ только сошелъ снѣгъ, срядилась она, подожокъ вырѣзала, котомку на плечи надѣла и пошла въ далекую Кіево-Печерскую Лавру со своимъ больнымъ сыномъ, которому надо было уйти изъ своего мѣста, отъ самого себя. Много они земли русской прошли, много обителей и угодниковъ Божьихъ посѣтили, къ старцамъ-молитвенникамъ въ лѣса дремучіе заходили, — живы еще тогда были старцы. Въ Печерской Лаврѣ съ мѣсяцъ прогостили, — постились тамъ оба великимъ постомъ,—а къ снѣгу домой вернулись, въ Крутыя Горы, и Кондратій Лукьянычъ въ себя пришелъ. Вскорѣ же онъ принялъ монашескій санъ, и какъ бабушка ни уговаривала къ Троицѣ-Сергію поступить, — мечтала, архимандритомъ будетъ, а, Богъ благословитъ, и дальше пойти могъ,—Демьянову Пустынь выбралъ, самую глухую, самую бѣдную въ нашемъ уѣздѣ, заброшенную въ лѣсахъ и болотахъ пустынь, давно сдѣлавшуюся мѣстомъ ссылки для провинившихся монаховъ и послушниковъ. И безъ малаго шестьдесятъ лѣтъ прожилъ въ той пустынѣ, до смерти. Переставъ жить Кондратій Лукьянычъ и сталъ жить о. Кириллъ, и вмѣстѣ съ именемъ оставилъ онъ все за собой,—свой домъ, садъ, который онъ самъ насадилъ

по своему вкусу, съ акаціей, съ сиренью, съ жасминами и левкоями, свои гусли и два зеленыхъ холмика на темномъ болдинскомъ кладбищѣ.

И книги свои... Лежали онѣ безпризорныя у тетки Глафиры, которой достался приходъ, въ мезонинѣ, куда на зиму сваливали мерзлыя туши свинины и разной убоины; валялись въ углу, запыленныя, въ грязныхъ пятнахъ, съ оторванными переплетами, съ листами, израсходованными для хозяйственныхъ надобностей... Тамъ были полное собраніе сочиненій Марлинскаго, баронъ Брамбеусъ, Лажечниковъ, Полевой, Загоскинъ, много стихотворцевъ: Державинъ, Батюшковъ, Баратынскій, Жуковскій, и Козловъ; была даже полная „Исторія Государства Россійскаго“ Карамзина, томами которой тетка Глафира покрывала кринки съ молокомъ. Тамъ были журналы и повѣсти... Тамъ, въ этихъ старыхъ запыленныхъ книгахъ Эммы лежали на канапэ, а Валерьяны на нѣсколькихъ страницахъ изъяснялись Эммамъ въ любви возвышеннымъ языкомъ; тамъ были „Амалатъ-Бекъ“ и „Черное покрывало“, таинственныя и страшныя привидѣнія, таинственные и необыкновенные герои и злодѣи. И должно быть потому, что никто не зналъ въ нашей округѣ, что такое канапэ, и не было у насъ ни одной Эммы, ни одного Валерьяна и никто не изъяснялся тѣмъ превосходнымъ, возвышеннымъ слогомъ, не было ни тѣхъ привидѣній, ни тѣхъ героевъ и злодѣевъ,—я съ такой жадностью поглощалъ тѣ старыя книги, тѣ разрозненныя книжки журналовъ съ оторванными листами. Въ томъ запыленномъ ворохѣ книгъ было нѣсколько тетрадокъ со стихами, написанными стариннымъ, убористымъ почеркомъ. Онѣ не сохранились у меня, но я помню жалостные, меланхолическіе стихи объ уединеніи и о дѣвѣ, о пустынѣ и родникѣ. А съ портрета, должно быть, писаннаго провинціальнымъ самоучкой-художникомъ, сквозь покрывавшій его слой пыли смотрѣло молодое, красивое лицо и, должно

быть, тотъ, съ котораго писали портретъ, хотѣлъ быть написаннымъ глубокомысленнымъ и грустно задумчивымъ, во всемъ величіи чернаго семинарскаго сюртука и широкаго, темнаго галстука, но тоже, очевидно, не могъ сдержать веселія и радости жизни, и улыбка раздвинула губы и освѣтила тепломъ и радостью неуклюже написанный старый портретъ. Тамъ были гусли о. Кирилла безъ ножекъ, стоявшія прислоненными къ стѣнѣ, съ покоробившейся крышкой, съ отсырѣвшими струнами. И когда мое сердце и душа переполнялись тѣми героями и злодѣями, тѣмъ благороднымъ и возвышеннымъ, таинственнымъ и страшнымъ, что было въ тѣхъ старыхъ книгахъ, — я открывалъ крышку гуслей и проводилъ по струнамъ толстымъ и тонкимъ, и тогда угрюмый мезонинъ просыпался и комнату наполняли больные, тревожные жалобные звуки.

Я не любилъ тетки Глафиры, безалаберной, вздорной и неимовѣрно грязной, цѣлые дни грызшейся съ мужемъ своимъ, приниженнымъ и робкимъ, когда былъ трезвъ, и гонявшимся съ ножомъ за женой, когда начинался его обычный запой; но лѣтомъ во время вакацій я гащивалъ у тетки по недѣлѣ, по двѣ, пока не перечиталъ всю библіотеку о. Кирилла. И, кажется, я одинъ читалъ ее,—тогда еще наша округа удовлетворялась Суворовымъ, житіями святыхъ и „Черной женщиной“, которая почему-то имѣла успѣхъ. Мать права была: по крайней мѣрѣ въ нашей округѣ, считая и городскихъ священниковъ, ни у кого не было и десятой доли библіотеки о. Кирилла. И только потомъ, долго спустя, уже взрослымъ человѣкомъ, вспоминая эту огромную по тогдашнимъ временамъ библіотеку, вспоминая, что собиралась она въ тридцатыхъ годахъ въ глухомъ губернскомъ городѣ бѣднымъ семинаристомъ, зарабатывавшимъ уроками скудныя деньги, сидѣвшимъ ночи за перепиской бумагъ и писаніемъ

сочиненій другимъ семинаристамъ,—я понялъ, какая страстная любовь къ книгамъ была у Кондратія Лукьяныча и какія жертвы приносилъ онъ своей страсти. И никто не читалъ книгъ его, не игралъ на гусляхъ его, и одинокая, больная, потревоженная душа доживала свой одинокій вѣкъ въ темныхъ лѣсахъ Демьяновой Пустыни.

Должно быть, медленно заживаютъ тяжелыя раны сердечныя, трудно и медленно забывается прошлое, и, вѣроятно, долго не умирали въ душѣ о. Кирилла старыя мысли, прежнія воспоминанія...

Я помню вечеръ, нашъ крутогорскій второй Спасъ, храмовой праздникъ. Я уже учился въ духовномъ училищѣ; была половина шестидесятыхъ годовъ; праздники были уже не тѣ старые, съ генераломъ Суворовымъ, съ разсказами о. Платона о семибашенномъ замкѣ. Только что завершилась „воля“, шли слухи о другихъ воляхъ; въ глухую, тихую крутогорскую жизнь ворвалось то новое и огромное, молодое и озорное, что давали шестидесятые годы. Въ семинаріяхъ не знали еще Некрасова, но Пушкинъ и Лермонтовъ уже были извѣстны, и новая поэзія шла на смѣну старой. И неожиданно вышелъ литературный вечеръ въ Крутыхъ Горахъ. Взволновались старые священники и стали защищать то старое, предъ чѣмъ благоговѣли; они соглашались, что у новыхъ стихотворцевъ хорошій стихъ, но говорили, что у нихъ нѣтъ того важнаго и торжественнаго содержанія, которое было у ихъ любимыхъ старыхъ стихотворцевъ. И старые батюшки старымъ, возвышеннымъ и торжественнымъ тономъ декламировали возвышенные и торжественные стихи Державина.

Былъ о. Кириллъ, избѣгавшій людныхъ праздниковъ и рѣдко посѣщавшій нашъ второй Спасъ. Онъ сидѣлъ на опустѣвшемъ мѣстѣ дѣдушки, какъ всегда молчаливый, со своимъ далекимъ взглядомъ и далекими

мыслями. Я замѣтилъ, какъ онъ сталъ прислушиваться серьезно и внимательно, когда мой старшій братъ читалъ „Три пальмы“, и неожиданно для всѣхъ заговорилъ:

— Хорошіе поэты пошли... А помните ли старое— „Вечерній звонъ“?

И онъ началъ читать, останавливаясь на удареніяхъ въ срединѣ стиха, медленно, словно трудно вспоминая:

— Вече-рній звонъ, вече-рній звонъ!
Какъ мно-го думъ наво-дитъ онъ...
. . . . . .
И какъ я съ нимъ навѣкъ простясь
Тамъ слы-шалъ звонъ—въ послѣдній разъ!..

И должно быть, потому, какъ онъ читалъ медленно, тихимъ голосомъ, останавливаясь на удареніяхъ, — охваченное грустью удивительное стихотвореніе казалось еще грустнѣе и, словно печальный звонъ, носилось въ комнатѣ.

— И сколько нѣтъ теперь живыхъ,
Тогда веселыхъ, молодыхъ!
И крѣпокъ ихъ могильный сонъ,
Не слышенъ имъ вечерній звонъ.
. . . . . .
И ужъ не я, а будетъ онъ
Въ разду-мьи пѣть вечерній звонъ!

Долго молчали всѣ и, казалось, все слушали носившійся въ комнатѣ вечерній звонъ. Тогда заговорилъ отецъ, растроганный и умиленный:

— Братецъ! помните, въ семинаріи любили вы читать „Чернеца“?

Къ отцу присоединились со своими просьбами всѣ гости и старые и молодые, такъ какъ всѣ знали и всѣ любили „Чернеца“. Было очевидно, о. Кириллъ вспомнилъ свое старое, давнее: онъ поднялъ голову, лицо его было ясное и спокойное, и проникновеннымъ, воз-

вышеннымъ голосомъ началъ онъ читать .великолѣпные Козловскіе стихи. И только разъ дрогнулъ голосъ:

Чернецъ, Чернецъ, ужели ты
Все помнишь прежнія мечты?..

Потомъ отецъ запѣлъ „Вечерній звонъ“; подхватили всѣ, старые и молодые, и должно быть, особенное настроеніе охватило присутствующихъ,—такъ тихо, проникновенно и растроганно звучали старые и молодые голоса.

Пѣлъ и о. Кириллъ, и единственный разъ я видѣлъ его веселымъ и оживленнымъ,—въ этотъ вечеръ онъ былъ со всѣми и думалъ о томъ, о чемъ думали другіе, и говорилъ о томъ, о чемъ говорили всѣ.

Отецъ, разсказывая мнѣ о томъ періодѣ, когда о. Кириллъ былъ не въ себѣ, обыкновенно заканчивалъ словами:

— У него осталось!..

У него осталось—горе не выплаканное, раны сердца не зажившія, воспоминанія не забытыя. Остались—голова понурая, улыбка дрожащая, жалостная, мечта въ глазахъ и мысль одинокая и привычка быть одному и говорить самому себѣ свои одинокія мысли. Идемъ мы съ нимъ по лѣсу, забудетъ онъ про меня и говоритъ самъ съ собой и споритъ и доказываетъ; или сидитъ между гостями на праздникѣ и смотритъ своимъ удивительнымъ, далекимъ взглядомъ, и вдругъ вырвется у него слово странное, неожиданное изъ его мысли, далекое отъ тѣхъ мыслей, которыя вотъ у этихъ сидящихъ кругомъ людей.

Осталась еще привычка уходить въ лѣса. Зимой онъ еще служитъ, справляетъ свое монастырское дѣло, а придетъ весна, отпросится онъ у о. игумена родныхъ провѣдать или угодника навѣстить въ дальнемъ мона

стырѣ—и пропадетъ, на мѣсяцъ, на два. И гдѣ скитается—никто не знаетъ. Сестра Настя, что за сыномъ Ивана Захарыча рощенника была—самая богомольная изъ насъ и къ о. Кириллу приверженная, и о. Кириллъ больше всѣхъ ее любилъ и чаще всего навѣщалъ ее—она много разсказывала мнѣ и хорошо знала жизнь о. Кирилла. Ходитъ онъ по лѣсу, хлѣбъ за пазухой, ягодами питается, орѣхами, застигнетъ ночь, и уснетъ во мшистомъ еловомъ лѣсу. А то выйдетъ въ первую деревню, какая ближе, и зайдетъ въ первый домъ, какой поглянется, и живетъ тамъ, пока поглянется. Много разъ Настя сама видѣла, невзначай, въ избахъ крестьянскихъ встрѣчала. Сидитъ о. Кириллъ и зыбку качаетъ; разревется ребенокъ, на колѣни къ себѣ возьметъ и пѣстаетъ, и словами, прибаутками всякими приговариваетъ, что нужно ребенку—обрядитъ и покормитъ, самъ соску сдѣлаетъ, опять въ зыбку положитъ и баюкать станетъ. Такъ и живетъ два-три дня. Принять подъ свою крышу о. Кирилла всякій за честь почиталъ, даже и тѣ, которые по старой вѣрѣ жили, рады были,—Божій человѣкъ, молитвенникъ... И бабѣ сподручно,—въ сѣнокосъ, либо въ жнитво, нужно обѣдъ въ поле мужикамъ отнести, на о. Кирилла ребятъ оставитъ,—знаетъ, не броситъ. Зато, удосужится бабѣ, щелоку поставитъ въ печку, чтобы вымыть его, бѣлье починитъ, обрядитъ; а тамъ снимется о. Кириллъ и дальше пойдетъ по лѣсамъ, по деревнямъ, куда глаза глядятъ.

Но дѣла своего монастырскаго не забываетъ и къ Успеньеву дню всегда дома. Храмовой праздникъ былъ въ монастырѣ и своя икона чудотворная Божьей Матери, и богомольнаго народу стекалось великое множество изъ нѣсколькихъ уѣздовъ. И о. игуменъ зналъ слабость о. Кирилла, что не воленъ онъ лѣтомъ надъ собой,—только и просилъ къ Успенью дома быть. Зналъ о. игуменъ, что безъ о. Кирилла и праздникъ не въ

праздникъ, и усердіе у молящихся не такое, и приношеній меньше,--и о. Кириллъ, если только не хворалъ, всегда былъ къ Успенью на мѣстѣ и службы исправлялъ аккуратно. А отойдутъ празднества въ монастырѣ, понесутъ Пречистую по деревнямъ, и мѣсяцъ и два носятъ--и о. Кириллъ уже всегда впереди идетъ по лѣсамъ дремучимъ, по деревнямъ убогимъ съ Заступницей. Ко всѣмъ заходитъ, къ богатымъ и бѣднымъ, въ города и деревни, потомъ опять въ лѣса и гдѣ любится, гдѣ лѣсъ краше, остановится, молебенъ служитъ и поетъ пѣснь Владычицѣ. И народъ весь поетъ.

Какъ и дѣдушка, о. Кириллъ народъ пользовалъ и такъ же на всю округу былъ извѣстенъ. Бѣсовъ онъ не могъ изгонять,--не дано было ему; зато отъ такихъ болѣзней пользовать могъ, съ какими къ дѣдушкѣ не обращались. Лѣчилъ онъ отъ „мнѣнія“. Бывала въ тѣ времена такая болѣзнь, съ разными людьми мужского и женскаго пола приключалась, больше всего съ купцами. Живетъ купецъ, суматошится по своимъ дѣламъ; „на всѣхъ бердахъ ткетъ“, говорили у насъ про такихъ; озорничаетъ надъ народомъ православнымъ, какъ ему любо,—и вдругъ нападетъ на него мнѣніе. Задумываться станетъ, скучно вдругъ ему сдѣлается,—и дѣла ему скучны, и озорство ему скучно, и отъ семьи отшибется. А отъ мнѣнія тоска въ сердце вступитъ, и не милъ ему станетъ Божій свѣтъ, и не знаетъ онъ, куда ему отъ себя уйти. Пить примется мертвую—не помогаетъ, чудотворить станетъ. Одинъ нашъ купецъ поѣхалъ въ Нижній на ярмарку да тамъ въ хоръ цыганскій угодилъ, полгода по Россіи какъ цыганъ съ таборомъ бродилъ, по этапу ужъ въ нашъ городъ прислали. Тогда къ о. Кириллу везутъ. И живетъ у него купецъ и недѣлю и двѣ, въ кельѣ у него и спитъ, вмѣстѣ въ церковь ходятъ и о чемъ разговариваютъ, никому не извѣстно. А потомъ возвращается купецъ къ семьѣ своей, къ дѣламъ своимъ,--тотъ же купецъ,

да не тотъ. Видятъ люди, что отмякъ купецъ, ходу нѣтъ прежняго, озорства стараго, и говорятъ:

— О. Кириллъ внушилъ.

И по общему мнѣнію еще одно дано было о. Кириллу, и говорили объ этомъ потихоньку вполголоса, и было въ этомъ страшное и таинственное,—могъ онъ отпускать грѣхи необычные, самые страшные. Случалось, по ночамъ увозили о. Кирилла изъ пустыни, и къ нему въ пустынь ѣздили, тихонько, въ будни, хоронясь ото всѣхъ. И, что тамъ было, опять никому неизвѣстно,— и только смутные, темные деревенскіе разсказы кончались словами:

— О. Кириллу исповѣдался.

Когда первый богатѣй Богоявленскаго Лука Петровичъ, который держалъ мельницу отъ генерала Солтухина и имѣлъ большую лавку на селѣ, неожиданно для всѣхъ повинился, что онъ, будучи баньщикомъ въ Москвѣ, задушилъ купца въ номерѣ,—отецъ сказалъ мнѣ:

— У братца былъ на той недѣлѣ, у о. Кирилла.

Воистину пустынь была. Инокъ благочестивый когда-то лѣса эти дремучіе возлюбилъ, келійку себѣ выстроилъ, а потомъ люди подходить стали, киновія сдѣлалась. Въ скорости икона чудотворная Успенья Божьей Матери объявилась. Цари лѣса огромные отписали къ монастырю, а монастырь не пошелъ. Инокъ ли рано померъ, не наладилъ, мѣсто ли людямъ не полюбилось, темное, глухое, въ болотахъ и лѣсахъ,—а монастырь не пошелъ. И храмъ былъ начатъ большой, и кельи большимъ корпусомъ выведены, и широкое мѣсто каменной оградой было окружено,—большой храмъ все строился, а продолжали служить все въ томъ же старенькомъ, низенькомъ соборѣ, и половина келій пустовала, и широкій монастырскій дворъ заросъ крапивой и бурьяномъ. Не

было въ пустыни ни огородовъ, ни мастерства какого подходящаго, какъ въ другихъ монастыряхъ, и казалось все не конченнымъ, заброшеннымъ, пустыннымъ,— только иконой чудотворной да лѣсами и кормились. Къ Успеньеву дню шумно и людно дѣлалось въ пустыни, а остальное время тихо и пусто было въ монастырѣ. Зимой и дорогу заметало снѣгомъ, волки стаями выли вокругъ монастырской ограды, и трудно было богомольцу добраться до воротъ. И монахи неохотно шли въ заброшенный монастырь, на отшибѣ, внѣ дорогъ, вдали отъ людского жилья, и давно Демьянова пустынь сдѣлалась ссыльнымъ мѣстомъ. И соблазнъ шелъ изъ пустыни между православными,—бабы какія-то примостились около ограды, прачки будто. Игумены назначались крутые, съ характеромъ, чтобы орду штрафованную въ рукахъ держать могли, и больше изъ купеческаго и мѣщанскаго званія попадались и по-купечески дѣла вели,—лѣсопилка была, дрова въ городъ поставляли.

Изрѣдка я бывалъ тамъ, но особенно помню одну поѣздку. Я окончилъ духовное училище и готовился поступить въ семинарію. Три года не былъ въ Крутыхъ Горахъ о. Кириллъ, не пришелъ и на второй Спасъ, какъ наказывала черезъ Настю бабушка, и она обезпокоилась и послала отца провѣдать.

Былъ августовскій погожій день. Бѣлыя нити паутины тянулись въ воздухѣ, солнце было еще жаркое, лѣтнее, но небо было уже блѣдное и далекое. Огромныя, мохнатыя ели и голыя сосны съ далекими вершинами стояли темныя и тяжелыя, и птичка кричала усталымъ голосомъ въ глубинѣ лѣса. А изъ монастыря несся благовѣстъ. Отецъ остановилъ лошадь, снялъ шляпу, перекрестился и лицо его засвѣтилось широкой улыбкой.

— Силантій Кузьмичъ старается... Какъ звонитъ!

А оттуда, изъ монастыря по верхушкамъ сосенъ

неслись ликующіе, полные радости и восторга звуки монастырскаго благовѣста. Перебивая другъ друга, какъ дѣтскіе голоса, перезванивали маленькіе колокола и торопились, и смѣялись, и ликовали, какъ дѣти; а большіе колокола весело и громко кричали по лѣсу: „бумъ“! „бумъ“! „бумъ“! И темный лѣсъ радовался, звенѣлъ и гремѣлъ. А потомъ большіе и малые мѣдные голоса слились и звенящей радостью, ликующимъ восторгомъ вознеслись въ небо,—и сразу стало безмолвно и печально въ лѣсу, и птичка еще разъ крикнула усталымъ голосомъ.

— Первый дружокъ у отца Кирилла! — выговорилъ отецъ, надѣвая шляпу, и пока мы подъѣзжали къ монастырю, разсказалъ мнѣ исторію монастырскаго звонаря Силантія Кузьмича.

Изъ Богоявленскаго былъ, изъ дворовыхъ, Солтухинскихъ. Какъ-то на охотѣ баринъ молодой ошибкой подстрѣлилъ его, ногу повредилъ. Старый баринъ далъ зато волю ему, а вольный Силантій Кузьмичъ, какъ нога поджила—хроменькій остался,—въ Демьянову Пустынь ушелъ: какъ и о. Кириллу, поглянулся ему оброшенный монастырь въ темныхъ лѣсахъ. И пристрастился онъ въ пустыни къ звону церковному, колокола полюбилъ, и не стало у него больше радости въ жизни, какъ звонъ настоящій подобрать. Ноты выучилъ, по камертону сталъ колокола настраивать и, который колоколъ не подходилъ, перемѣнялъ. Мѣсяцами къ игумену приставалъ, купцовъ богомольныхъ улещивалъ; ругаетъ его игуменъ, чтобы отсталъ, а добудетъ колоколъ, какой ему нуженъ. А когда пошелъ слухъ про пустынскій звонъ между богомольнымъ народомъ, игумены стали по его дѣлать и колоколовъ прибавили; и понемножку всю колокольню по своему вкусу, по камертону обладилъ Силантій Кузьмичъ. И прошелъ далеко слухъ про удивительнаго пустынскаго звонаря, и отецъ съ гордостью разсказывалъ, какъ выписывали

Силантія Кузьмича въ Москву, въ Кремль колокола устраивать. Не поглянулось ли ему жить въ Москвѣ, не захотѣли ли тамъ по его волѣ колокола перестраивать, только недолго онъ прожилъ тамъ и опять вернулся въ пустынь на свою колокольню.

И гдѣ, въ какомъ монастырѣ хорошій звонъ слышалъ, ноты добывалъ, къ себѣ несъ и каждую службу свой звонъ устроилъ. И когда солнце садилось и ночь шла на землю, звонилъ на голосъ: „Кто тя можетъ избѣжати, смертный часъ!“

Должно быть, изъ всѣхъ монастырскихъ келій, келья о. Кирилла была самая неуютная и неприглядная. Голыя каменныя стѣны, давно небѣленныя, съ сырыми пятнами по угламъ, кое-какъ сколоченная, бѣлая, некрашенная кровать, колченогій столъ убогій, да стулъ такой же, да маленькая укладка въ углу—и все убранство. Только было украшенія—иконъ много, и все старинныя, въ темныхъ серебряныхъ окладахъ. Спаситель въ серединѣ, Божья Матерь, Николай Чудотворецъ, а дальше все наши святые, изъ лѣсовъ нашихъ: Сергій Радонежскій и Никита и Данило Столпники, былъ и Кириллъ Бѣлозерскій и Святители Московскіе. Передъ кіотомъ лампада горѣла краснаго стекла, желтыя свѣчки восковыя обожженныя, и вездѣ за кіотомъ и между иконами пучки травъ заткнуты и цвѣтовъ разныхъ, и должно быть, отъ нихъ, отъ засохшихъ травъ и отцвѣтшихъ цвѣтовъ стоялъ въ келіи острый запахъ, душный и пряный.

О. Кириллъ былъ дома, только что отъ службы вернулся и читалъ толстую книгу съ мѣдными застежками, босой, въ бѣлой холщевой рубашкѣ, подпоясанной поясочкомъ монастырскимъ съ изреченіями. Встрѣтилъ насъ о. Кириллъ весело и радостно. Отецъ разспрашивалъ о. Кирилла о здоровьи, разсказывалъ деревенскія новости и выкладывалъ бабушкины гостинцы: бѣлый пирушникъ, баранки, пироги какіе-то, чай съ сахаромъ,

въ бумажкахъ завязанные, шарфъ гарусный—сестры связали — чулки шерстяные, бѣлье и вдругъ остановился.

— Гдѣ же у тебя, отецъ Кириллъ, войлокъ-то? И одѣяла нѣтъ, и подушка-то не твоя...

Кровать была голая, и только въ углу валялась плоская, засаленная пунцовая подушка.

О. Кириллъ неловко натягивалъ на себя полукафтанье, должно быть, для насъ, для гостей, смотрѣлъ на свою голую кровать, и говорилъ:

— Войлокъ-то? Былъ, былъ... Поліевктъ приходилъ, послушникъ, ревматизмъ, говоритъ, у него въ тѣлѣ... Такъ, говоритъ, кости гудутъ!.. такъ гудутъ... И взялъ. Одѣяло тоже... Тепло, говоритъ, подъ ваточнымъ-то.

Про подушку онъ ничего не сказалъ. И все улыбался конфузливой, виноватой улыбкой.

Отецъ оставилъ гостинцы и сталъ производить ревизію хозяйству о. Кирилла.

Въ укладкѣ не оказалось ни носковъ шерстяныхъ, ни бѣлья, которые послала недавно черезъ Настю бабушка, и валялись однѣ старыя портянки. Не было ватнаго полукафтанья на стѣнѣ; а въ особенности огорчили отца сапоги, которые онъ вытащилъ изъ-подъ кровати, рваные, покоробившіеся.

— Гдѣ же сапоги-то, отецъ Кириллъ? И мѣсяцу нѣтъ, на Илью Пророка послали...

О. Кириллъ раздумчиво вертѣлъ сапоги въ рукахъ и говорилъ:

— А это отецъ Пафнутій, протодіаконъ... Пришелъ и говоритъ, жмутъ сапоги у него, мозоли у него... Помѣрялъ мои-то,—пришлись, говоритъ, ладно...

Мой отецъ почиталъ о. Кирилла,—и старшій братъ и іеромонахъ; но его хозяйское крутогорское сердце, привыкшее къ скудной жизни тяжелаго труда, не можетъ сдержаться, и онъ говоритъ:

— Что же это, отецъ Кириллъ! развѣ такъ можно? Я

отцу игумену пожалуюсь, ей-Богу, пожалуюсь! Ограбили тебя... Чай, онъ, игуменъ, смотрѣть долженъ.

— Ты этого, Тимоѳей, не моги!..—Лицо у о. Кирилла стало огорченное и испуганное, онъ близко подошелъ къ моему отцу и настойчиво говорилъ:—Не булгачь, Тимоѳей, не тревожь отца игумена! Мнѣ и гостинцевъ вашихъ не надо, ничего не надо, ни войлока, ни сапоговъ... Христомъ-Богомъ прошу, Тимоѳей, оставь!

Тогда отецъ сконфузился и сталъ оправдываться:

— Ваша воля, отецъ Кириллъ... Какъ желаете... Только братъ вы мнѣ, жалко мнѣ васъ, по родственному.

Пришелъ послушникъ отъ игумена звать отца чай пить. Мы остались одни съ о. Кирилломъ.

Я разсказывалъ о. Кириллу о союзахъ винословныхъ, соединительныхъ, раздѣлительныхъ, о головоломныхъ періодахъ, о силлогизмахъ мудреныхъ, которые я только что одолѣлъ въ духовномъ училищѣ. Мнѣ очень хотѣлось похвастать предъ нимъ своими успѣхами и разспросить, какъ знающаго человѣка, о страшныхъ хріяхъ, которыми мнѣ угрожали изъ семинаріи. Онъ отвѣчалъ мнѣ и ласково смотрѣлъ на меня, но, должно быть, меня не было для него въ эту минуту, и далеко были отъ меня мысли его, и онъ говорилъ о томъ, чѣмъ полна была душа его и что я понялъ только потомъ, вспоминая этотъ разговоръ.

— „Братецъ, говоритъ, вы мой,—чай, жалко“... И не понимаютъ люди грѣха великаго, самаго страшнаго грѣха человѣческаго!.. Мой, говорятъ, „братъ“, моя, говорятъ, „жена“, мой „ребенокъ“! Жалѣютъ своего-то... „А то, говорятъ, не мой братъ, чужой, чужая жена, не мой ребенокъ,—съ чего жалѣть-то буду“?.. Своя-то жена помретъ,—человѣку ужъ и мѣста на свѣтѣ не стало; свой-то ребенокъ помретъ,—и душа остановится, и свѣтъ на небѣ померкнетъ... О, Господи, Господи, видишь Ты слабость человѣческую!

— Заночевалъ я намедни въ лѣсу, просыпаюсь на

зорькѣ,—человѣкъ предо мной на колѣнкахъ стоитъ, вопитъ. Не засталъ меня въ монастырѣ, всю ночь по лѣсу бѣгалъ, меня искалъ.—„Отпусти, говоритъ, грѣхъ мой тяжкій: брата родного загубилъ, топоромъ зарубилъ“. Купчая земля у нихъ была, дѣлились, изъ-за лужка вышло... И тоже про дѣтей. „У меня, говоритъ, пятеро, а онъ самъ-другъ съ женой. Я, говоритъ, лужокъ-то приспособилъ,—болото было; а онъ, говоритъ, на службѣ служилъ“... Сталъ я ему сказывать; не можетъ человѣкъ прійти въ понятіе, что себѣ подобнаго жизни лишилъ, что душу человѣческую изъ-за лужка загубилъ.

— „То, говоритъ, по закону бы пошло, тамъ обсудили бы“... Про того, про чужого-то законъ есть; а вотъ что своего, брата родного загубилъ,—ему и не переносно...

Предъ открытымъ окномъ кельи, сейчасъ же за монастырской оградой, густой стѣной стоялъ огромный лѣсъ и на фонѣ блѣднаго, свѣтлаго неба казался онъ чернымъ и темная тѣнь ложилась отъ него въ келью. О. Кириллъ сидѣлъ у окна, и мечта была въ большихъ, темныхъ глазахъ, и та всегдашняя его улыбка на губахъ—и радостная и плачущая.

— Своя-то жена, свой-то ребенокъ помрутъ,—снова возвращается о. Кириллъ къ старому,—какъ плачутъ люди, какъ плачутъ, какъ убиваются!.. А чужой ребенокъ рядомъ помираетъ,—не жалко... Да что я тебѣ, Степа, скажу... — Онъ наклонился совсѣмъ близко ко мнѣ, и лицо его было испуганное и говорилъ полушопотомъ:

— Убьютъ чужого-то, горло перервутъ... На дорогѣ встрѣтятъ,—ногами затопчутъ, столкнутъ, куда попало,—въ оврагъ, въ рѣку... „Онъ“, скажетъ, „моему ребенку идти мѣшаетъ; мнѣ своего спасать надо“. Матери особливо... Чисто звѣри,—волчицы, тигрицы. При ней только похвалятъ чужого ребенка—и то ножъ ей въ сердце. И всякую скверну, всякую обиду люди сдѣлаютъ,—не для себя, скажутъ,—для дѣтей стараемся. И за грѣхъ не почитаютъ, будто и хорошо даже,—любятъ, дескать,

дѣтей, жалѣютъ. И не вѣдаютъ люди, что въ этомъ самый страшный грѣхъ человѣчества, что оттуда все утѣсненіе на землѣ, вся обида промежду людей.

Онъ молчалъ и смотрѣлъ печальнымъ взглядомъ поверхъ лѣса въ далекое, блѣдное небо.

— Тоже люди придумали... снова говорилъ онъ.— „Мой, говоритъ, лугъ, моя земля, мой лѣсъ, моя, говоритъ, рожь“... Вотъ царь милостивый на волю народъ православный выпустилъ, а то раньше баринъ какъ говорилъ: „Мой, говоритъ, человѣкъ, продамъ, говоритъ, своего человѣка и куплю себѣ что пріятное“... Былъ такой законъ! Сочиняли себѣ люди законы человѣческіе вопреки Божіимъ...

— „Мое, говоритъ... Резоны свои проводитъ. Я, говоритъ, трудился, потомъ своимъ ниву облилъ. У меня, говоритъ, сила въ тѣлѣ большая, разумъ свой, талантъ на всѣ дѣла“... Ты, вотъ, потъ-то свой—каждую капельку сосчиталъ, а Божіе стараніе не считалъ? Ты землю сдѣлалъ, ты лѣсъ выростилъ? Ты солнышко горячее на небѣ повѣсилъ, мѣсяцъ ясный? Ты дождикъ благостный съ неба льешь? Ты зори ясныя установилъ, звѣзды по небу разсыпалъ указующія? И гдѣ ты нашелъ мышцу свою крѣпкую, разумъ великій, и правъ ты, что съ талантомъ родился, виноватъ, что нѣтъ у тебя таланта? Талантъ твой на улицѣ валялся, что ли? Шелъ мимо и подобралъ?

Я никогда не видѣлъ такимъ о. Кирилла. Онъ поднялъ голову и смотрѣлъ на меня строгимъ взглядомъ, и большіе, темные глаза были прекрасны, и великая красота лежала на лицѣ его. Я не понималъ тогда всего, что говорилъ онъ, но было въ лицѣ его и въ голосѣ, отъ чего трепетъ наполнялъ мою душу; а онъ все говорилъ то грустно и раздумчиво, то негодующе.

— Я, говоритъ, мое, говоритъ... Да самъ-то ты кто? Чей ты самъ-то? Откуда взялся ты? Такъ вотъ захотѣлъ жить—и пришелъ на землю? Послали тебя, человѣка,

не спрашивали, сказали живи и все тутъ... Можетъ, спросили бы тебя: „Кондратій,—хочешь жить на землѣ?“ Можетъ, Кондратій-то сказалъ бы: „Освободи, Царь Небесный!..“ Можеть, ты и родиться-то не хотѣлъ бы, на свѣтъ появляться?.. И воленъ ли ты въ часѣ рожденія твоего? Есть ли день жизни твоей, когда ты сказать можешь: завтра я жить буду? Вѣдомъ ли тебѣ часъ кончины твоей, и самъ просить будешь: „Усталъ я жить, Господи,—прибери меня!“ Исполнится ли просьба твоя? Послали тебя жить—и живи! И твори волю Пославшаго тебя... Создалъ Господь человѣка—не какъ прочихъ, не какъ дерево, не какъ волка,—изъ всѣхъ отличилъ, радость Себѣ въ твореніи Своемъ человѣка-то сотворилъ, въ послѣдній день, вѣнецъ міру... По образу Своему, по подобію... Гдѣ у тебя, человѣкъ, образъ Божій, Его подобіе? Нѣтъ для Него, Создателя, слабаго и сильнаго, большаго и малаго, своего и чужого,—на всѣхъ взираетъ Царь Небесный, милосердный, всѣмъ свѣтитъ солнышко, и дубу высокому, и цвѣточку махонькому, и червю ползущему, и орлу возносящемуся. И Сына послалъ на землю, чтобы примѣръ любви людямъ явилъ, Пришелъ Сынъ на землю и сказалъ: „Возлюби, человѣкъ, ближняго своего, какъ самого себя... Положи, человѣкъ, душу свою за други своя“... Вотъ тебѣ указъ Божій, законъ Его!.. И призоветъ тебя опять къ Себѣ Пославшій и спроситъ: „Былъ ли ты братъ всѣмъ людямъ: ты, сильный, подсобилъ ли ему, слабому? ты, богатый, одѣлилъ ли богатствомъ его, бѣднаго? куда употребилъ талантъ свой?“ Что отвѣтишь Ему?..

Лѣсъ за оградой сталъ гуще и темнѣе, небо померкло и бѣлыя облака тяжелой грядой протянулись надъ лѣсомъ, и тѣни сгустились въ кельѣ. О. Кириллъ молчалъ, и только губы беззвучно шевелились, и смутно вырисовывалась въ окнѣ большая, бѣлая фигура съ темными волосами, понурая и печальная.

Было тихо. Чьи-то шаги гулко раздавались въ ка-

менномъ коридорѣ, тоненькій и ласковый тенорокъ проговорилъ за дверью: „Во имя Отца и Сына...“—Дверь отворилась и въ келью вошелъ прихрамывая маленькій монашекъ, лысенькій, съ бѣлокурыми волосами и рѣдкой бородкой.

— Тимоѳея Лукьяновича сынокъ?—привѣтствовалъ онъ меня.—У отца игумена батюшку твоего видѣлъ,—чай кушаетъ.

Было что-то веселое и радостное въ маленькой, подвижной фигурѣ тщедушнаго монашка съ моргающими глазами, и въ угрюмой кельѣ стало свѣтлѣе, просторнѣе и радостнѣе. Оживился и о. Кириллъ и сталъ развертывать крутогорскіе гостинцы.

— Вотъ хорошо, братъ Силантій, что пришелъ. Попробуй пирожка матушкинаго!..—О. Кириллъ ходилъ по кельѣ и любовался, какъ Силантій Кузьмичъ пробовалъ пирогъ.

— Небось на меня все Тимоѳею отецъ игуменъ жалуется...Службу не справляю, долго въ монастырѣ не былъ.

Маленькій монашекъ съ аппетитомъ кушалъ пирогъ и ничего не отвѣтилъ, только веселые, лукавые глазки смѣялись.

— А какъ я не справляю?- раздумчиво говорилъ отецъ Кириллъ, ходя по комнатѣ.—Вездѣ храмъ Божій, вездѣ твореніе рукъ Его. Придешь въ лѣсъ-то весной,—красота Божія, молитва. Елочки зеленыя пучечки пускаютъ, травка изъ земли лѣзетъ, цвѣточекъ солнышка у Бога молитъ, птенчики рты раскрыли, взываютъ: накорми, Господи! Я и служу и вечерню и утреню и пою Господу пѣснь мою: „Царю, Небесный, Утѣшителю Душе истинный“...

И была на лицѣ его дрожащая, неувѣренная улыбка, глаза были печальные и блаженные. А маленькій монашекъ сидѣлъ на кровати, и лицо его отражало все то, что было на лицѣ о. Кирилла,—онъ поднималъ и опускалъ брови, открывалъ и закрывалъ ротъ, словно

повторялъ слова о. Кирилла, и лицо его сдѣлалось такое же печальное и блаженное. Онъ все кивалъ головой и, когда кончилъ отецъ Кириллъ, торопливо выговорилъ:

— Вѣстимо дѣло... Что Евангелистъ Матвѣй въ 6-й главѣ говоритъ? И ужъ чего лучше молитва „Царю Небесный“?.. На колоколахъ разучиваю...—оживился онъ.—Хочу, о. Кириллъ, отцу игумену поклониться, чтобы благословилъ утромъ играть, какъ солнышко всходить станетъ... Ночь, значитъ, кончилась, день идетъ, — и братіи и православнымъ радостью будетъ слушать. Только вотъ—„Иже вездѣ сый“ не выходитъ.

И онъ сталъ тихо напѣвать, и пальцы его двигались, онъ поворотилъ голову и, казалось, слушалъ, какъ выходитъ на колоколахъ „Иже вездѣ сый“...

Пришелъ отецъ и, должно быть, любилъ онъ тщедушнаго монашка,—широкой улыбкой засвѣтилось лицо его и сталъ онъ хвалить, какъ хорошо звонятъ колокола „Свѣте тихій“, и стали обсуждать вмѣстѣ, выйдетъ ли „Иже вездѣ сый“. А о. Кириллъ сидѣлъ одинокій, задумчивый, наклонивши голову; темные волосы густыми прядями закрыли лицо и, должно быть, мысли его опять были далеко отъ всего, что было кругомъ.

— Прощайте, братецъ!

— Прощай, Тимоѳей!

Благословилъ о. Кириллъ меня и отца, и мы разстались. И, вѣроятно, о. Кириллъ не замѣтилъ, какъ отецъ скинулъ свои сапоги и надѣлъ его дырявые, и какъ онъ взялъ въ охапку привезенное бѣлье и совалъ его въ коридорѣ Силантію Кузьмичу и шопотомъ просилъ его поберечь бѣлье и посмотрѣть за о. Кирилломъ, чтобы не обижали его послушники.

Спустился беззвѣздный, безлунный вечеръ на землю. Лѣсъ стоялъ густой, черный и недвижимый, и, когда мы въѣзжали въ непроглядную тьму его, тамъ, высоко надъ землей, гдѣ догоралъ солнечный закатъ, медленно и грустно запѣли колокола:

— „Кто тя мо-жетъ из-бѣ-жа-ти, смер-тный часъ?“..

Тоненькіе мѣдные голоса грустно и жалобно одинъ за другимъ поднимались къ небу, все выше и выше, и снова спустились на землю, и строго и тяжко упалъ въ безмолвный лѣсъ густой мѣдный „смертный часъ“.

И стало тихо и печально въ лѣсу, изрѣдка вздыхали сонныя сосны, птичка крикнула вдали усталымъ голосомъ.

XVII. Наши мѣста.

Лѣса да болота... На десятки верстъ тянулись вѣковые лѣса, темные, угрюмые. Суровая, лапистая ель, колючій можжевельникъ, сосна на песчаныхъ буграхъ.

Тихо въ темныхъ лѣсахъ. Векша перепрыгнетъ съ дерева на дерево, заяцъ выскочитъ на узкую лѣсную тропу, словно испугавшись тишины угрюмаго лѣса, филинъ ухаетъ въ темномъ оврагѣ, барсукъ залаетъ. Зеленый пышный мохъ покрываетъ землю, гдѣ пониже — перистый папоротникъ разросся цѣлымъ лѣсомъ. Грибъ тамъ водится крѣпкій, ядреный—бѣлый грибъ, бурый рыжикъ, развалистый груздь.

Рѣдко-рѣдко вырвется двѣ-три десятинки березнику и веселыхъ дубовъ. Какъ тамъ все свѣтло и радостно! Осина немолчно шумитъ, рябина протянетъ свои кисти красныхъ ягодъ, внизу смородина, малина, и трава густая, зеленая по поясъ, и въ травѣ ягода крупная, налитая. Птицѣ тамъ водъ. Все веселая птица—сорока-бѣлобока стрекочетъ, дергачи, зяблики разными голосами перекликаются. И грибъ тамъ легкій, веселый!.. Березовикъ, на тоненькой ножкѣ красноголовый подосиновикъ, рыжая волнушка, бѣленькія и красненькія сыроѣжки... Не ушелъ бы изъ этого лѣса... А тамъ опять потянулся безъ перерыва темный лѣсъ...

По низкимъ мѣстамъ болота. Тощая ольха растетъ островками, кочка, обросшая зеленой травой. Опасное мѣсто,—сорвешься съ кочки и увязнешь по поясъ въ болотную ржавчину; а идти хочется: тутъ и гонобобель, и черника, и брусника, и клюква, такъ и прыгаешь съ кочки на кочку, либо по палымъ деревьямъ перебираешься.

Вечерами поднимаются туманы и бѣлыми видѣніями носятся надъ болотами, а изъ-подъ тумановъ выпь вопитъ по ночамъ. Верстахъ въ пяти начиналось Поганое болото и тянулось на двадцать верстъ, и ни пѣшій, ни конный въ лѣтнее время пройти по нему не могъ. Сверху чуть затянуло его травой да мелкой порослью, а внизъ шла бездонная глубь, которая не мало скота засосала, а случалось, засасывала и людей, заблудившихся въ ночное время. Нѣчисти водилось тамъ видимо-невидимо, и всѣ напасти, приключавшіяся съ заблудившимися въ лѣсу людьми, выходили изъ него,—оттуда аукались и туда манили.

Изъ болотъ текли рѣки, ржавыя съ красноватой водой холодныя рѣки, разливавшіяся въ половодье по лугамъ и лѣсамъ и запиравшія людей по домамъ на двѣ, на три недѣли. По луговинамъ стояли бочаги, заросшія осокой и травой глубокія ямы, гдѣ въ самые жаркіе дни вода была холодна какъ ледъ.

Случалось загорятся лѣса и болота. Тогда по деревнямъ пахнетъ гарью и дымъ цѣлыми недѣлями застилаетъ небо и солнце встаетъ огромное и туманное и словно въ крови.

А по ночамъ трескъ идетъ изъ лѣса, будто ломаетъ кто деревья. Изъ Крутыхъ Горъ далеко было видно. Огненнымъ кольцомъ обнимете наши мѣста, зарево займетъ полнеба, по болотамъ огонь змѣями ползетъ, а по лѣсу красными языками бѣгаетъ. Уснутъ усталые люди, подкрадется огонь къ деревнямъ, лизнетъ краснымъ языкомъ, и загорятся какъ свѣчки соломенныя

крыши. Такъ и горятъ лѣса и деревни, пока не потушатъ осенніе дожди, не засыплютъ снѣгомъ зимнія вьюги, а случалось и они потушить не могли,—спрячется огонь въ болото и притаится подъ кочкой на всю зиму, а весной снова вспыхнетъ и снова разольется море огня по смолистымъ лѣсамъ.

Много народу жило по тѣмъ лѣсамъ,—когда я выросъ и побывалъ въ другихъ привольныхъ мѣстахъ, я только дивился, какая невзгода занесла людей въ эти темныя мѣста, въ болотную трясину, къ ржавымъ рѣкамъ. Большихъ селъ не было, да и такихъ, какъ Крутыя Горы съ ихъ пятьюдесятью домами, въ округѣ мало было. Зато маленькими деревушками и небольшими селами наши лѣса были биткомъ набиты. Проѣдешь три-четыре версты—деревушка въ 10—12 дворовъ: маленькая уличка, спиной къ лѣсу, а лицомъ къ рѣчкѣ или бочагамъ оборотилась, а рядомъ сельцо небольшое или погостъ — лѣсная полянка, гдѣ только церковь стоитъ да духовенство живетъ. Богомольный жилъ народъ и много храмовъ понастроилъ, то и дѣло свѣтлые кресты церквей выглядывали изъ-за зеленыхъ елей.

Хорошо въ лѣсу слушать лѣтнимъ утромъ перезвонъ колоколовъ! Со всѣхъ сторонъ несется и все на разные голоса. Вотъ тоненькимъ голосомъ вызваниваетъ маленькій колоколъ деревянной церковки, съ старинной муравленой головой, маленькаго Кудинова, а вотъ важный, чуточку съ хрипотой голосъ богоявленскаго колокола — на Пасхѣ поусердствовали, — треснулъ;—по верхушкамъ деревьевъ заливается веселый звонъ съ переборомъ горловскаго колокола, тамъ пономарь Поликарпъ, мастеръ звонить—старается, а нашъ крутогорскій колоколъ толстымъ голосомъ гудитъ, по низу лѣса идетъ, отъ всѣхъ колоколовъ отличается.

Весело тогда въ лѣсу. Народъ по лѣснымъ тропкамъ въ церкви идетъ, мужики въ суконныхъ поддевкахъ,

сапоги дегтемъ смазаны, бабы въ пунцовыхъ да въ зеленыхъ платкахъ, между взрослыми ребятишки шмыгаютъ, лица умытыя, волосы коровьимъ масломъ намазаны, прямымъ проборомъ расчесаны, у всѣхъ лица радостныя, праздничныя.

Изстари велись люди, хозяйства были крѣпкія, налаженныя, старинныя. Жили большими могучими семьями, дѣлиться—обычая не было; развѣ отвыкшій отъ земли солдатъ со службы вернется, выстроитъ хибарку на задахъ и займется какимъ-нибудь рукомесломъ, что на службѣ научился.

„Гордый крутогорскій мужикъ, силу забралъ“,—говорили про насъ въ округѣ. Помѣщиковъ по нашимъ мѣстамъ мало было насажено, все больше были государственные крестьяне, а мы, крутогорскіе, испоконъ вѣковъ къ царскимъ конюшнямъ были приписаны. Кругомъ по помѣщичьимъ деревнямъ порка шла, гдѣ больше, гдѣ меньше—по барину глядя, а за все дѣтство я какъ-то и припомнить не могу, чтобы у насъ кого-нибудь пороли.

Крѣпкій, суровый народъ былъ и во всемъ себя строго соблюдалъ. Кабака ближе какъ на пять верстъ не было, про воровство и слыхомъ не слыхать было. Тоже не водилось, чтобы дѣвка родила или жена отъ мужа гуляла—солдатки въ счетъ не шли, на двадцать лѣтъ мужа угоняли, съ тѣхъ и не спрашивали. Подати очищали во-время и копеечка на черный день водилась. Прижимисто жили,—„сѣренько, да тепленько“, говаривала бабушка.

Работали много. Земля была суровая, не ласковая, съ глинцей да съ песочкомъ, да съ мочежинами, просила навозу и большой работы, хлѣба родила самъ-третей и хлѣба все черные—рожь да овесъ да гречиху, горохи, льны. Ни пшеницы, ни проса не родила и гречиха не всякій годъ удавалась—нѣтъ, нѣтъ, да и прихватитъ морозомъ. Зато вѣрная земля была, надежная:

если доходу большого не давала, зато и неурожаевъ не было. Что положилъ въ нее работы, то и отдаетъ. Работать нужно было наспѣхъ, рвать-работать. Дождливое лѣто выпадетъ,—урывай ясные дни, безъ сѣна останешься, ржи въ копнахъ прорастутъ; сухо да жарко—хлипкая какая-то рожь была, потечетъ зерно какъ вода,—не опаздывай. И хлѣба въ перегонку одинъ за другимъ шли: только что съ рожью управишься, овсы пойдутъ, горохъ, гречиха... Спать ужъ некогда. Забудется человѣкъ на два, на три часа и опять въ поле жилы изъ себя вытягивать. Похудѣетъ мужикъ, съ лица спадетъ, баба съ жнитва идетъ,—вѣтромъ качаетъ. А тутъ озими сѣять надо, августъ — бабій мѣсяцъ — подойдетъ, заморозки начнутся, съ огурцами поспѣвай, съ картошкой, рѣпой, капустой.

Не оглянешься. лѣто и кончилось. Въ сентябрѣ ужъ дожди пойдутъ, съ Рождества Богородицы лучину по избамъ зажгутъ, по гумнамъ молотьба пойдетъ и начнутся тутъ долгія осеннія сумерки, съ сѣрыми туманами, съ неперестающими моросить дождями. Расползутся дороги, въ городъ поѣдутъ—межниками норовятъ, пять верстъ крюку сдѣлаютъ, чтобы гору глинистую, въ которую съ возомъ не выѣдешь, кругомъ объѣхать. Печальное это время въ нашихъ мѣстахъ. Капаютъ деревья въ лѣсу, капаютъ намокшія соломенныя крыши, слезятся маленькія зеленоватыя оконца... Холодныя и сырыя тучи низко плывутъ надъ деревьями, не то дождь, не то туманъ—мокреть какая-то стоитъ въ воздухѣ... Зато въ избахъ раздолье и веселье. Скотину бьютъ; мясо ѣдятъ, посидѣлки всякія, свадьбы играютъ. По вечерамъ пряжу прядутъ, бабы станы становятъ холсты ткать, а дѣвки соберутся пять-десять и снимутъ избу у кого-нибудь на задворкахъ—[illegible] насъ такія избы назывались—[illegible] полагается, за тепло да за свѣтъ [illegible] Алексѣя Софроныча, нашего [illegible]

управляющимъ на большой фабрикѣ верстъ за двадцать и раздававшаго по деревнямъ основы.

Подойдетъ зима, занесетъ избы снѣгомъ по самыя стропила и замретъ жизнь въ маленькихъ деревушкахъ—ни проходу, ни проѣзду. Метели метутъ, вьюги вьютъ, по ночамъ волкъ голодный воетъ, кругомъ деревень рыщетъ; заяцъ бѣлую шубу надѣнетъ, изрисуетъ снѣгъ своими путанными слѣдами.

Отоспится тогда мужикъ за лѣто. Походитъ съ топоромъ около избы, корму скотинѣ задастъ, въ лѣсъ за дровами съѣздитъ; на лыжахъ объѣздитъ свои немудреные капканы да самоловы, поѣмотрѣть, не попался ли какой глупый звѣрь, возъ овса въ городъ свезетъ, по плотничной части по округѣ немножко займется и опять на полати, на теплую печку слушать, какъ бабьи веретена жужжатъ, да дѣвки надъ станами пѣсни поютъ.

Какъ все далеко было отъ насъ! Были старухи, прожившія всю жизнь, не побывавши въ нашемъ уѣздномъ городѣ; губернскій городъ знало только духовенство, да тѣ мужики, которымъ приходилось ѣздить къ архіерею, если сыну или дочери года не выходили для вѣнца, а о Москвѣ—всего отъ насъ сто съ чѣмъ-то верстъ была—только и знали, что богомолки разсказывали, да отецъ Платонъ, въ молодыхъ годахъ раза два ѣздившій туда, когда былъ живъ еще дядя его, казначей одного изъ московскихъ монастырей. А что за Москвой — неизвѣстно. Есть гдѣ-то Петербургъ городъ—царь тамъ живетъ, Нижній—оттуда купцы паши товары привозили; должно быть, гдѣ-нибудь за нимъ Кіевъ—городъ, гдѣ много угодниковъ Божіихъ почиваетъ, Троица-Сергій, Воронежъ, Казань городъ есть, татары оттуда съ медвѣдями приходили... Больше городовъ я въ дѣтствѣ не слыхалъ, не считая нашихъ уѣздныхъ, гдѣ разная родня жила.

Какіе тамъ люди живутъ и какъ живутъ--въ точности неизвѣстно было,—много отставные солдаты сказывали, да не больно имъ вѣрили. И никакихъ иностранцевъ, кромѣ тѣхъ же татаръ, да нѣмца Карла Адамовича—богоявленскаго управителя--мы не видали.

Помню, какую сенсацію произвело на крутогорской улицѣ извѣстіе, что хохла привезли. Раннимъ утромъ бѣжали мужики и бабы, старъ и младъ, къ конторѣ Алексѣя Софроныча, который откуда-то изъ Харькова съ ярмарки привезъ наканунѣ вечеромъ хохла въ качествѣ служащаго. Въ конторѣ было биткомъ набито. Народъ столпился въ сѣняхъ, облѣпилъ окна. За прилавкомъ сидѣлъ молоденькій хохликъ, съ коротко, какъ у насъ ходили только одни семинаристы, остриженными черными волосами, въ невиданной у насъ на селѣ свиткѣ и растерянными немного испуганными глазами озирался на обступившую его и съ безцеремоннымъ любопытствомъ разсматривавшую толпу. Съ нимъ заговаривали, но онъ, очевидно, не понималъ. Въ толпѣ разсуждали, изъ какихъ онъ народовъ.

Кузька-шестипалый сдѣлалъ изъ полы свиное ухо, какъ дразнили у насъ татаръ, и показалъ его хохлу.

— Чать онъ кщёный!—раздался голосъ въ заднихъ рядахъ.

— Ври больше! — увѣренно отвѣтилъ Кузька. — Развѣ ихъ кстятъ, хохловъ-то! — Но, должно быть, у Кузьки все-таки явилось сомнѣніе.

-- А ну перекстись!—обратился онъ къ хохлу. Тотъ перекрестился. Это произвело превосходное впечатлѣніе на публику и всѣ очень обрадовались.

— Робя, кстится!--закричали заднимъ рядамъ, которымъ было не видно.—Вотъ-те Христосъ, перекстился! Смѣется, робя!

Хохолъ тоже повеселѣлъ и улыбнулся. Какая-то сердобольная баба причитала въ окно:

— Молоденькій, дѣвоньки!... Должно, сирота, безъ

отца—безъ матери... Привезли сердешнаго на чужую сторону...

Отношенія съ хохломъ очень скоро установились самыя дружескія, онъ выучился крутогорскому языку, участвовалъ въ хороводахъ, въ посидѣлкахъ; но, должно быть, наши мѣста все-таки не полюбились ему и черезъ полгода онъ уѣхалъ въ свою сторону.

Такъ трудно было выбираться изъ Крутыхъ Горъ... Тридцать верстъ считалось уже длиннымъ путемъ, а поѣздка къ о. Никифору, брату бабушки, жившему за 60 верстъ отъ насъ, было уже большимъ путешествіемъ и предпринималось разъ въ два-три года.

Еще задолго до поѣздки отецъ начиналъ прикармливать Сивка болтушкой изъ высѣвокъ и овсомъ, а наканунѣ батюшка служилъ молебенъ „въ путь шествующимъ". Долго и подробно давались матери наставленія, какъ и что въ случаѣ чего, вся семья на минутку присаживалась въ торжественномъ молчаніи, потомъ молились на образа и прощались самымъ настоящимъ образомъ, какъ будто дѣло шло объ Америкѣ или Австраліи. Всѣ провожали на крыльцо и напутствовали и долго смотрѣли вслѣдъ, пока Сивко мелкой трусцой не скрывался за крайней избой села. Тогда отецъ снималъ старую порыжѣлую шляпу, которую онъ всегда надѣвалъ въ лѣтнюю дорогу и въ которой разъ курица цыплятъ вывела, и начиналъ осматривать, все ли въ порядкѣ въ нагруженной и покрытой кожей телѣгѣ, на мѣстѣ ли овесъ и сѣно и дегтярница, привязывавшаяся подъ телѣгой, и топоръ въ передкѣ, на случай чека потеряется, и въ задкѣ тяжелый безмѣнъ—единственные вѣсы, которые я зналъ въ дѣтствѣ, который всегда брали въ дорогу на случай встрѣчи съ лихими людьми.

Лихихъ людей въ то время еще порядочно водилось

по нашимъ мѣстамъ, и въ этомъ смыслѣ путешествіе далеко не такъ просто было, какъ теперь. Собственно въ нашей округѣ никакихъ разбойниковъ не было,— развѣ изрѣдка пройдетъ слухъ, что гдѣ-нибудь около Поганаго болота прячется бѣглый солдатъ, служившій вѣчнымъ пугаломъ для дѣвокъ и бабъ; но приблизительно на полдорогѣ нужно было выѣзжать на страшный трактъ, гдѣ были изстари знаменитыя „фроловскія горы--селезневскіе воры". Какъ деревня дяди Селивана изстари поставляла во всѣ окружныя мѣста пастуховъ, такъ селезневскіе мужики всегда занимались разбоями.

Мѣсто для ихъ ремесла было очень удобное: прямо передъ деревней поднималась крутая глинистая гора, а за горой на десять верстъ, по топкому болоту, тянулась гать, по которой и шагомъ проѣхать было трудно, а погнать рысью нельзя было и думать.

Въ Фроловкѣ передъ спускомъ съ горы отецъ всегда ночевалъ; двадцать пять верстъ онъ считалъ большимъ концомъ для лошади и потомъ, какъ ни удобно Селезневка была приспособлена для разбоевъ, селезневскіе мужики все же предпочитали заниматься своимъ ремесломъ подъ вечеръ и ночью; потому отецъ выѣзжалъ съ ночлега рано утромъ, чтобы проѣхать гать днемъ. Въѣзжая на гать, отецъ слѣзалъ съ телѣги и крѣпко подтягивался поясомъ, вынималъ изъ задка безмѣнъ и клалъ сверху телѣги, чтобы подъ рукой былъ.

Жутко было идти эти десять верстъ, прыгая съ бревна на бревно, минуя провалы, гдѣ можно было увязнуть въ топи, поминутно прислушиваясь, не хрустнетъ ли гдѣ, не зашевелятся ли кусты въ этихъ двухъ стѣнахъ огромнаго лѣса, въ которыхъ въ самый ясный день было полутемно, и напряженно всматриваясь, что̀ тамъ впереди между кустами хоронится—пень ли обломанный, или человѣкъ съ дубиной.

И только когда проѣзжали гать, напряженное мол-

чаніе, въ которомъ мы шли, кончалось, отецъ весело крестился и, оглядываясь назадъ, начиналъ разсказывать разныя исторіи изъ своего дѣтства, когда ихъ, семинаристовъ, на нѣсколькихъ подводахъ, собравши со всей округи, возили въ семинарію черезъ Селезневку и когда эта гать была еще страшнѣе, и чаще были убійства, и атаманомъ шайки былъ священникъ съ причтомъ и церковнымъ старостой.

Мнѣ пришлось услыхать „караулъ“ въ темную осеннюю ночь на этой гати. Передо мною зіяла черная бездонная пасть лѣса, съ угрюмой угрозой несся тревожный шумъ по верхушкамъ деревьевъ. Обезумѣвшій человѣкъ то безтолково метался у нашей телѣги, то бросался въ лѣсъ, куда у него угнали лошадь съ товаромъ, и тонулъ въ темной глуби, и оттуда, словно раздирая эту сгустившуюся тьму, эту напряженную тишину, неслось отчаянное, протяжное:

— Кара-у-улъ, кара-у-улъ!

Долго потомъ просыпался я по ночамъ отъ этого крика и дыбомъ вставали мои волосы, и ничего во всю мою жизнь я не слыхалъ страшнѣе, чѣмъ это ужасное „караулъ!“, въ ту темную ночь, на той страшной гати.

Не одни лихіе люди запирали по домамъ деревенскихъ жителей. Осенью распутица не пуститъ, весной рѣченки разыграются, посносятъ жидкіе мосты и нужно ждать, пока спадетъ вода и можно будетъ переѣзжать въ бродъ. Лѣтомъ оводъ зарѣжетъ, въ лютыя зимы волки собирались стаями, и хоть не каждый годъ, а бывали худые случаи съ тѣми, кто не поостерегся,—не вернулся домой засвѣтло, задремалъ въ сапяхъ и лошадь завезла на лѣсную дорожку...

Давно бы ужъ въ городъ нужно—и мука пшеничная вышла, и постнымъ масломъ подбились, и самоваръ вторую недѣлю не ставятъ—чай вышелъ, и отецъ все ждетъ, не будетъ ли оказіи, не поѣдутъ ли Карасевы, которымъ не миновать съ овсомъ въ городъ ѣхать.

А Карасевы тоже ждутъ, пока дорога просохнетъ, тоже лошадей маять не охота.

Да и не зачѣмъ было далеко ѣздить деревенскому человѣку, не очень много нужно было ему, а то, что нужно, онъ дома находилъ. Тихо внутри своего села, много-много волости и уѣзда, текла крутогорская жизнь.

Ѣли все свое, домашнее, и въ городѣ покупали только соль, да пшено, да пшеничную муку, вечерами жгли лучину, за лаптями тоже не надо было въ городъ ходить, изъ своего льна и конопли ткали холсты, изъ овчинъ своихъ овецъ шили полушубки и тулупы. А нужные люди сами приходили. Осенью, когда приканчивалась молотьба, къ намъ пріѣзжали крашенинники и красили холсты въ синюю краску, являлись шерстобиты и валяли всему селу валенки, приходили портные,—недалеко отъ дяди Селивана-пастуха цѣлая деревня занималась,—они переходили изъ избы въ избу, молодыхъ парней снабжали поддевками, а дѣвокъ шушунами и шубками, попамъ шили полукафтанья, а изъ старыхъ рясъ и отслужившихъ службу салоповъ всякіе костюмы для дѣтей. Наѣзжалъ щепетильникъ Иванъ Прокофьичъ и привозилъ въ своихъ сундучкахъ нитки, иголки, булавки и аглицкаго милорда, и Іоанна Златоуста, и всякихъ генераловъ, и образа, нужные деревенскому человѣку, которые писали тоже въ деревняхъ недалеко отъ насъ—Николу зимняго и Николу вёшняго, и Егорія, и Флора-Лавра, и Зосиму-Савватея, и Кузьму-Демьяна. Весной ѣздили по деревнямъ купцы съ серпами и косами. Если въ избѣ не случалось денегъ, купцы мѣняли свои товары на всякое деревенское добро—и тминъ-анисъ принимали, и масло топленое, и медъ.

Въ Антошкинѣ на Николу вёшняго, а у насъ на второй Спасъ „торги“ пріѣзжали, и тутъ, какъ въ го-

родѣ, все было—и ситцы, и кумачи, и полусапожки, и платки бабьи, и сласти всякія. Тогда все, что угодно, купить можно было. И лемеха, и сошники, и деготь, и соль, и колеса, и станы къ телѣгамъ, а на выгонѣ цѣлый день галдёжъ стоялъ, юркіе цыгане бѣгали въ поту, съ кнутовищами за поясомъ, мужики, навалившись въ телѣгу по шестеро, лошадей пробовали.

Кузнецъ свой былъ—Карасевъ родъ изстари кузнечилъ, какъ бабушкинъ родъ священствовалъ,—и дядя Филатъ—свой бондарь былъ, у дѣдушки Карпа маслобойка была, хорошее конопляное масло жала, а черезъ бочаги, въ барской деревнѣ, жилъ отставной солдатъ, который могъ и подметку подложить, и валенки кожей обсоюзить, и хотя козловыхъ сапогъ парнямъ не дѣлалъ, зато серьезнымъ мужикамъ, не гнавшимся за фасономъ, такіе сапоги шилъ, которымъ и вѣку не было.

И всякая деревня, кромѣ земли, имѣла еще какое-нибудь занятіе. Богоявленскіе мужики дуги гнули,—такая у нихъ ветла способная росла; въ Кудиновѣ капусту сажали, на всю округу продавали; горловскіе—садами себѣ подсобляли, яблоко родилось у нихъ прочное, а наши крутогорскіе—первые плотники были, артелями ходили, дома строили, рамы дѣлали, сани, не больно мудреныя; дѣвки на станахъ сряду себѣ добывали.

И выходило, что въ городъ почти не зачѣмъ было ѣздить,—развѣ парня да дѣвку къ свадьбѣ срядить, да къ праздникамъ запасы сдѣлать—муки пшеничной, баранокъ ребятишкамъ, чайку, сахарку,—глядя на духовенство и мужики въ двухъ-трехъ домахъ баловаться стали.

По старинѣ велось... Какъ „баяли“ и „цокали“ въ старыя времена, такъ и во время моего дѣтства, наканунѣ воли и также считали на ассигнаціи, на семитки, „гривны“, „алтыны“, и ту же крашенину носили. Я еще видѣлъ

крыши. Такъ и горятъ лѣса и деревни, пока не потушатъ осенніе дожди, не засыплютъ снѣгомъ зимнія вьюги, а случалось и они потушить не могли,—спрячется огонь въ болото и притаится подъ кочкой на всю зиму, а весной снова вспыхнетъ и снова разольется море огня по смолистымъ лѣсамъ.

Много народу жило по тѣмъ лѣсамъ,—когда я выросъ и побывалъ въ другихъ привольныхъ мѣстахъ, я только дивился, какая невзгода занесла людей въ эти темныя мѣста, въ болотную трясину, къ ржавымъ рѣкамъ. Большихъ селъ не было, да и такихъ, какъ Крутыя Горы съ ихъ пятьюдесятью домами, въ округѣ мало было. Зато маленькими деревушками и небольшими селами наши лѣса были биткомъ набиты. Проѣдешь три-четыре версты—деревушка въ 10—12 дворовъ: маленькая уличка, спиной къ лѣсу, а лицомъ къ рѣчкѣ или бочагамъ оборотилась, а рядомъ сельцо небольшое или погостъ — лѣсная полянка, гдѣ только церковь стоитъ да духовенство живетъ. Богомольный жилъ народъ и много храмовъ понастроилъ, то и дѣло свѣтлые кресты церквей выглядывали изъ-за зеленыхъ елей.

Хорошо въ лѣсу слушать лѣтнимъ утромъ перезвонъ колоколовъ! Со всѣхъ сторонъ несется и все на разные голоса. Вотъ тоненькимъ голосомъ вызваниваетъ маленькій колоколъ деревянной церковки, съ старинной муравленой головой, маленькаго Кудинова, а вотъ важный, чуточку съ хрипотой голосъ богоявленскаго колокола — на Пасхѣ поусердствовали, — треснулъ;—по верхушкамъ деревьевъ заливается веселый звонъ съ переборомъ горловскаго колокола, тамъ пономарь Поликарпъ, мастеръ звонить—старается, а нашъ крутогорскій колоколъ толстымъ голосомъ гудитъ, по низу лѣса идетъ, отъ всѣхъ колоколовъ отличается.

Весело тогда въ лѣсу. Народъ по лѣснымъ тропкамъ въ церкви идетъ, мужики въ суконныхъ поддевкахъ,

сапоги дегтемъ смазаны, бабы въ пунцовыхъ да въ зеленыхъ платкахъ, между взрослыми ребятишки шмыгаютъ, лица умытыя, волосы коровьимъ масломъ намазаны, прямымъ проборомъ расчесаны, у всѣхъ лица радостныя, праздничныя.

Изстари велись люди, хозяйства были крѣпкія, налаженныя, старинныя. Жили большими могучими семьями, дѣлиться—обычая не было; развѣ отвыкшій отъ земли солдатъ со службы вернется, выстроитъ хибарку на задахъ и займется какимъ-нибудь рукомесломъ, что на службѣ научился.

„Гордый крутогорскій мужикъ, силу забралъ“,— говорили про насъ въ округѣ. Помѣщиковъ по нашимъ мѣстамъ мало было насажено, все больше были государственные крестьяне, а мы, крутогорскіе, испоконъ вѣковъ къ царскимъ конюшнямъ были приписаны. Кругомъ по помѣщичьимъ деревнямъ порка шла, гдѣ больше, гдѣ меньше—по барину глядя, а за все дѣтство я какъ-то и припомнить не могу, чтобы у насъ кого-нибудь пороли.

Крѣпкій, суровый народъ былъ и во всемъ себя строго соблюдалъ. Кабака ближе какъ на пять верстъ не было, про воровство и слыхомъ не слыхать было. Тоже не водилось, чтобы дѣвка родила или жена отъ мужа гуляла—солдатки въ счетъ не шли, на двадцать лѣтъ мужа угоняли, съ тѣхъ и не спрашивали. Подати очищали во-время и копеечка на черный день водилась. Прижимисто жили,— „сѣренько, да тепленько“, говаривала бабушка.

Работали много. Земля была суровая, не ласковая, съ глинцей да съ песочкомъ, да съ мочежинами, просила навозу и большой работы, хлѣба родила самъ-третей и хлѣба все черные—рожь да овесъ да гречиху, горохи, льны. Ни пшеницы, ни проса не родила и гречиха не всякій годъ удавалась—нѣтъ, нѣтъ, да и прихватитъ морозомъ. Зато вѣрная земля была, надежная:

если доходу большого не давала, зато и неурожаевъ не было. Что положилъ въ нее работы, то и отдаетъ. Работать нужно было наспѣхъ, рвать-работать. Дождливое лѣто выпадетъ,—урывай ясные дни, безъ сѣна останешься, ржи въ копнахъ прорастутъ; сухо да жарко—хлипкая какая-то рожь была, потечетъ зерно какъ вода,—не опаздывай. И хлѣба въ перегонку одинъ за другимъ шли: только что съ рожью управишься, овсы пойдутъ, горохъ, гречиха... Спать ужъ некогда. Забудется человѣкъ на два, на три часа и опять въ поле жилы изъ себя вытягивать. Похудѣетъ мужикъ, съ лица спадетъ, баба съ жнитва идетъ,—вѣтромъ качаетъ. А тутъ озими сѣять надо, августъ — бабій мѣсяцъ — подойдетъ, заморозки начнутся, съ огурцами поспѣвай, съ картошкой, рѣпой, капустой.

Не оглянешься, лѣто и кончилось. Въ сентябрѣ ужъ дожди пойдутъ, съ Рождества Богородицы лучину по избамъ зажгутъ, по гумнамъ молотьба пойдетъ и начнутся тутъ долгія осеннія сумерки, съ сѣрыми туманами, съ неперестающими моросить дождями. Расползутся дороги, въ городъ поѣдутъ—межниками норовятъ, пять верстъ крюку сдѣлаютъ, чтобы гору глинистую, въ которую съ возомъ не выѣдешь, кругомъ объѣхать. Печальное это время въ нашихъ мѣстахъ. Капаютъ деревья въ лѣсу, капаютъ намокшія соломенныя крыши, слезятся маленькія зеленоватыя оконца... Холодныя и сырыя тучи низко плывутъ надъ деревьями, не то дождь, не то туманъ—мокреть какая-то стоитъ въ воздухѣ... Зато въ избахъ раздолье и веселье. Скотину бьютъ; мясо ѣдятъ, посидѣлки всякія, свадьбы играютъ. По вечерамъ пряжу прядутъ, бабы станы становятъ холсты ткать, а дѣвки соберутся пять-десять и снимутъ избу у кого-нибудь на задворкахъ—фабриками у насъ такія избы назывались — заплатятъ хозяину, что полагается, за тепло да за свѣтъ и ткутъ всю зиму на Алексѣя Софроныча, нашего же мужика, служившаго

управляющимъ на большой фабрикѣ верстъ за двадцать и раздававшаго по деревнямъ основы.

Подойдетъ зима, занесетъ избы снѣгомъ по самыя стропила и замретъ жизнь въ маленькихъ деревушкахъ—ни проходу, ни проѣзду. Метели метутъ, вьюги вьютъ, по ночамъ волкъ голодный воетъ, кругомъ деревень рыщетъ; заяцъ бѣлую шубу надѣнетъ, изрисуетъ снѣгъ своими путанными слѣдами.

Отоспится тогда мужикъ за лѣто. Походитъ съ топоромъ около избы, корму скотинѣ задастъ, въ лѣсъ за дровами съѣздитъ; на лыжахъ объѣздитъ свои немудреные капканы да самоловы, поѣмотрѣть, не попался ли какой глупый звѣрь, возъ овса въ городъ свезетъ, по плотничной части по округѣ немножко займется и опять на полати, на теплую печку слушать, какъ бабьи веретена жужжатъ, да дѣвки надъ станами пѣсни поютъ.

Какъ все далеко было отъ насъ! Были старухи, прожившія всю жизнь, не побывавши въ нашемъ уѣздномъ городѣ; губернскій городъ знало только духовенство, да тѣ мужики, которымъ приходилось ѣздить къ архіерею, если сыну или дочери года не выходили для вѣнца, а о Москвѣ—всего отъ насъ сто съ чѣмъ-то верстъ была—только и знали, что богомолки разсказывали, да отецъ Платонъ, въ молодыхъ годахъ раза два ѣздившій туда, когда былъ живъ еще дядя его, казначей одного изъ московскихъ монастырей. А что за Москвой — неизвѣстно. Есть гдѣ-то Петербургъ городъ—царь тамъ живетъ, Нижній—оттуда купцы наши товары привозили; должно быть, гдѣ-нибудь за нимъ Кіевъ—городъ, гдѣ много угодниковъ Божіихъ почиваетъ, Троица-Сергій, Воронежъ, Казань городъ есть, татары оттуда съ медвѣдями приходили... Больше городовъ я въ дѣтствѣ не слыхалъ, не считая нашихъ уѣздныхъ, гдѣ разная родня жила.

Какіе тамъ люди живутъ и какъ живутъ--въ точности неизвѣстно было,—много отставные солдаты сказывали, да не больно имъ вѣрили. И никакихъ иностранцевъ, кромѣ тѣхъ же татаръ, да нѣмца Карла Адамовича—богоявленскаго управителя--мы не видали.

Помню, какую сенсацію произвело на крутогорской улицѣ извѣстіе, что хохла привезли. Раннимъ утромъ бѣжали мужики и бабы, старъ и младъ, къ конторѣ Алексѣя Софроныча, который откуда-то изъ Харькова съ ярмарки привезъ наканунѣ вечеромъ хохла въ качествѣ служащаго. Въ конторѣ было биткомъ набито. Народъ столпился въ сѣняхъ, облѣпилъ окна. За прилавкомъ сидѣлъ молоденькій хохликъ, съ коротко, какъ у насъ ходили только одни семинаристы, остриженными черными волосами, въ невиданной у насъ на селѣ свиткѣ и растерянными немного испуганными глазами озирался на обступившую его и съ безцеремоннымъ любопытствомъ разсматривавшую толпу. Съ нимъ заговаривали, но онъ, очевидно, не понималъ. Въ толпѣ разсуждали, изъ какихъ онъ народовъ.

Кузька-шестипалый сдѣлалъ изъ полы свиное ухо, какъ дразнили у насъ татаръ, и показалъ его хохлу.

— Чать онъ кщёный!—раздался голосъ въ заднихъ рядахъ.

— Ври больше! — увѣренно отвѣтилъ Кузька. — Развѣ ихъ кстятъ, хохловъ-то! — Но, должно быть, у Кузьки все-таки явилось сомнѣніе.

-- А ну перекстись!—обратился онъ къ хохлу. Тотъ перекрестился. Это произвело превосходное впечатлѣніе на публику и всѣ очень обрадовались.

— Робя, кстится!--закричали заднимъ рядамъ, которымъ было не видно.—Вотъ-те Христосъ, перекстился! Смѣется, робя!

Хохолъ тоже повеселѣлъ и улыбнулся. Какая-то сердобольная баба причитала въ окно:

— Молоденькій, дѣвоньки!... Должно, сирота, безъ

отца—безъ матери... Привезли сердешнаго на чужую сторону...

Отношенія съ хохломъ очень скоро установились самыя дружескія, онъ выучился крутогорскому языку, участвовалъ въ хороводахъ, въ посидѣлкахъ; но, должно быть, наши мѣста все-таки не полюбились ему и черезъ полгода онъ уѣхалъ въ свою сторону.

Такъ трудно было выбираться изъ Крутыхъ Горъ... Тридцать верстъ считалось уже длиннымъ путемъ, а поѣздка къ о. Никифору, брату бабушки, жившему за 60 верстъ отъ насъ, было уже большимъ путешествіемъ и предпринималось разъ въ два-три года.

Еще задолго до поѣздки отецъ начиналъ прикармливать Сивка болтушкой изъ высѣвокъ и овсомъ, а наканунѣ батюшка служилъ молебенъ „въ путь шествующимъ“. Долго и подробно давались матери наставленія, какъ и что въ случаѣ чего, вся семья на минутку присаживалась въ торжественномъ молчаніи, потомъ молились на образа и прощались самымъ настоящимъ образомъ, какъ будто дѣло шло объ Америкѣ или Австраліи. Всѣ провожали на крыльцо и напутствовали и долго смотрѣли вслѣдъ, пока Сивко мелкой трусцой не скрывался за крайней избой села. Тогда отецъ снималъ старую порыжѣлую шляпу, которую онъ всегда надѣвалъ въ лѣтнюю дорогу и въ которой разъ курица цыплятъ вывела, и начиналъ осматривать, все ли въ порядкѣ въ нагруженной и покрытой кожей телѣгѣ, на мѣстѣ ли овесъ и сѣно и дегтярница, привязывавшаяся подъ телѣгой, и топоръ въ передкѣ, на случай чека потеряется, и въ задкѣ тяжелый безмѣнъ—единственные вѣсы, которые я зналъ въ дѣтствѣ, который всегда брали въ дорогу на случай встрѣчи съ лихими людьми.

Лихихъ людей въ то время еще порядочно водилось

по нашимъ мѣстамъ, и въ этомъ смыслѣ путешествіе далеко не такъ просто было, какъ теперь. Собственно въ нашей округѣ никакихъ разбойниковъ не было,— развѣ изрѣдка пройдетъ слухъ, что гдѣ-нибудь около Поганаго болота прячется бѣглый солдатъ, служившій вѣчнымъ пугаломъ для дѣвокъ и бабъ; но приблизительно на полдорогѣ нужно было выѣзжать на страшный трактъ, гдѣ были изстари знаменитыя „фроловскія горы--селезневскіе воры“. Какъ деревня дяди Селивана изстари поставляла во всѣ окружныя мѣста пастуховъ, такъ селезневскіе мужики всегда занимались разбоями.

Мѣсто для ихъ ремесла было очень удобное: прямо передъ деревней поднималась крутая глинистая гора, а за горой на десять верстъ, по топкому болоту, тянулась гать, по которой и шагомъ проѣхать было трудно, а погнать рысью нельзя было и думать.

Въ Фроловкѣ передъ спускомъ съ горы отецъ всегда ночевалъ; двадцать пять верстъ онъ считалъ большимъ концомъ для лошади и потомъ, какъ ни удобно Селезневка была приспособлена для разбоевъ, селезневскіе мужики все же предпочитали заниматься своимъ ремесломъ подъ вечеръ и ночью; потому отецъ выѣзжалъ съ ночлега рано утромъ, чтобы проѣхать гать днемъ. Въѣзжая на гать, отецъ слѣзалъ съ телѣги и крѣпко подтягивался поясомъ, вынималъ изъ задка безмѣнъ и клалъ сверху телѣги, чтобы подъ рукой былъ.

Жутко было идти эти десять верстъ, прыгая съ бревна на бревно, минуя провалы, гдѣ можно было увязнуть въ топи, поминутно прислушиваясь, не хрустнетъ ли гдѣ, не зашевелятся ли кусты въ этихъ двухъ стѣнахъ огромнаго лѣса, въ которыхъ въ самый ясный день было полутемно, и напряженно всматриваясь, что̀ тамъ впереди между кустами хоронится—пень ли обломанный, или человѣкъ съ дубиной.

И только когда проѣзжали гать, напряженное мол-

чаніе, въ которомъ мы шли, кончалось, отецъ весело крестился и, оглядываясь назадъ, начиналъ разсказывать разныя исторіи изъ своего дѣтства, когда ихъ, семинаристовъ, на нѣсколькихъ подводахъ, собравши со всей округи, возили въ семинарію черезъ Селезневку и когда эта гать была еще страшнѣе, и чаще были убійства, и атаманомъ шайки былъ священникъ съ причтомъ и церковнымъ старостой.

Мнѣ пришлось услыхать „караулъ“ въ темную осеннюю ночь на этой гати. Передо мною зіяла черная бездонная пасть лѣса, съ угрюмой угрозой несся тревожный шумъ по верхушкамъ деревьевъ. Обезумѣвшій человѣкъ то безтолково метался у нашей телѣги, то бросался въ лѣсъ, куда у него угнали лошадь съ товаромъ, и тонулъ въ темной глуби, и оттуда, словно раздирая эту сгустившуюся тьму, эту напряженную тишину, неслось отчаянное, протяжное:

— Кара-у-улъ, кара-у-улъ!

Долго потомъ просыпался я по ночамъ отъ этого крика и дыбомъ вставали мои волосы, и ничего во всю мою жизнь я не слыхалъ страшнѣе, чѣмъ это ужасное „караулъ!“, въ ту темную ночь, на той страшной гати.

Не одни лихіе люди запирали по домамъ деревенскихъ жителей. Осенью распутица не пуститъ, весной рѣченки разыграются, посносятъ жидкіе мосты и нужно ждать, пока спадетъ вода и можно будетъ переѣзжать въ бродъ. Лѣтомъ оводъ зарѣжетъ, въ лютыя зимы волки собирались стаями, и хоть не каждый годъ, а бывали худые случаи съ тѣми, кто не поостерегся,—не вернулся домой засвѣтло, задремалъ въ саняхъ и лошадь завезла на лѣсную дорожку...

Давно бы ужъ въ городъ нужно—и мука пшеничная вышла, и постнымъ масломъ подбились, и самоваръ вторую недѣлю не ставятъ—чай вышелъ, и отецъ все ждетъ, не будетъ ли оказіи, не поѣдутъ ли Карасевы, которымъ не миновать съ овсомъ въ городъ ѣхать.

А Карасевы тоже ждутъ, пока дорога просохнетъ, тоже лошадей маять не охота.

Да и не зачѣмъ было далеко ѣздить деревенскому человѣку, не очень много нужно было ему, а то, что нужно, онъ дома находилъ. Тихо внутри своего села, много-много волости и уѣзда, текла крутогорская жизнь.

Ѣли все свое, домашнее, и въ городѣ покупали только соль, да пшено, да пшеничную муку, вечерами жгли лучину, за лаптями тоже не надо было въ городъ ходить, изъ своего льна и конопли ткали холсты, изъ овчинъ своихъ овецъ шили полушубки и тулупы. А нужные люди сами приходили. Осенью, когда приканчивалась молотьба, къ намъ пріѣзжали крашенинники и красили холсты въ синюю краску, являлись шерстобиты и валяли всему селу валенки, приходили портные,—недалеко отъ дяди Селивана-пастуха цѣлая деревня занималась,—они переходили изъ избы въ избу, молодыхъ парней снабжали поддевками, а дѣвокъ шушунами и шубками, попамъ шили полукафтанья, а изъ старыхъ рясъ и отслужившихъ службу салоповъ всякіе костюмы для дѣтей. Наѣзжалъ щепетильникъ Иванъ Прокофьичъ и привозилъ въ своихъ сундучкахъ нитки, иголки, булавки и аглицкаго милорда, и Іоанна Златоуста, и всякихъ генераловъ, и образа, нужные деревенскому человѣку, которые писали тоже въ деревняхъ недалеко отъ насъ—Николу зимняго и Николу вёшняго, и Егорія, и Флора-Лавра, и Зосиму-Савватея, и Кузьму-Демьяна. Весной ѣздили по деревнямъ купцы съ серпами и косами. Если въ избѣ не случалось денегъ, купцы мѣняли свои товары на всякое деревенское добро—и тминъ-анисъ принимали, и масло топленое, и медъ.

Въ Антошкинѣ на Николу вёшняго, а у насъ на второй Спасъ „торги“ пріѣзжали, и тутъ, какъ въ го-

родѣ, все было—и ситцы, и кумачи, и полусапожки, и платки бабьи, и сласти всякія. Тогда все, что угодно, купить можно было. И лемеха, и сошники, и деготь, и соль, и колеса, и станы къ телѣгамъ, а на выгонѣ цѣлый день галдёжъ стоялъ, юркіе цыгане бѣгали въ поту, съ кнутовищами за поясомъ, мужики, навалившись въ телѣгу по шестеро, лошадей пробовали.

Кузнецъ свой былъ—Карасевъ родъ изстари кузнечилъ, какъ бабушкинъ родъ священствовалъ,—и дядя Филатъ—свой бондарь былъ, у дѣдушки Карпа маслобойка была, хорошее конопляное масло жала, а черезъ бочаги, въ барской деревнѣ, жилъ отставной солдатъ, который могъ и подметку подложить, и валенки кожей обсоюзить, и хотя козловыхъ сапогъ парнямъ не дѣлалъ, зато серьезнымъ мужикамъ, не гнавшимся за фасономъ, такіе сапоги шилъ, которымъ и вѣку не было.

И всякая деревня, кромѣ земли, имѣла еще какое-нибудь занятіе. Богоявленскіе мужики дуги гнули,—такая у нихъ ветла способная росла; въ Кудиновѣ капусту сажали, на всю округу продавали; горловскіе—садами себѣ подсобляли, яблоко родилось у нихъ прочное, а наши крутогорскіе—первые плотники были, артелями ходили, дома строили, рамы дѣлали, сани, не больно мудреныя; дѣвки на станахъ сряду себѣ добывали.

И выходило, что въ городъ почти не зачѣмъ было ѣздить,—развѣ парня да дѣвку къ свадьбѣ срядить, да къ праздникамъ запасы сдѣлать—муки пшеничной, баранокъ ребятишкамъ, чайку, сахарку,—глядя на духовенство и мужики въ двухъ-трехъ домахъ баловаться стали.

По старинѣ велось... Какъ „баяли“ и „цокали“ въ старыя времена, такъ и во время моего дѣтства, наканунѣ воли и также считали на ассигнаціи, на семитки, „гривны“, „алтыны“, и ту же крашенину носили. Я еще видѣлъ

на старенькомъ батюшкѣ крашенинную рясу, точь въ точь такую же, какъ ряса преподобнаго Сергія, хранящаяся въ лаврской ризницѣ. И также парились въ печкѣ и большіе, и малые, а бабушка, несмотря на свои семьдесятъ лѣтъ, должно быть, тоже по старинѣ, въ самые лютые морозы шла изъ печки нагая на холодный дворъ и тамъ окачивалась ледяной водой.

Все по старому. Также избы строили, также землю обрабатывали, также мірское пиво варили, также подблюдныя пѣсни пѣли на свадьбахъ, также причитали на похоронахъ. И пѣсни не пѣли, а „играли". Хороводъ мѣрно двигался и пѣлъ, а въ кругу шли цѣлыя представленія. Парень выбиралъ себѣ „ладу милую", кланялся будущему тестю и тещѣ, кругъ постепенно наполнялся шурьями и свояченицами, которыхъ парень, взявши ладу милую, выгонялъ потомъ, приговаривая: „веселъ, я веселъ, что одинъ остался съ своей ладой милою". „Дідъ-ладо" все жилъ въ пѣснѣ и „Дунай, ты мой, Дунай, сынъ Ивановичъ, гуляй",—слышалось въ припѣвахъ.

И также вѣрили и также думали . . . . . .

. . . . . .

Такъ дѣдушки учили, старшіе велятъ, міръ указалъ... Особливаго человѣка не было, были государственные мужики, удѣльные, барскіе, были крутогорскіе мужики, богоявленскіе, кудиновскіе. И всѣ на свой ладъ,—на ярмаркѣ по упряжкѣ, по одежѣ, по разговору отличить можно было, кто откуда. А въ Крутыхъ Горахъ были Карасевы мужики, Лукины, Фетисовы и тоже у всякаго рода своя отмѣтка была. — Карасевы все крупные мужики, черноволосые, скопидомы, неразговорчивые, себѣ-на-умѣ; Фетисовы — веселая семья, бѣлобрысые, мужики щеголи, бабы франтихи, а дѣвки плясуньи и первыя запѣвалы въ хороводѣ, а Лукины—изстари богомольная семья, къ церкви *привержены* и старики все въ церковныхъ старостахъ хо-

дили. И сыновьямъ невѣстъ искали, смотрѣли какого рода, выбирали, чтобы невѣстка къ семьѣ, ко двору пришлась.

А особливаго человѣка не было. Были міряне и не спрашивали: „кто ты?“, а говорили: „чей ты?“, либо: „чьихъ ты?“ и мірянинъ не говорилъ: „я“, а отвѣчалъ: „мы“. Крутогорскіе мы, Лукиныхъ... И когда-когда дознаешься,—Пётра, молъ, звать.

Зачинался человѣкъ, парнишка былъ, какъ молоденькій жеребенокъ безъ пути по лѣсамъ да по лугамъ бѣгалъ, а потомъ въ года входилъ, парнемъ дѣлался. Въ семнадцать съ чѣмъ-нибудь, либо безъ чего-нибудь, женили его, вводили въ житейскія оглобли и дѣлался онъ мужикомъ—Карасевымъ мужикомъ. И не зачѣмъ было ему пути выбирать, порядки налаживать, трудныя думы думать. Все было дѣдушками удумано, порядки налажены, міромъ указано, у старшихъ подъ рукой.

Извѣстно было, что послѣ ржи яровое сѣять надо, а потомъ подъ паръ пустить, дать землѣ вздохнуть, на Егорія скотину выгонять, на Рождество Богородицы лучину зажигать. Жену учить надо,—дѣдушки заказали, чтобы знала, что есть мужъ и чтобы въ домѣ порядокъ былъ,—неладно, когда курица пѣтухомъ кричитъ, а мужняя жена своимъ разумомъ жить зачнетъ. А случится грѣхъ—силенъ лукавый—вселится бѣсъ къ сѣдому въ ребро, зачаститъ большакъ къ солдаткѣ молодой, да начнетъ ей мѣшки съ рожью изъ амбара потаскивать,—сыновья отберутъ у него ключи и матери отдадутъ и станетъ баба домомъ править. И если пожалуется большакъ міру, что сыновья его отъ хозяйства отставили,—старики разсудятъ и за бабой ключи оставятъ, потому что и на дѣдушкиной памяти такія дѣла бывали. Дѣвкамъ съ парнями въ хороводѣ гулять, на задворкахъ цѣловаться и обниматься — заказу не было, а доводить себя до другого дѣла—и роду и всему

селу позоръ, и такихъ дѣлъ въ Крутыхъ Горахъ не водилось. Тоже водку пить не въ положенное время,— не въ праздникъ, не на свадьбѣ, не въ гостяхъ, не на ярмаркѣ—считалось зазорнымъ дѣломъ и непорядкомъ, какъ тоже не порядокъ и не больно ладно было возвращаться изъ гостей, со свадьбы трезвому,—и хозяевъ обидѣть, и самому за себя совѣстно, значитъ угощали плохо. Поэтому, если путемъ и не выпито было, ѣдетъ мужикъ по селу изъ гостей — пѣсни поетъ пьяныя, глаза солòвые сдѣлаетъ, руками машетъ, на всякіе манеры куражится, чтобы пьянѣе вина показаться, а то зоркіе деревенскіе глаза замѣтятъ.

— Не солоно хлебавши ѣдетъ...—скажутъ—только бахвалится, видать и не поднесли путемъ.

. . . . . .

И везетъ мужикъ тяжелую крестьянскую телѣгу по житейскимъ ухабамъ. Дѣтей народитъ, выроститъ, до ума доведетъ, поженитъ, да замужъ выдастъ, а тамъ и старость къ нему подходить будетъ.

Сидитъ старикъ подъ своей яблонью, на солнышкѣ грѣется, думы свои думаетъ. Помнитъ онъ, молоденькая яблонка была, цвѣла въ свое время, тоже по своему пѣсни играла, много яблокъ народила, разрослась во всѣ стороны, а потомъ понемножку сохнуть стала и стоитъ голая и сухая, только зря мѣсто занимаетъ, молодымъ яблокамъ мѣшаетъ... И думаетъ дѣдушка, что все ужъ имъ изжито, что давно и на сходъ не ходитъ, изъ мірскихъ стариковъ отчислился, давно старшему сыну ключи отъ амбаровъ сдалъ, что не можетъ ужъ онъ ни за пчелой смотрѣть, ни съ внучатами няньчиться, понимаетъ дѣдушка, что не порядокъ ему, лишнему человѣку, землю собой тяготить, — и начнетъ онъ смерть звать, Бога молить, чтобы прибралъ поскорѣе... Простится съ землей-кормилицей, лѣсомъ зеленымъ, краснымъ солнышкомъ, съ родными-

близкими, ляжетъ подъ образа въ передній уголъ, гдѣ долго хозяиномъ сидѣлъ, и отходить станетъ.

А на селѣ скажутъ:

— У Фетисовыхъ дѣдушка кончился.

И міряниnъ кончается, а кругомъ другіе міряне зачинаются.

...„О, баю, баю, баю... Не ложися на краю, придетъ сѣренькій волчокъ, схватитъ тебя за бочокъ и потащитъ во лѣсокъ, за ракитовый кустокъ“.

Такъ баюкали насъ матери, и такой печалью звучали материнскіе голоса... Мы вырастали изъ зыбокъ, а унылая пѣсня все плакала въ избѣ, съ жалобнымъ скрипомъ качался оцѣпъ и чудился въ ночной тьмѣ „сѣренькій волчокъ“ за ракитовымъ кустомъ.

А потомъ другія пѣсни слушали мы, другія слова говорили намъ. Про разбойниковъ, про бѣглыхъ солдатъ, про разорваннаго псами мальчика, про ходившую по деревнямъ черную смерть и закопанную живой „чумную дѣвку“.

А потомъ мы начинали понимать, что такое баринъ... Мы, дѣти, боялись самаго слова „баринъ“ и, когда карета генеральши Солтухиной изъ Богоявленскаго проѣзжала чрезъ наше село, прятались въ подворотню, какъ цыплята, надъ которыми нависло темное пятно коршуна. И такъ дрожали, когда крики доносились изъ-за бочага изъ усадьбы Созонта. Тотъ „гордый“ крутогорскій мужикъ, никогда не бывшій барскимъ, при одномъ звукѣ колокольчика, нахлестывалъ свою лошаденку и пихалъ ее въ снѣгъ, когда, бывало, отвозилъ меня въ училище. И смиренно ждутъ наши розвальни и ушедшая по брюхо въ снѣгъ лошадь и стоимъ мы оба, снявши шапки, пока не проѣдетъ енотовая или волчья шуба. Мой отецъ, дьяконъ, когда ѣздилъ къ о. Платону, старался объѣхать подальше усадьбу, а если все-таки при-

ходилось проѣзжать мимо барскаго дома, пускалъ свою лошадь шагомъ и, свѣсивши ноги на облучкѣ, пристально всматривался въ террасу и въ окна, чтобы не пропустить снять шляпу—поклониться барскому лицу. И не смѣлъ онъ ударить безмѣномъ барскихъ псовъ, хватавшихъ лошадь за морду и пріученыхъ бросаться только на деревенскія телѣги, на одѣтыхъ по-крестьянски людей. . . . . .

. . . . . .

Насъ обнимали своей властью лѣса и болота, и разливающіяся рѣки, и зимнія вьюги, и всюду былъ *онъ*, тотъ „цорный“, незнаемый-знаемый, утренній и полуденный, и полунощный, который былъ и отъ стремнины, и отъ кладезя, и отъ непосѣщаемаго мѣста, и отъ покрова баннаго, которымъ былъ полонъ міръ.

Страшенъ былъ Вельзевулъ. Онъ сидѣлъ на стѣнѣ нашей церкви, занимая весь уголъ отъ пола до потолка, - огромный, темный, мохнатый. Длинный хвостъ свивался въ кольца и оканчивался острымъ концомъ, похожимъ на стрѣлу, большіе рога были загнуты назадъ, изъ открытой пасти съ страшными зубами вырывалось пламя и высовывался длинный красный языкъ. Правой рукой онъ замахивался огненнымъ вѣникомъ, а въ лѣвой—держалъ желѣзную цѣпь, къ которой были привязаны за шеи грѣшники.

И длинная вереница грѣшныхъ людей тянулась по всей стѣнѣ вплоть до алтаря, до другого угла, изъ котораго огромными красными языками вырывалось пламя,—впереди шли старцы въ митрахъ, монахи въ черныхъ клобукахъ, военачальники въ панцыряхъ съ копьями въ рукахъ, а за ними черный народъ.

Какъ мы боялись этого страшнаго чорта! Никто изъ ребятъ не становился у стѣны, гдѣ извивался длинный хвостъ чорта, мое мѣсто было на клиросѣ у самаго пламени, и я всегда чувствовалъ себя спокойнѣе, если

высокій Максимъ, Карповъ сынъ, стоялъ между мной и старцами въ митрахъ.

И не одни мы боялись. Какъ ни преслѣдовалъ батюшка, говорившій даже проповѣди объ этомъ,—время отъ времени на стѣнѣ противъ козлиной бороды чорта оказывалась прилѣпленной горящая восковая свѣчка, поставленная „на всякій случай“ какой-нибудь пугливой бабой. И какъ ни стиралъ нашъ пономарь,—это мѣсто на стѣнѣ было всегда закапано воскомъ и красный языкъ чорта даже закоптѣлъ посединѣ. И невольно во время всенощной, когда скудно освѣщалась наша церковь, я оглядывался назадъ и съ испугомъ смотрѣлъ, какъ въ неровномъ пламени неугасимыхъ лампадъ предо мной выступалъ то выкаченный бычій глазъ чорта, то его огромные загнутые рога. . . .

. . . . . .

Правда, и народу православному помощь была. Господь Саваоѳъ въ крѣпкихъ рукахъ миръ держалъ, не давалъ ходу Вельзевулу, по сторонамъ престола Его архистратиги Гавріилъ и Михаилъ стояли съ огненными крыльями и огненными мечами и всегда поражали слугъ Вельзевуловыхъ. Сынъ Божій Іисусъ Христосъ—всякому бѣдному человѣку первый Заступникъ и Божья Матерь — объ женскомъ полѣ и объ дѣтяхъ неустанная Заботница и Предстательница. И по домашности на каждый предметъ свой заступникъ былъ, съ конемъ худо случится, — Егорію молебенъ служили, конный былъ святой, насчетъ прочаго скота Фролу-Лавру; Зосиму-Савватія въ пчельникъ ставили—для пчелъ хороши были, отъ клоповъ Кирику-Улиту на стѣнахъ писали, Пантелеймонъ-Цѣлитель отъ недуговъ помогалъ. А Никола Милостивый во всѣхъ бѣдахъ первый заступникъ и русскому человѣку завсегда помога. Особливо поля берегъ крестьянскія, хлѣба всякіе и потому вездѣ средь полей на перекресткахъ столбикъ стоялъ съ навѣсикомъ и подъ навѣсикомъ

Никола Милостивый сидѣлъ, денно и нощно, изъ вѣка вѣкъ на поля глядючи...

А кромѣ того, у каждаго человѣка свой святой былъ заступникъ, чье имя носилъ онъ. И святыхъ больше изъ своихъ мѣстъ выбирали, которые ближе,—на знати, поэтому кромѣ Григорія-Богослова, Іоанна-Златоуста и Василія-Великаго и Московскихъ Святителей, которыхъ по старинѣ почитали, много было въ нашей округѣ Кирилловъ, Никитъ, а особенно Сергѣевъ—по Сергію Радонежскому. Чужихъ же святыхъ, дальнихъ не брали и ни одного Тихона, и Иннокентія изъ дѣтскихъ лицъ не запомню. И у каждаго ребенка свой ангелъ-хранитель былъ, который берегъ его.

А главное дѣло — крестъ и никогда его съ шеи никто не снималъ. Въ мѣстѣ ли незнаемомъ человѣкъ очутится, на дорогѣ ли что встрѣтитъ внезапное,—прежде всего крестное знаменіе сдѣлаетъ, въ покровъ банный париться придетъ,—сначала стѣны всѣ перекреститъ. И въ каждомъ домѣ, въ жиломъ строеніи, кромѣ образовъ, надъ дверью на притолкѣ восковой свѣчкой крестъ накоптятъ, чтобы ходу не было въ жилье людское нечистому. И мы, ребята, знали, что если, ложась спать, перекреститься, — такъ нечистый, ежели и близко былъ, уйдетъ и прилетитъ ангелъ-хранитель съ бѣлыми крыльями и всю ночь ребенка будетъ сторожить, чтобы не обидѣлъ его нечистый.

А все-таки ужъ очень много было ихъ, нечистыхъ—пожалуй, и не было мѣста, гдѣ бы они не водились... И не на всякій часъ убережется человѣкъ, да и не всегда знаешь, правъ ли ты по дѣламъ своимъ, не отступился отъ тебя твой святой и не улетѣлъ ли отъ тебя ангелъ-хранитель. А главное — хитеръ больно былъ нечистый и пользовался русской простотой и ежечасно соблазнялъ людей на всякія дѣла соблазнительныя, почему и звали его: „Лукавый".

. . . . . .

Страшно было жить человѣку,--бѣда сторожила его кругомъ, забота не отходила отъ его изголовья. Міръ поддержитъ, пріютитъ, согрѣетъ. Не дастъ умереть съ голоду старому, одинокому, вскормитъ сироту безроднаго, подсобитъ больной ослабѣвшей семьѣ, заступится за своего, дружно встанетъ за мірское дѣло,--и по судамъ пойдетъ, и ходоковъ пошлетъ. Но такъ мало могъ сдѣлать этотъ міръ!

Страшно было жить деревенскому человѣку и теменъ былъ для него міръ. Опутанная густой сѣтью преданій и дѣдушкиныхъ завѣтовъ, медленно, темными закоулками, безъ проблеска свѣта двигалась человѣческая мысль.

Такъ мудрены были простыя вещи и такъ просты мудреныя, границы существующаго и несуществующаго, возможнаго и невозможнаго были такъ неопредѣленны и такъ легко стирались. Въ крикѣ птицы, въ шелестѣ листьевъ, въ тишинѣ лѣса и безмолвіи ночи, въ свѣтлой зарницѣ и въ черной гремящей тучѣ—вездѣ была тайна, тревожная, пугающая... Люди оборачивались волками, пѣтухи разсыпались золотыми монетами, огненные зміи влетали въ трубы, бѣсы входили въ бабъ и кричали изъ нихъ дикими голосами, — кругомъ было чудо и чудо всевластно царило въ деревенскомъ мірѣ.

Съ немощной мыслью, съ напуганной душой, сгибаясь подъ тяжкимъ бременемъ, стоялъ онъ, незрячій рабъ, предъ тѣмъ враждебнымъ, суровымъ и темнымъ что называлось жизнью.

И только одна защита была въ мірѣ.

Въ эту жестокую жизнь, въ ту тучу страха и тьму невѣдѣнія неслись трогательныя слова:

„Пріидите ко мнѣ всѣ труждающіеся и обремененніи и Азъ упокою вы“.

Кому не по плечамъ была житейская ноша, тяжкая и не по душѣ докучливая суета міра, кому мысли не давали покоя и тоска заливала сердце,—отъ врага рода

человѣческаго, духа лукаваго, отъ міра темнаго, міра холоднаго, отъ тоски сердца и тревоги разума—туда, гдѣ въ потухающемъ сумракѣ вечера скорбнымъ мотивомъ носится по безмолвнымъ лѣсамъ тихій перезвонъ колоколовъ, туда, гдѣ за высокими бѣлыми стѣнами горятъ золотомъ главы церквей,—на послушанія, молитвенныя стоянія, нощныя бдѣнія въ сіяніи иконъ, въ свѣщныхъ огняхъ, въ дымѣ ладана,—туда шелъ избранный, туда шелъ немощный, шелъ труждающійся и обремененный.

Тамъ одинъ господинъ—Господь всего сущаго, одинъ страхъ—Божій, одна воля—Божія, одинъ трудъ—во славу Его. Тамъ иго благо и бремя легко...

XVIII. Новыя времена. Ученье.

Крутыя Горы никогда не были крѣпостными, и „воля“ не отразилась на нихъ тотчасъ же крупными перемѣнами; но кругомъ шло движеніе,—что-то уходило назадъ, что-то нарождалось и входило въ жизнь, новое, странное, яркое. Появились новые люди, исчезали старые.

Генеральша уѣхала изъ Богоявленскаго въ теплые края, и лѣтъ пять домъ стоялъ заколоченнымъ; разбѣжались куда-то псы, наводившіе ужасъ на округу. Земля была сдана исполу богоявленскимъ и нашимъ мужикамъ, часть лѣса была продана. Дѣдушка Карпъ вынулъ кубышку и купилъ подходившую къ нашей землѣ пустошь; глядя на него, стали и другіе прикупать пустоши и лѣсокъ, и луговины, продававшіеся тогда во множествѣ. Умеръ помѣщикъ Созонтъ; имѣніе куплено было рощенникомъ Захаромъ Аѳанасьичемъ, а все, что было въ домѣ, распродавалось по мелочамъ, и екатерининскихъ временъ мебель разошлась по рукамъ священниковъ, дьяконовъ и деревенскихъ куп-

цовъ. Дядя Николай Михайловичъ купилъ старинныя клавикорды, а отецъ пріобрѣлъ новый срубъ и пристроилъ горницу; и барское зеркало въ потемнѣвшей золоченой рамѣ, огромный старинный диванъ краснаго дерева и два кресла съ бронзовыми инкрустаціями такъ удивленно смотрѣли на новое общество, въ которомъ очутились,—простые самодѣльные стулья, узорчатые изразцы печки и плохонькіе обои дьяконовой горницы.

Мнѣ было около восьми лѣтъ, когда объявили волю, и я смутно помню это, но новыя времена настали и для меня,—я началь учиться. Около этого времени умеръ нашъ дьячокъ Лука Лукичъ, и на его мѣсто прислали новаго дьячка изъ окончившихъ курсъ семинаріи, которыхъ начали называть псаломщиками. Новый псаломщикъ открылъ у себя маленькую школу, въ которую меня отдали учиться.

Собственно „азы“ я началъ изучать еще за годъ предъ тѣмъ, и первымъ моимъ учителемъ былъ отецъ. „Азы“ начались очень торжественно. Наканунѣ въ церкви былъ отслуженъ молебенъ „передъ начатіемъ ученія“, а на утро отецъ заперся со мной во вновь пристроенной горницѣ, и мы оба снова помолились предъ образами. Въ моихъ рукахъ была выточенная отцомъ мудреная указка, на стѣнѣ надъ моимъ плечомъ была повѣшена двухвостая плетка, какъ эмблема образованія, и ученіе началось. Я думаю, ученіе труднѣе доставалось учителю, чѣмъ ученику: всякій разъ послѣ урока отецъ вставалъ красный, вспотѣвшій, словно послѣ горячей молотьбы. Онъ очень обрадовался, когда пріѣхалъ новый псаломщикъ.

— Студентомъ *) кончилъ!—съ уваженіемъ говорилъ отецъ.

Николай Петровичъ былъ высокій, неуклюжій, застѣнчивый семинаристъ, съ худымъ, блѣднымъ, изры-

*) Въ первомъ разрядѣ.

тымъ оспой, лицомъ. Онъ росъ сиротой, воспитывался на казенный счетъ и, вѣроятно, былъ бѣднѣйшій изъ бѣдныхъ казеннокоштныхъ семинаристовъ.

Тѣ два-три года, которые онъ прожилъ у насъ, я помню его все въ томъ же длиннополомъ казенномъ сюртукѣ, застегнутомъ у горла булавкой, и я не увѣренъ, всегда ли было у него бѣлье.

Кромѣ меня, въ науку къ Николаю Петровичу отдали двухъ внуковъ и внучку Алексѣя Софроныча, рощенникъ Захаръ Аѳанасьевъ привелъ своего сына, о. Платонъ помѣстилъ двухъ мальчиковъ изъ числа непереводившихся у него племянниковъ. Мать настояла, чтобы учили и Варьку,—Настя, старшая сестра, была уже на выданьи и выучилась только читать, а писать не умѣла.

Образовалось нѣчто въ родѣ маленькой школы, помѣстившейся въ задней избушкѣ овдовѣвшей дьячихи Дарьи Степановны, въ той же комнатѣ, гдѣ жилъ и самъ Николай Петровичъ. Новый учитель училъ насъ такъ же, какъ учился и самъ,—тѣ же „азъ-ангелъ“, „буки-Богъ“, „буки-азъ-ба“, „вѣди-азъ-ва“, тѣ же прописи, съ которыхъ мы списывали велемудрыя изреченія, навѣки вонзившіяся въ наши мозги, вмѣстѣ съ палками и крючками, въ которыхъ долго насъ упражняли, пока допустили къ буквамъ.

Низенькая съ полатями, закоптѣлая крестьянская изба, посрединѣ бѣлый сосновый столъ, съ подложенной подъ ножку щепочкой, кругомъ—скамьи, а на скамьяхъ сидимъ мы и, зажавши уши, громко, наперебой выкрикиваемъ: „бри, ври, дри, жри“...

Онъ очень старался, этотъ добрый и славный Николай Петровичъ, и, вѣроятно, наше ученье шло бы быстрѣе, если бы его не таскали на требы, не мѣшала полевая работа, не отрывалъ отъ ученья батюшка, посылавшій за нимъ посовѣтоваться насчетъ полученной отъ благочиннаго бумаги или просто попить чайку.

Тогда его замѣняла Дарья Степановна, жившая черезъ сѣни въ своей кухонькѣ. Дарья Степановна сама читать не умѣла, но имѣла уши слушать, зубримъ ли мы „ври-гри“, или молчимъ и ловимъ мухъ,—быстро развивавшійся въ школѣ родъ спорта, въ которомъ я оказывалъ бо́льшіе успѣхи, чѣмъ въ наукахъ. Какъ только гудѣнье нашихъ голосовъ ослабѣвало, Дарья Степановна, красная отъ печки, влетала съ линейкой въ рукѣ въ нашу комнату, равномѣрно вытягивала каждаго изъ насъ по спинѣ и безмолвно скрывалась къ своей печкѣ, гдѣ всякую минуту могли выкипѣть щи. Словъ, впрочемъ, и не нужно было, — линейка говорила убѣдительно: дисциплина быстро возстановлялась и дружное жужжаніе нашихъ голосовъ не мѣшало Дарьѣ Степановнѣ предаваться ея хозяйственнымъ занятіямъ.

Это былъ періодъ моего яростнаго увлеченія слогосложеніемъ—какая-то страсть. Я сложилъ имена пріятелей—и Кирьку, и Кузьку-шестипалаго, имена всѣхъ моихъ семейныхъ. Мнѣ пришлось порядочно повозиться съ дѣдушкой — „кьянъ“ вязло въ зубахъ, но въ особенности много огорченій доставилъ мнѣ балетмейстеръ Перро, не извѣстно, какими путями забравшійся въ домъ крутогорскаго дьякона и висѣвшій въ темной рамкѣ, между зеркаломъ и генералиссимусомъ Суворовымъ. Когда я укладывался спать на свой войлокъ, балетмейстеръ Перро ярко выступалъ въ свѣтѣ лампады, пристально смотрѣлъ мнѣ въ глаза и, казалось, издѣвался надъ моими усиліями. И я долго ворочался и не засыпалъ, тщетно стараясь сложить „мейстеръ“. Зато, когда я побѣдилъ балетмейстера Перро, я „рѣзалъ“ на немъ всѣхъ моихъ товарищей по наукѣ и не зналъ больше никакихъ трудностей, кромѣ слова „тпру-у-у“, составлявшаго, по чистосердечному признанію самого Николая Петровича, задачу, превышавшую человѣческія силы.

Когда отецъ бралъ меня съ собой въ городъ и нашъ Сивко шажкомъ, со всевозможной скромностью и почтительностью деревенскаго коня, пробирался по главной улицѣ, я скороговоркой складывалъ всѣ вывѣски, а отецъ вздыхалъ и ласково говорилъ:

— Ну, Стёпа, не думалъ я, что Господь тебя такими способностями наградитъ!

Вывѣски всѣ сложены, прописи списаны, молитвы выучены. Отслуженъ молебенъ „въ путь шествующимъ“; горькими слезами плачетъ надо мной мать, дружнымъ хоромъ ревутъ сестры, истово креститъ бабушка и суетъ въ руку старинный полтинникъ. Сивко трогается и такъ лѣниво и неохотно плетется изъ Крутыхъ Горъ, словно знаетъ, что везетъ меня въ чужую сторону, на горькое ученье, подъ страшныя училищныя розги.

Маленькая келья архимандрита, смотрителя духовнаго училища. Я падаю ему въ ноги, а отецъ низко кланяется и стоитъ съ кулечкомъ, изъ котораго выглядываютъ баранки, банка меду, фунтъ цвѣточнаго чая и бутылка ямайскаго рома. Мнѣ предлагаютъ два-три вопроса; словно въ туманѣ, я что-то отвѣчаю, благословляетъ рука архимандрита—и я принятъ въ духовное училище.

Новая жизнь, новыя впечатлѣнія... Въ Крутыя Горы приходится ѣздить только на лѣто, да разъ-два, на короткое время, зимой. И чѣмъ рѣже пріѣзжаю я домой, тѣмъ ярче мечется мнѣ въ глаза все то новое, что дѣлается въ Крутыхъ Горахъ. Такъ много перемѣнъ въ нашей семьѣ. Безъ меня женится и поступаетъ дьякономъ въ дальній уѣздъ мой старшій братъ, не кончившій богословскій классъ; безъ меня выходитъ замужъ за старшаго сына рощенника Захара Аѳанасьича моя сестра Настя,—все больше мѣняется строй нашего дома.

И другіе люди вспоминаются мнѣ.

XIX. Алексѣй Софронычъ и Филатъ-бондарь.

Высокій и сухой старикъ, въ очкахъ съ коротко остриженными сѣдыми волосами и худымъ морщинистымъ умнымъ лицомъ, Алексѣй Софронычъ сидитъ въ своей конторѣ, заваленной счетами, книгами и старыми журналами. Онъ одѣтъ, какъ всегда, въ наглухо застегнутый длинный сюртукъ, въ родѣ теперешняго рединготa, шея повязана широкимъ темнымъ, какъ на портретахъ людей 40-хъ годовъ, галстукомъ, изъ-подъ котораго выглядываетъ высоко подпиравшій голову бѣлый воротникъ рубашки.

Алексѣй Софронычъ производитъ подробный экзаменъ тому, что прошли мы. Я собственно пришелъ попросить отъ имени отца „картузъ“ табаку (почему-то тогда говорили „картузъ“ табаку) и не люблю этихъ экзаменовъ,—онъ все спрашиваетъ меня по географіи и въ особенности по ариѳметикѣ, къ которой я не чувствую особенной склонности, и все заставляетъ рѣшать въ умѣ задачи, которыя надоѣли мнѣ и въ училищѣ. Искусными маневрами я стараюсь перевести разговоръ на латинскіе герундіи и греческіе аористы, въ которыхъ я могъ бы кой-чѣмъ удивить его, но онъ презрительно говоритъ:

— Дураки у васъ учителя-то, дохлятинѣ учатъ. Нѣтъ чтобы нѣмецкому языку обучать...

Алексѣй Софронычъ попадаетъ на свою любимую тему. Экзаменъ окапчивается, и онъ въ десятый разъ начинаетъ разсказывать, какіе нѣмцы до всего дотошные люди и какіе ловкачи по торговой части и какіе мы, русскіе, — дураки отпѣтые, въ сравненіи съ нѣмцами, и какъ безъ нихъ мы шагу ступить не умѣемъ.

Алексѣй Софронычъ былъ чудной человѣкъ. Нашъ же крутогорскій крестьянинъ, онъ какъ-то попаль на хлопчато-бумажную фабрику въ нашемъ уѣздѣ и постепенно отъ мальчика при конторѣ поднялся до званія управляющаго фабрикой и довѣреннаго всѣхъ дѣлъ фирмы. Онъ прослужилъ около пятидесяти лѣтъ на фабрикѣ и, незадолго до освобожденія крестьянъ, воротился въ Крутыя Горы, когда умерла старуха Гладырина, во всемъ полагавшаяся на своего управляющаго, и дѣло пожелали вести молодые хозяева, съ которыми не сошелся суровый властный старикъ.

Контора Алексѣя Софроныча давно существовала въ Крутыхъ Горахъ. Пока онъ служилъ на фабрикѣ, его дѣти оставались въ деревнѣ и вели дѣло. Парни женились, дѣвки выходили замужъ въ другія деревни: всѣмъ онъ отпускалъ съ фабрики пряжу и всѣ они — и сыновья и зятья—раздавали эту пряжу по деревнямъ, по тѣмъ фабричкамъ, о которыхъ я говорилъ, гдѣ ткали по зимамъ дѣвки и молодые парни.

Старикъ устроился отдѣльно отъ семьи, въ новомъ деревянномъ домикѣ, выстроенномъ на городской манеръ и состоявшемъ изъ двухъ комнатъ — собственно конторы и его кабинета. Онъ не велъ знакомства съ духовенствомъ и окрестными богатыми крестьянами, повидимому, рѣдко видался даже съ семьей и проводилъ цѣлые дни въ своей конторѣ, погруженный въ дѣла и книги и старые журналы. Дѣло свое онъ велъ, какъ слѣдуетъ, прижимисто, и мужики говорили про него „жохъ“. Мой отецъ недолюбливалъ его и говорилъ, что онъ гордецъ и насмѣшникъ и вѣру потерялъ, такъ какъ въ церковь рѣдко ходилъ, а бабушка съ своимъ особеннымъ выраженіемъ прибавляла:

— Книгъ начитался!...

Должно быть, онъ, дѣйствительно, „книгъ начитался“. Вѣроятно, въ долгихъ скитаніяхъ по нижегородскимъ, харьковскимъ и ирбитскимъ ярмаркамъ,

въ поѣздкахъ въ Москву и Петербургъ, по дѣламъ фабрики, ему приходилось встрѣчаться съ людьми, носившими эти широкіе темные галстуки и подпиравшіе голову бѣлые воротники рубашекъ; должно быть, отъ нихъ онъ перенялъ любовь къ тѣмъ книгамъ и журналамъ, наполнявшимъ его комнату, и, надо думать, изъ этихъ книгъ, изъ своихъ скитаній вынесъ онъ свою непоколебимую вѣру въ нѣмца и то уваженіе къ нѣмецкой культурѣ, которое онъ привезъ въ Крутыя Горы.

Онъ очень сблизился съ новымъ псаломщикомъ. Сначала Николай Петровичъ похаживалъ въ контору изрѣдка, отъ скуки поболтать, почитать „вѣдомости", а потомъ сталъ столоваться у Алексѣя Софроныча и проводить тамъ все свободное время. Посылки за табакомъ не разъ повторялись—старикъ тоже курилъ,—и мнѣ приходилось бывать тамъ по вечерамъ. Николай Петровичъ въ своемъ семинарскомъ сюртукѣ, заколотомъ булавкой у горла, расхаживалъ по конторѣ и, размахивая длинными руками, горячо говорилъ, а Алексѣй Софронычъ сидѣлъ въ своемъ креслѣ съ поднятыми на лобъ очками, посматривалъ своими насмѣшливыми глазами на волновавшагося псаломщика и подавалъ короткія реплики. Я покашливалъ и старался обратить ихъ вниманіе; но споръ разгорался, и они не замѣчали меня. Я не понималъ и не знаю, о чемъ они спорили, но у меня остались въ памяти имена, которыя они упоминали и которыя я снова услыхалъ только долго спустя.

Однажды бабушка, изрѣдка бывавшая у жены Алексѣя Софроныча, принесла извѣстіе, взволновавшее крутогорскій міръ.

— Нашъ-то умникъ!—въ это слово въ Крутыхъ Горахъ влагалось много ядовитаго.—По нѣмецкому вздумалъ учиться на старости лѣтъ!—сообщила бабушка.—Николай Петровичъ учитъ...

Извѣстіе было справедливо, я не знаю, много ли понималъ псаломщикъ въ нѣмецкомъ языкѣ, но не разъ видѣлъ, какъ онъ вмѣстѣ съ Алексѣемъ Софронычемъ, которому было уже за шестьдесятъ, подолгу сидѣли надъ нѣмецкой грамматикой. Повидимому, обученіе шло взаимное, и если Николай Петровичъ руководилъ занятіями нѣмецкимъ языкомъ, то Алексѣй Софронычъ поучалъ его тому, до чего онъ дошелъ самъ и что заключалось въ тѣхъ книгахъ его, которыя я часто встрѣчалъ въ задней комнаткѣ Дарьи Степановны.

Повидимому, старый вольнодумецъ смутилъ Николая Петровича. Псаломщикъ прожилъ у насъ года два-три и, вмѣсто прихода и священническаго сана, который предстояло ему получить, взялъ мѣсто учителя уѣзднаго училища въ дальнемъ сибирскомъ городѣ, куда въ то время вызывали желающихъ. Скоро послѣ него уѣхалъ и Алексѣй Софронычъ. Большія фабрики начали сокращать раздачу пряжи по деревнямъ, и старикъ перебрался на житье въ Москву, оставивши начавшее умирать дѣло попрежнему на сыновей и зятьевъ.

Онъ уѣхалъ не одинъ. Должно быть, образованіе и нѣмцы легли основными устоями въ его міросозерцаніе, вѣроятно, его страстно тянуло къ тому и другому и, быть можетъ, для того, чтобы добывать и того, и другого—если не для себя, то для своихъ—онъ и переѣхалъ въ Москву.

Онъ отобралъ у своихъ сыновей и дочерей старшихъ внуковъ и внучатъ и увезъ ихъ съ собой въ Москву. Много было плача и криковъ въ Крутыхъ Горахъ и деревняхъ, куда были отданы дочери; но дѣти не выходили изъ воли суроваго старика, а разговоры у него были коротки.

Трехъ дѣвочекъ онъ отдалъ, въ Москвѣ же, въ *пансіоны* съ иностранными языками, моихъ пріятелей—

Митьку и Алешку, отправилъ въ рижскій политехникумъ, Ефимку лопоухаго, моего сверстника и компаньона по игрѣ въ бабки, какъ самаго щустраго, отправилъ съ пріятелемъ-нѣмцемъ въ Германію, въ какое-то заведеніе, обучаться коммерческимъ наукамъ, и только младшаго, Софронушку, помѣстилъ въ русское учебное заведеніе—московское коммерческое училище. Самъ же со старухой-женой снялъ квартиру, гдѣ-то на Бабьемъ городкѣ, и наблюдалъ за воспитаніемъ внуковъ, на которыхъ уходили всѣ его сбереженія.

Онъ и тутъ устроился оригинально, по своему. Много лѣтъ спустя, когда я уже учился въ Москвѣ, одинъ изъ моихъ пріятелей разсказалъ мнѣ про большого оригинала, хозяина его квартиры, оказавшагося Алексѣемъ Софронычемъ Старикъ занимаетъ съ своей женой всего двѣ комнаты, а остальныя четыре сдаетъ жильцамъ, но не пускалъ къ себѣ ни приказчковъ, ни конторщиковъ, ни чиновниковъ, а только студентовъ университета и техническаго училища, учителей, вообще—умственныхъ людей. Мой пріятель былъ очень доволенъ своимъ хозяиномъ и только жаловался, что старикъ часто ходилъ къ своимъ жильцамъ съ нѣмецкой газетой, и подолгу засиживался, обсуждая, что дѣлается за границей, отъ политическихъ волненій до новѣйшихъ техническихъ открытій включительно.

Сыновья и зятья Алексѣя Софроныча доживали вѣкъ въ деревняхъ, занимались не землей, а около земли,—скупкой хлѣба, лѣснымъ дѣломъ, деревенской торговлей, а внуки и внучки остались въ городахъ и почти всѣ хорошо устроились. Внуковъ онъ устроилъ на свой ладъ,—ни одинъ изъ нихъ не сдѣлался ни докторомъ, ни учителемъ, ни адвокатомъ. Одинъ вышелъ бухгалтеромъ, женился на дочери хозяина и сталъ во главѣ крупной фирмы; другой пошелъ по инженерной части; третій—директоромъ частнаго банка,

а Ефимка лопоухій вернулся изъ Германіи крупнымъ комиссіонеромъ какихъ-то германскихъ фирмъ и играетъ на биржѣ такъ же страстно, какъ раньше игралъ въ бабки, въ Крутыхъ Горахъ. Дѣвочки окончили пансіоны и повыходили замужъ за купцовъ и докторовъ. И въ шикарно одѣтыхъ, красивыхъ посѣтительницахъ Малаго театра и московскихъ ресторановъ нельзя узнать босоногихъ крутогорскихъ дѣвчонокъ, рывшихъ картошку и полоскавшихъ бѣлье въ нашихъ бочагахъ.

Какъ потомъ оказалось, учениками Николая Петровича были не одни ребята.

Я уже два года учился въ духовномъ училищѣ, зналъ четыре правила ариѳметики, могъ ночью, сонный, не переводя духу, сказать таблицу умноженія, „Вѣрую“ и зналъ многія другія удивительныя вещи. Когда я пріѣхалъ на вакацію въ Крутыя Горы, Николая Петровича уже не было, и вмѣсто него прислали стараго дьячка изъ упраздненнаго прихода, который могъ читать только по церковному и кое-какъ по старинному, съ титлами, подписывать свою фамилію. Просуществовавшая три года школа была закрыта, и учениковъ разобрали по домамъ.

Въ первое же воскресенье, послѣ обѣдни, меня остановилъ Филатъ-бондарь, — жившій на другомъ концѣ села, несообщительный, замкнутый мужикъ лѣтъ сорока, котораго я мало зналъ.

— Зайди-ко ужò, Степа!—какъ-то бокомъ сказалъ онъ мнѣ.—Дѣльце есть до тебя... Медку припасу.

Я очутился въ роли учителя. Филатъ ждалъ меня, одѣтый въ чистую рубаху, у покрытаго бѣлымъ столешникомъ стола, на одномъ концѣ котораго стояли тарелки съ медомъ и баранками, а на другомъ—сѣрые листы бумаги, по которой расползлись неуклюжія *рыжія буквы*. Оказалось, что Филатъ—учившійся, какъ

признался онъ, съ Николаемъ Петровичемъ крадучись, по вечерамъ, чтобы люди не смѣялись, — успѣлъ съ нимъ овладѣть только слогами и самъ кое-какъ добрался до искусства читать, а писаніе его остановилось на палкахъ и крючкахъ, и Филатъ только и умѣлъ выводить на бумагѣ огромныя печатныя буквы. Мы справились съ писаньемъ, но Филату хотѣлось знать все больше и больше, и въ продолженіе лѣта мы успѣли съ грѣхомъ пополамъ, — учитель самъ путался въ крупныхъ цифрахъ,—пройти сложеніе и вычитаніе.

Ученье, впрочемъ, этимъ не кончилось, — Филатъ началъ возить меня въ духовное училище.

— Какія такія дѣла у Филата въ городу объявились?—удивился отецъ.—Все Степу возитъ...

Скромность не позволяла мнѣ разъяснить отцу, что онъ возилъ изъ-за желанья учиться у меня.

Лѣниво перебираетъ ногами толстая, похожая на корову, буланая лошадь, а Филатъ учится.

— Такъ, Степа... Ты говоришь, всякая эта звѣздочка махонькая,—въ родѣ земли, большая?

Я отвѣчаю, что еще гораздо больше.

— И, говоришь, жидкая?

— Жидкая.

— Ну, хорошо... А теперь мѣсяцъ взять—твердый вѣдь онъ, можетъ на немъ человѣкъ жить?

Мои свѣдѣнія въ небесныхъ мірахъ довольно проблематичны. И я неопредѣленно отвѣчаю:

— Въ трубу смотрятъ... Озера, говорятъ, есть, горы...

— А насчетъ земли—это ужъ вѣрно?—не знаю, въ который разъ спрашиваетъ меня Филатъ.—Круглая? И такъ себѣ, значитъ, безо-всего виситъ, да вертится? И звѣзды эти тоже все кругъ другъ дружки вертятся?

Я снова выкладываю ему то, что выучилъ назубокъ въ училищѣ,—доказательства шарообразности земли, гдѣ наша крутогорская колокольня, постепенно открывающаяся и скрывающаяся, играетъ главную роль.

Должно быть, что-то у меня выходитъ,—Филатъ долго молчитъ и, по своей привычкѣ, кряхтитъ, ворочаясь въ розвальняхъ.

Мнѣ дремлется въ отцовскомъ тулупѣ, въ который я весь завернутъ; но Филатъ все учится и все вытягиваетъ изъ меня мой небогатый багажъ знаній. Мы рѣшаемъ въ умѣ ариѳметическія задачи, складываемъ и вычитаемъ, множимъ и дѣлимъ, а ему все мало, и все кряхтитъ Филатъ, и спрашиваетъ меня, глупаго маленькаго ребенка, о всемъ томъ, о чемъ болитъ думами его большая мужицкая голова и чего жадно хочетъ проснувшаяся деревенская мысль.

Покряхтитъ-покряхтитъ Филатъ и выпалитъ какимъ-нибудь неожиданнымъ вопросомъ:

— Что я, Степа, думаю! Взять теперича француза, али нѣмца, тоже аглицкій народъ и другіе прочіе...

Я не знаю, куда клонитъ Филатъ, и настораживаюсь.

— Въ Христа-то они вѣрятъ?

— Вѣрятъ,—говорю.

— А въ Богородицу? Николу Милостиваго? Троицу-Сергія?

— Въ Сергія, говорю, не вѣрятъ.

— Ну, ладно!—продолжаетъ Филатъ.—Значитъ, ихъ всѣхъ теперича въ адъ?

Минутку я колеблюсь, но потомъ рѣшительнымъ голосомъ отвѣчаю:

— Въ адъ!

— Ну, хорошо,—возражаетъ онъ,—будемъ говорить — въ адъ... Которые большіе, понимать могутъ... А взять—ребята малые, простой народъ, темный человѣкъ—въ адъ?—повторяетъ онъ.

Филатъ нѣкоторое время молчитъ, потомъ поднимаетъ голову къ небу, глубоко вздыхаетъ и говоритъ въ раздумьи:

— Бусурманская вѣра, да бусурманская, а какъ и по-

чему—неизвѣстно... Небось и они сейчасъ такъ-то вотъ промежду себя про нашу вѣру сказываютъ?

Я энергично отстаиваю нашу вѣру, но запутываюсь болѣе и болѣе, и вопросъ о басурманской вѣрѣ остается открытымъ подъ широкимъ звѣзднымъ небомъ, смотрящимъ на всѣ вѣры.

Тихо плетется лошадь, чуть скрипятъ полозья по снѣжной дорогѣ, а изъ занесеннаго снѣгомъ большого овчиннаго воротника слышатся медлительныя, глухія слова:

— Ахъ, темны мы, Степа... Вотъ какъ темны! Былъ бы я молодой, кажись, бросилъ бы все и пошелъ, куда глаза глядятъ, ученыхъ людей разыскивать...

Тяжелыми глыбами, угрюмыми сугробами безконечно синѣютъ кругомъ снѣга. Высоко надъ землей вызвѣздившееся небо мерцаетъ миріадами огней. Одиноко, глухо и жалобно звучатъ въ холодной тишинѣ слова темнаго человѣка.

Зато въ городѣ Филату раздолье. Вмѣстѣ со мной жили ученики старшаго отдѣленія, оканчивающіе училище и готовящіеся перейти въ семинарію,—безконечное тянулось чаепитіе съ привезеннымъ Филатомъ медомъ, до глубокой ночи учился Филатъ, а я только восхищался, слушая, какъ хорошо и легко рѣшаютъ ученые люди всѣ Филатовы вопросы и сомнѣнія.

Филатъ уѣзжаетъ. Мои благородные товарищи великодушно жертвуютъ ему свои истрепанныя ариѳметики, грамматики и географіи, съ ободранными корешками и использованными на отливку бабокъ-свинчатокъ листами, а Филатъ стоитъ въ дверяхъ комнаты, одѣтый въ нагольный тулупъ, подпоясанный кушакомъ, съ кнутомъ въ рукахъ, и какъ-то бокомъ, глядя въ сторону, спрашиваетъ меня:

— Когда на Святую-то распустятъ? Пріѣзжать, что ли?..

XX. Желѣзная дорога.

А событія все шли, и все болѣе врывалось новое въ крутогорскую жизнь.

Прошли слухи о желѣзной дорогѣ; появились въ нашихъ мѣстахъ какіе-то люди, осматривавшіе болота, мѣрявшіе лѣса, то и дѣло по округѣ говорили о покупкахъ московскими купцами нашихъ лѣсовъ. Въ темной чащѣ выросли бѣленькіе домики, явились лѣсныя конторы, застучали топоры, завизжала пила въ тихихъ лѣсахъ. Щепетильникъ привезъ картинку, на которой былъ изображенъ поѣздъ и смотрящіе на него мужики и бабы, а внизу помѣщалось длинное стихотвореніе, начинавшееся четырьмя строчками, которыя я только и помню:

„До чего народъ доходитъ—
Самоваръ въ запряжкѣ ходитъ!
Де того ли онъ дойдетъ,
Что полштофъ съ виномъ пойдетъ?“

И сердитые синіе генералы раздвинулись, и между ними и мышами, хоронившими кота, помѣстилась въ крестьянскихъ избахъ „желѣзная дорога“.

Первымъ дѣломъ, какъ только пріѣхалъ я на вакацію—я все еще учился въ училищѣ – было побѣжать взглянуть на желѣзнодорожную просѣку. Я замеръ отъ неожиданности. Направо и налѣво, куда только могъ я окинуть взглядомъ,—безъ изгибовъ, прямая какъ стрѣла, тянулась широкая просѣка, по бокамъ которой неподвижно темнѣли ряды елей. Какой-то страхъ защемилъ мое сердце,—казалось, что-то неимовѣрно страшное пронеслось посреднѣ лѣсовъ, смяло, разбило въ дребезги и куда-то унесло огромную полосу лѣса и словно обрѣзало двѣ темныя, безконечно тянувшіяся

стѣны. Предо мной укладывали шпалы, дальше, на насыпи, тянувшейся по направленію къ богоявленской рѣчкѣ, ползали, какъ муравьи, люди съ тачками, кругомъ изъ лѣсу несся шумъ, раздавались голоса.

Странники и старыя старухи говорили о послѣднихъ временахъ, о чортѣ съ огромными бѣшеными глазами, который сидитъ впереди машины и съ дикимъ хохотомъ возитъ по лѣсамъ православный народъ; но масса крутогорскаго люда, повидимому, такъ же какъ я, была захвачена этимъ гигантскимъ дѣломъ людей,—тѣмъ страшно сильнымъ, непреоборимымъ и непреклоннымъ, чѣмъ казалась эта огромная просѣка. Жизнь совсѣмъ по другому сложилась въ то лѣто. Весь день мы вертѣлись около насыпи, каждое воскресенье, послѣ обѣдни, мужики и бабы собирались къ желѣзнодорожному полотну, усаживались на буграхъ вырытой земли и вели долгіе разговоры, осилятъ ли они богоявленскую рѣчку, широко разливавшуюся по веснамъ, справятся ли съ Погапымъ болотомъ, котораго не миновать просѣкѣ. И чѣмъ дальше шла просѣка, чѣмъ глубже входили въ землю каменные устои, чѣмъ выше росла насыпь около рѣки, тѣмъ больше являлось увѣренности, что *они* совладаютъ и съ рѣкой, и съ болотомъ и что нѣтъ удержу этой *желѣзной* дорогѣ, нѣтъ силы, которая бы остановила ее. Постепенно и хороводъ перешелъ изъ села къ насыпи,—было что-то радостное и веселое въ этой внезапно просвѣтлѣвшей чащѣ темныхъ лѣсовъ. Только черезъ годъ, на слѣдующее лѣто, когда мнѣ пришлось поступать въ семинарію, я поѣхалъ въ первый разъ по желѣзной дорогѣ.

Мы долго дожидались съ отцомъ на маленькой, одиноко стоявшей въ лѣсу станціи, и я живо помню, какъ что-то страшное, съ дымомъ и свистомъ, пронеслось мимо меня и, тяжело загромыхавши, остановилось. Кто-то втиснулъ меня и я очутился въ вагонѣ.

— Закрой глаза, не смотри на столбы, не смотри на столбы,—шепталъ надо мной отецъ, — голова закружится...

Я долго сидѣлъ съ закрытыми глазами, вцѣпившись руками въ лавку, въ ежеминутномъ ожиданіи, что вотъ-вотъ мы наскочимъ на что-нибудь, и совершится нѣчто неимовѣрно ужасное. А вагонъ тихо покачивался, дребезжали рамы въ окнѣ, что-то громыхало кругомъ.

Понемногу я открылъ глаза. Рядомъ со мной, съ взволнованнымъ лицомъ, крестился отецъ, крестились крестьяне, сѣвшіе, вмѣстѣ съ нами на станціи, а мимо меня страшно неслись деревья и мелькали телеграфные столбы. Кружилась голова, какъ предсказывалъ отецъ, но у меня не было уже силъ закрыть глаза и, припавши къ окну, я, не отрываясь, смотрѣлъ, какъ все несется кругомъ, развертываются луга и поля, мелькаютъ деревенскія избы, а темный лѣсъ все куда-то бѣжитъ и бѣжитъ... И я уже не думалъ, что мы наскочимъ на что-нибудь, и весь отдавался очарованію этой могучей ѣзды, въ сладкой истомѣ прислушивался къ тихому перезвону рельсъ и только желалъ все летѣть, безконечно летѣть...

Много происшествій случилось въ то лѣто. Въ Клюкинѣ, гдѣ была наша волость, появился земскій докторъ Матвѣй Иванычъ. Это былъ сынъ священника нашей же губерніи, веселый человѣкъ, ходившій въ поддевкѣ и смазныхъ сапогахъ, пѣвшій пѣсни въ хороводѣ и совсѣмъ не похожій на лѣкаря. Онъ не потрошилъ мертвыхъ тѣлъ, не ѣздилъ съ полиціей на слѣдствія, не собиралъ съ міра „положенаго“, не касался рекрутчины, а только лѣчилъ и лѣчилъ всѣхъ даромъ и даромъ же отпускалъ всѣмъ лѣкарства.

Первымъ проложилъ къ нему дорогу Антонъ-баба. Докторъ далъ ему какого-то лѣкарства, велѣлъ все *лѣто купаться* въ кадкѣ съ соленой водой—и, хотя со-

гнутая нога не расправилась, Антонъ пересталъ хворать и, на удивленіе всего міра, сталъ ходить не только въ церковь, но и въ поля и въ лѣсъ, гдѣ давно уже не бывалъ. Также много шуму надѣлалъ въ селѣ случай, когда не могла разродиться наша сосѣдка, и опытная въ этихъ дѣлахъ Спиридониха велѣла уже положить роженицу подъ образа и затеплила надъ ней восковую свѣчу. Привезенный, по настоянію моей матери, Матвѣй Иванычъ очень скоро помогъ разродиться, и спасъ и мать и ребенка. Но особенно много разговоровъ было, когда Матвѣй Иванычъ снялъ какую-то пелену съ глазъ бабушки Ненилы, и давно не видѣвшая старуха прозрѣла. Что-то въ родѣ ярмарки стало дѣлаться у квартиры доктора въ пріемные дни, и слава его все разносилась по округѣ...

Большую сенсацію среди духовенства произвело другое извѣстіе, что дѣвица Солтухина поступила учительницей въ земскую школу, открытую въ Малыхъ Пустошахъ, гдѣ жилъ дядя Николай Михайловичъ. Я помню горячіе споры среди гостей въ ближайшій нашъ праздникъ: изъ-за чего дѣвица Солтухина,—племянница богоявленскаго генерала Солтухина—могла пойти учить мужицкихъ ребятишекъ. Одни говорили, что по бѣдности,—мужиковъ отобрали, а можетъ еще и родные обидѣли,—сирота; другіе предполагали, что насчетъ жениховъ незадача, изъ себя не больно, да и въ годахъ; но о. Платонъ энергично отрицалъ и то и другое, хотя давно уже не имѣлъ точныхъ свѣдѣній о семействѣ Солтухиныхъ. Подъѣхавшій дядя своими объясненіями еще больше увеличилъ недоумѣніе публики, такъ какъ оказалось, что дѣвица Солтухина и лицомъ ничего себѣ и не перестарокъ, и нельзя сказать, чтобы жила въ бѣдности,—много сундуковъ привезла съ собой, покупала на свой счетъ книжки и разныя картинки для школы и машинку, на которой показывала ученикамъ, какъ молнія дѣлается. А успѣвшая подружиться съ

учительницей Анна Павловна все разсказывала, какъ много учительница возится съ ребятишками, какъ по воскресеньямъ собираетъ взрослыхъ и тоже учитъ ихъ грамотѣ...

И праздникъ нашъ какой-то совсѣмъ особенный вышелъ. Куда-то ушелъ генералиссимусъ Суворовъ съ своими безчисленными побѣдами и чудачествами. И, вмѣсто исторіи про семибашенный замокъ, о. Платонъ обстоятельно и подробно разсказывалъ о засѣданіи окружнаго суда, гдѣ ему пришлось быть. Появились молодые священники и оканчивающіе курсъ семинаристы, и вечерами шли горячіе споры о земствахъ, новыхъ судахъ, обсуждались спеціально духовныя новости,—выборные благочинные, епархіальные съѣзды, отмѣна порки въ училищахъ и семинаріяхъ. Велись вольныя рѣчи про то, что пишутъ въ газетахъ, и какіе слухи идутъ изъ Питера.

А отецъ махалъ руками на вольныхъ говоруновъ и вздыхалъ и плотнѣе затворялъ двери, но такъ жадно слушалъ.

И два новыхъ романса разучивали: „Что такъ жадно глядишь на дорогу“... и „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“.

А бабушка сидѣла одна. На ней былъ тотъ же торжественный праздничный повойникъ и плечи покрыты той же ковровой шалью, но она не выходила въ горницу къ гостямъ. И сидѣла она, какъ каменное изваяніе, въ своей старой кухнѣ, за старинnымъ столомъ, за которымъ давно перестала обѣдать семья. Остановившіеся неподвижные незрячіе глаза, казалось, пристально смотрѣли далеко предъ собой, и застывшее лицо, полное недоумѣнія и вопроса, казалось, напряженно прислушивалось къ доносившимся изъ горницы новымъ словамъ, вольнымъ рѣчамъ, къ грохоту и свисту несущихся мимо Крутыхъ Горъ поѣздовъ...

Въ жизнь входило новое. И все новое ломало и вытѣсняло старое, создавало другой строй мысли и понятій, другіе обычаи и привычки, перестраивало жизнь и перестраивало помимо воли людей, часто вопреки ихъ желаніямъ. Даже мелкое, незначительное.

Керосинъ появился, шандориномъ тогда назывался. Я еще хорошо помню, какъ отецъ привезъ въ первый разъ жестяную лампочку изъ города—купцы нахвалили—и съ трепетомъ, въ присутствіи всѣхъ насъ, трепетавшихъ еще болѣе его, зажигалъ издали лучиной опасную машинку. И вотъ керосиновая лампочка перемѣнила нашу жизнь, перестроила ее по-своему. Не стало нужды держаться въ кучѣ, въ кухнѣ кругомъ лучины, какъ раньше всегда проводили мы длинные зимніе вечера. Сальныя свѣчи все-таки дороги были и только при гостяхъ подавались—лучиной пользовались, да лампадками предъ образами. А при лучинѣ нужно было, чтобы кто-нибудь постоянно вставлялъ новую, требовался громоздкій свѣтецъ, тазъ съ водой, и нельзя было все это переносить изъ комнаты въ комнату,—нужно было, чтобы всѣ сидѣли въ кучѣ кругомъ лучины. Горѣла она свѣтло и ярко, хорошо было при ней ткать-прясть, но читать не очень удобно,—и пламя мигало и часто останавливаться приходилось, когда лучину мѣнять нужно было. А появилась керосиновая лампочка и разбрелись люди по дому по разнымъ угламъ и въ кухнѣ остались только бабушка да Домна, не хотѣвшія разстаться съ лучиной и находившія, что у шандорина духъ худой. Ужъ очень удобно было,—и свѣтъ ровный, ясный, прибавить и убавить можно и унести, куда угодно. Сначала мать съ дѣтьми въ горницу ушла, а потомъ отецъ, какъ она выражалась, манеру завелъ одному сидѣть въ пристроенной свѣтелкѣ и газету читать. И совсѣмъ по другому сложились вечера отца. Зимніе вечера—бабьи вечера, шьютъ, прядутъ, ткутъ, а отцу нечего было дѣлать. Поковыряется съ хомутами,

подѣлками мелкими, валенки обсоюзитъ и раньше всѣхъ, до ужина, спать завалится. Разбудятъ поужинать,—и опять спать.

— Инда устанешь спать-то!—жаловался, бывало.

Газета пришла и стала по-своему людей перестраивать,—и мысли ихъ, и привычки. Раньше книга была и читали книгу не торопясь, медленно, съ перерывами,—и такъ какъ книгъ мало было и не часто достанешь новую, -старую перечитывать будутъ и даже еще пріятнѣе,—и читать легче и все знакомое. И книгу человѣкъ по своему вкусу выбиралъ когда раскрывалъ,—зналъ, что читать будетъ—Четью ли Минею, Жизнеописаніе генералиссимуса Суворова, Поученія ли Родіона Путятина... А тутъ газета пришла. Была она и раньше. Кромѣ „Странника“, „Душеполезнаго Чтенія“ и „Домашней Бесѣды“ Аскоченскаго, кое у кого изъ батюшекъ и „Сынъ Отечества“ можно было найти; но и меньше газетъ было, да и добывать ее,—нужно было оказіи ждать, не поѣдетъ ли кто въ городъ—за 20—30 верстъ и номера сразу за недѣлю привозили, а въ распутицу и за двѣ и за три недѣли. Сразу такую уйму не прочитаешь,—днемъ требы и работа, а вечеромъ при лучинѣ не очень разчитаешься. А тутъ желѣзная дорога стала всякій день газету доставлять,—только три версты вокзалъ былъ, и лампочка керосиновая всегда готова, хоть до глубокой ночи читай. И завелъ отецъ манеру всякій вечеръ по зимамъ газету читать, на моихъ глазахъ сдѣлался ярымъ политикомъ и, мать говорила,—до того набаловался, что сталъ уже скучать по вечерамъ, если священникъ долго „Современныя“ задерживалъ,—вмѣстѣ они выписывали.

Газета не спрашивала, что крутогорскому человѣку нужно, она несла ему, что считала нужнымъ нести, что всѣмъ русскимъ людямъ нужно,—и хохламъ, и сибирскимъ людямъ, и пришли въ Крутыя Горы всѣ дѣла *русскія* со всѣхъ концовъ Россіи, пришли даже ино-

земныя державы, про которыя въ Крутыхъ Горахъ еще меньше, чѣмъ про хохловъ, слышали. Былъ въ Итальянской сторонѣ въ тѣ времена Гарибальди генералъ. Съ одной стороны будто и не генералъ онъ былъ, а съ другой—настоящій генералъ, и даже очень хорошій, храбрый генералъ; съ одной стороны въ родѣ какъ бунтовщикъ онъ былъ, а съ другой выходило - отечество защищалъ, какъ и всѣмъ настоящимъ генераламъ полагается. И не могъ ужъ отецъ уйти отъ генерала Гарибальди, и сталъ изо дня въ день ждать не будетъ ли завтра чего-нибудь про Гарибальди и все думаетъ какъ генералъ изъ своихъ тѣсныхъ обстоятельствъ выйдетъ, и пробуетъ отецъ разобраться не только въ томъ, почему и для кого проливаетъ кровь свою Гарибальди, но и въ австрійскихъ дѣлахъ и во французскихъ, почему Англія въ этомъ случаѣ суматошится. А тамъ другія разныя дѣла—въ Америкѣ что-то съ индѣйцами не благополучно, а у насъ какой-то хивинецъ неспокоенъ.

Самое главное, что все это помимо воли человѣка шло къ нему, не хотѣлъ онъ знать ни про Гарибальди, ни про индѣйца, ни про хивинца, а желѣзная дорога все везетъ газету, а газета все говоритъ ему изо дня въ день—читай про хивинца, читай про Гарибальди, и человѣкъ читаетъ и незамѣтно для себя Крутыя Горы втягиваются въ міровую политику.

Правда, времена были другія и газеты были другія. Раньше времена были тихія, смирныя, не поспѣшныя и газеты были тихія, смирныя,—больше про доблесть народа русскаго писали и примѣры приводили, про случаи необыкновенные, которые случались гдѣ,—пожары, напримѣръ, ежели народу много сгорѣло или разбойникъ гдѣ объявился сверхъ обычая—или теленокъ родился безъ ногъ, и съ двумя головами; любили деревенскіе люди анекдоты историческіе въ газетахъ выискивать, про царей, генераловъ. А тутъ воля подошла, времена стали поспѣшныя, про земство, про

судъ новый слухи ходили и въ самомъ духовенствѣ реформы шли, благочинные выборные, перемѣны въ духовныхъ училищахъ, въ семинаріяхъ... Тутъ ужъ нельзя было не читать и уже самъ крутогорскій человѣкъ требовалъ и газету выбиралъ, чтобы писано обо всемъ этомъ было. И газету читать приходилось не какъ книгу—наспѣхъ, торопиться, не пропустить чѣмъ интересуешься, потому что завтра будетъ опять газета и не поймешь завтра, если не прочиталъ сегодня.

И стала газета книгу оттирать. И времени уже для книги не оставалось, да и старыя книги ничего не говорили про то новое, что шло—и перестало ходить по рукамъ жизнеописаніе генералиссимуса Суворова.

И все такъ. Старое уходило, все перестраивалось по новому: и порядокъ дома, и привычки людей, и мысли ихъ, и привычки мысли... И чѣмъ дальше, тѣмъ больше и человѣкъ видѣлъ какъ все кругомъ по новому шло и не замѣчалъ, какъ самъ опъ перестраивался по новому.

Какъ все близко стало! Чтобы добраться до той далекой Москвы, о которой раньше только смутные слухи доходили до насъ, нужно было какихъ-нибудь четырепять часовъ,—почти столько же, сколько употребляли мы на поѣздку въ нашъ уѣздный городъ.

И Крутыя Горы скоро поѣхали въ Москву. Поѣхало духовенство и всѣ, кому нужепъ былъ губернскій городъ, такъ какъ оказалось ближе, дешевле и удобнѣе ѣхать въ него черезъ Москву, чѣмъ на лошадяхъ прежнимъ путемъ. Поѣхали плотники.

Первымъ собралъ артель и отлучился на заработки въ Москву Ларивонъ, второй сынъ Карпа. Артель заработала хорошія деньги, а на третій годъ Ларивонъ не вернулся и остался въ Москвѣ подрядчикомъ. Онъ *все ширился,* купилъ домъ, велъ большія дѣла и только

изрѣдка, пока былъ живъ Карпъ, наѣзжалъ въ Крутыя Горы—полный, кормленый и важный, съ перстнемъ на рукѣ, въ пиджакѣ, съ толстой серебряной цѣпочкой на жилеткѣ. Всякій разъ онъ привозилъ гостинцы, какія-нибудь новинки—фигурный самоваръ, часы съ боемъ, новую гармонику съ колокольчиками; женѣ кофту со стеклярусомъ. Глядя на Ларивона, многіе крутогорскіе и окрестные крестьяне стали тоже ѣздить въ Москву.

Они также привозили оттуда самовары и поддевки тонкаго сукна, и сапоги съ подборомъ, и манишки, и московскія пѣсни, московскіе нравы и московскую рѣчь. Вмѣсто стариннаго „цово“, стали какъ-то особенно нѣжно выговаривать „чиво“, и пѣвучее московское „аканье“ начало вытѣснять грубое крутогорское „о“. Падкія на моды, деревенскія дѣвки скоро выучились „акать“ и говорить „чиво“, скоро запѣли московскія пѣсни, стали снимать сарафаны и шить себѣ кофты и шерстяныя платья по тѣмъ фасонамъ, которые привозила ѣздившая изрѣдка къ мужу Ларивонова жена.

Все было совершенно такъ же, какъ за сто лѣтъ передъ тѣмъ, когда знатные русскіе люди стали ѣздить въ Парижъ и привозили оттуда французскіе слова и парики, французскіе нравы и французскую болѣзнь. И, какъ екатерининскихъ временъ молодые кавалеры-модники, побывавшіе въ Парижѣ, крутогорскіе ферлакуры жадно подбирали по московскимъ трактирамъ модныя словечки и удивляли деревенскихъ дѣвокъ замысловатыми оборотами рѣчи и пахучими остротами...

Все больше появлялись деньги въ селѣ, рѣже наѣзжали щепетильники и крашенинники, исчезали лапти, крашенина, потухала лучина.

Побывавшіе въ Москвѣ привозили съ собой новый воздухъ, новыя потребности, новые вкусы,—запросили чаю, хорошей одёжи. Имъ стало тѣсно въ старинныхъ дѣдовскихъ семьяхъ. И старики стали поговаривать, что парни набаловались и начинаютъ перечить стар-

шимъ. Первой распалась огромная семья Карпа, въ которой было больше сорока человѣкъ. Кромѣ Ларивона, послѣ смерти отца увезшаго изъ села свою семью и совсѣмъ осѣвшаго въ Москвѣ, выдѣлился и младшій братъ Макаръ, и въ длинной, тянувшейся по переулку избѣ Карпа остался только Максимъ, старшій братъ, пѣвшій на клиросѣ басомъ, да подростки отъ умершаго третьяго брата. Глухой шумъ пошелъ по селу.

А отпускать въ Москву надо было. Лѣса вздорожали и быстро таяли, нѣкоторые промыслы, связанные съ дешевымъ лѣсомъ, совсѣмъ прекратились, перестали раздавать по деревнямъ пряжу съ фабрикъ, заработки на мѣстѣ убавились, а деньги дѣлались все нужнѣе и нужнѣе. И дѣдушки ничего не могли сказать, какъ быть въ новыхъ порядкахъ, приходилось самому рѣшаться и предпринимать, самому выбирать новые пути.

Нарождался человѣкъ. Безъ барина, изъ однообразной сѣрой массы мірянъ смутно поднимала голову человѣческая личность и изъ воли семьи, воли міра обособлялась единичная воля. Онъ не всегда былъ пріятенъ, этотъ новый деревенскій человѣкъ, какъ не все было пріятно въ той внѣшней культурѣ, которую онъ несъ съ собой въ деревню, но это былъ человѣкъ, почувствовавшій свое *я*, начинавшій думать, добивавшійся своихъ „правовъ“. То новое, что дала воля и присылала Москва и везла желѣзная дорога, какъ желѣзные клинья въ кряжистый пень, глубоко входило въ вѣковые устои крѣпкаго крутогорскаго міра, ломало и коверкало его, вытѣсняло старинные пѣсни и костюмы, шатало древнюю мораль. Во всемъ этомъ было дурное и хорошее, и въ томъ дурномъ и хорошемъ было нѣчто роковое и неизбѣжное, какъ, надо думать, неизбѣжно было тѣмъ же русскимъ людямъ взять изъ Парижа прежде слово и потомъ уже понятія, сначала надѣть на головы парики и потомъ уже воспринять то, что *было въ* французскихъ головахъ, и какъ есть нѣчто

роковое въ гибели низшихъ культуръ, сталкивающихся съ высшими.

Желѣзнодорожные поѣзда все носились мимо Крутыхъ Горъ и все возили къ намъ и новыя моды, и невиданные костюмы, и лампы, и шандоринъ, и вѣдомости.

Дѣдушки ничего на этотъ счетъ не завѣщали. Они только сказку сложили про того Иванушку, котораго забравшіе силу старшіе братья называли дуракомъ. Дѣдушки наградили его „хотѣньемъ“ и „щучьимъ“ велѣньемъ, по которому сани ѣздили безъ лошадей, и леталъ Иванушка на коврѣ самолётѣ, и надѣвалъ сапоги скороходы, ходившіе по сту верстъ въ день.

Та сказка былью стала. Въ міръ чудесъ, въ которомъ жили дѣдушки, ворвалось новое чудо—длинной вереницей носились передъ Иванушкой желѣзнодорожные поѣзда, какъ молніи летали по тонкимъ проволокамъ человѣческія мысли, хромые начинали ходить и слѣпые—видѣть; но это было другое чудо — вьявь на глазахъ всѣхъ, по человѣческому хотѣнью, оно дѣлалось, до него человѣкъ „доходилъ“ умомъ. Въ міръ вѣры и чувства, мечты и фантазіи въ первый разъ пробивалось новое слово—„наука“ и новое представленіе о силѣ человѣческой мысли.

Въ этомъ свѣтѣ новаго старая деревенская тьма стала еще темнѣе, какъ чернѣе кажется ночь послѣ свѣта комнаты, и крутогорскій темный человѣкъ, съ проснувшейся мыслью и поднявшимися въ душѣ жадными вопросами, подолгу стоялъ предъ гудѣвшей день и ночь желѣзной проволокой телеграфа и говорилъ:

— Темны мы... Ахъ, какъ темны!

А кругомъ все свѣтлѣло... Прояснилось въ нашихъ темныхъ лѣсахъ, грохотъ и свистъ желѣзнодорожныхъ поѣздовъ распугалъ ту нѣчисть, которая владѣла погаными болотами, угрюмыми лѣсными чащами. Отъ

порошковъ Матвѣя Иваныча, отъ машинки дѣвицы Солтухиной, отъ шума и гомона новой жизни, безъ барина, оробѣлъ старый крутогорскій лѣшій и сталъ покидать стремнины и кладези, и озера, и покровы банные: Сталъ покидать и души людскія, и отецъ мой удивлялся, почему все рѣже и меньше кричатъ въ церкви кликуши...

Не было въ Крутыхъ Горахъ человѣка, счастливѣе Антона-бабы. Старый мечтатель съ выздоровѣвшими ногами безъ удержу восхищался всѣмъ тѣмъ, воочію явившимся въ Крутыхъ Горахъ, о чемъ онъ только смутно мечталъ.

— Народъ-то, Степа, чугункѣ какъ обрадовался,— говоритъ мнѣ Антонъ, провожая глазами переполненный людьми поѣздъ.—Все ѣдетъ, все ѣдетъ... Каждому лестно!

Сидитъ Антонъ на желѣзнодорожной насыпи и любуется.

— Ештафету гонятъ...—прислушается онъ къ гудящей проволокѣ.—Примай, молъ, гостей, дровъ—воды припасай...

Какъ первымъ Антонъ проложилъ дорогу къ Матвѣю Иванычу, такъ онъ же первымъ, изъ крутогорскихъ, поѣхалъ на чугункѣ. Побывалъ Антонъ въ Москвѣ, наслушался всласть митрополичьяго хора, навезъ оттуда нотъ и, закинувши назадъ голову, съ закрытыми глазами, въ сладкой истомѣ выводилъ нутромъ на нашемъ клиросѣ новые предпричастные гимны. Побывалъ Антонъ присяжнымъ засѣдателемъ и долго ни о чемъ, кромѣ суда, говорить не могъ.

А старые люди, хранители древнихъ устоевъ, съ тревожнымъ испугомъ прислушивались ко всему новому, нахлынувшему на деревенскій міръ.

— Чего смотрѣть-то? Не больно весело...—угрюмо говорила бабушка, когда ее начинали уговаривать сдѣлать надъ глазами операцію, исходъ которой Матвѣй

Иванычъ обнадеживалъ.—Божье изволенье... Чай, *тамъ* насъ и такъ пустятъ, Домна?—прибавляла она.

И сидѣла она долгіе зимніе вечера съ Домной въ своей старой кухнѣ, прислушиваясь, какъ тихо потрескиваетъ лучина, и вели онѣ длинные разговоры про новые порядки, какъ пошло все шиворотъ-навыворотъ,—мужики сѣли въ барскія хоромы, а генеральская племянница живетъ въ избѣ и мужицкихъ ребятишекъ учитъ; молодые перечатъ старшимъ и дѣдушки судятся въ волости съ внуками; и желѣзная дорога глотаетъ старые крутогорскіе скирды и холсты, и масло, и яйца и вмѣсто хлѣба везетъ кринолины и „вѣдомости“, и самовары, и всякое баловство. И рѣшали онѣ, что не будетъ отъ всего этого добра ни намъ-семьѣ, ни Крутымъ Горамъ.

Гордецы люди стали, противъ Божьяго изволенія пошли, выше Бога хотятъ быть. Сводили разъ бабушку къ желѣзной дорогѣ, долго слушала она, какъ громыхаютъ поѣзда, гудитъ проволока, но больше туда не ходила. Дядя Николай Михайловичъ вздумалъ разъ объяснить бабушкѣ, что теперь никакая туча не страшна, такъ какъ молнію можно желѣзной иглой поймать и въ землю отвести и сказалъ о телеграфѣ, что это—та же молнія, которая сверкаетъ изъ тучи, и что теперь человѣкъ пустилъ эту молнію по проволокѣ и бѣгаетъ она кругомъ всего міра.

Но бабушка сурово остановила его:

— Ври, да не завирайся... То—премудрость Божія, а это—хитрость людская!..

XXI. Варя.

— И въ кого ты, Варька, уродилась?...—часто и на разные лады спрашивали у насъ въ домѣ. Мать спрашивала, смѣясь, отецъ съ недоумѣніемъ, бабушка съ негодованіемъ. Бабушка рѣшила просто.

— Въ материнскую породу... У насъ въ роду этакихъ озорныхъ да отчаянныхъ дѣвокъ не бывало.

Лобастая, съ большими смѣлыми сѣрыми глазами, съ непокорнымъ вихромъ бѣлокурыхъ волосъ, всегда стоявшихъ торчмя, съ бурными порывами, упорная и отчаянно смѣлая, Варька дѣйствительно была очень странна въ нашемъ чинномъ, молчаливомъ, строго дисциплинированномъ домѣ. Бабушка была неправа, Варька напоминала мать только бѣлокурыми волосами да темной родинкой на шеѣ—совершенно такой же какъ у матери; во всемъ остальномъ, высокая, сильная, она уродилась въ крутогорскую породу и когда бывала въ гнѣвѣ, ея темныя брови сдвигались, глаза становились уже и блестѣли,—и она становилась удивительно похожа именно на бабушку.

Варька никого не боялась,—не боялась бабушки и, когда та начинала пилить ее, вступала въ горячіе споры; не боялась отца, не боялась генеральши Солтухиной и, когда ея карета проѣзжала по селу, не пряталась вмѣстѣ съ нами въ подворотню, а нарочно вертѣлась на дорогѣ и скакала на одной ногѣ и разъ даже высунула генеральшѣ языкъ, за что и получила отъ отца хорошую трепку. Но что больше всего поражало насъ, дѣтей,—Варька не боялась того, что казалось намъ страшнѣе всякихъ людей—темныхъ угловъ, покойниковъ, кладбища, всякихъ „непосѣщаемыхъ мѣстъ“, гдѣ водилась нечистая сила.

-- Ну, ужъ это ты врешь...—подымался у насъ въ темный осенній вечеръ горячій споръ. — Небось, не пойдешь сейчасъ въ ригу...—Рига считалась излюбленнымъ мѣстомъ, гдѣ проживалъ *онъ*.

Варька, не задумываясь, бѣжала въ ригу и приносила оттуда что-нибудь, удостовѣрявшее, что она была тамъ. Она бѣгала по ночамъ на кладбище и разъ вечеромъ во время сѣнокоса на Дальнемъ Лугу тоже на споръ выкупалась въ омутѣ подъ мельничнымъ колесомъ, гдѣ вечеромъ не рѣшался купаться ни одинъ мужикъ въ округѣ.

Послѣ одного изъ такихъ споровъ Варька неожиданно объявила намъ, что „все это врутъ“, что нѣтъ ни водяного подъ мельничнымъ колесомъ, ни шишиги, который водитъ людей по лѣсамъ, что покойники мирно спятъ подъ крестами и даже стала отрицать всѣмъ извѣстный фактъ огненнаго змѣя, какъ разъ въ то время летавшаго къ солдаткѣ Агафьѣ. Мы рѣшили, что Варька завралась и привели многочисленныя свидѣтельства существованія оборотней и всякой чертовщины, еще населявшей въ то время наши болота и лѣса въ несмѣтномъ количествѣ.

Такъ какъ Варька уперлась на своемъ, споръ былъ перенесенъ въ высшую инстанцію и отданъ на рѣшеніе матери.

— А дьяволъ-то,—искуситель рода человѣческаго? Видѣла, въ церкви-то на стѣнѣ какой?..

Мать уклонилась отъ обсужденія вопроса въ подробностяхъ, а только замѣтила:

— Востра ты больно, Варька, уродилась... Вотъ погоди, вырастешь,—сшибутъ тебѣ кокъ-то!..

А Варька смотрѣла исподлобья своими сѣрыми глазищами, бѣлокурый кокъ непокорно крутился на головѣ и, топая голыми ногами, она настойчиво повторяла:

— Анъ нѣтъ! Анъ нѣтъ! Анъ нѣтъ!..

Одно время Варька была въ нашей компаніи, цѣлые дни скиталась съ нами, мальчишками, по полямъ и лѣсамъ и подолгу засиживалась у Гришкинаго стада; но она начала слишкомъ самовластно верховодить нами, что̀ было непереносимо для нашего мужского самолюбія,—произошла серьезная драка, во время которой многимъ изъ насъ порядочно досталось. Послѣ этого Варька вышла изъ нашего общества и подобрала себѣ компанію такихъ же непутевыхъ дѣвчонокъ, какъ она сама.

Скоро это сдѣлалась какая-то разбойничья шайка, производившая, необыкновенные дебоши въ солидныхъ и степенныхъ Крутыхъ Горахъ. Вдругъ ночью на улицѣ раздавалось блеянье овецъ, мычанье телятъ,—сама Варька художественно изображала стараго барана съ охрипшимъ голосомъ,—бабы выскакивали на улицу, воображая, что ворота не затворены и скотина ушла, а дѣвчонки разсыпались по закоулкамъ и съ наслажденіемъ наблюдали за поднявшейся суматохой. Повидимому, Варькѣ больше всего нравилось пугать пугливыхъ крутогорскихъ людей. Она выучила своихъ пріятельницъ держать во рту горячую лучину съ краснымъ еще углемъ;—и вотъ въ темные осенніе вечера, когда на улицѣ зги не видно, въ окнахъ какой-нибудь избы, гдѣ собирались посидѣлки, показывались страшные разинутые, пламенѣющіе рты. Паника поднималась необыкновенная, какъ, должно быть, необыкновеннос же получали удовольствіе разсыпавшіяся по улицѣ дѣвчонки; надо думать, Варькѣ доставляло удовольствіе все экстравагантное, нарушавшее чинную тишину крутогорской улицы. Сидятъ въ воскресенье на завалинкахъ старики въ праздничныхъ поддевкахъ, тихо идетъ степенная бесѣда, и вдругъ въ концѣ улицы показывается удивительная процессія:—восемь-десять дѣвчонокъ двигаются по селу на высокихъ ходуляхъ,—впереди, конечно, Варька съ своими босыми, никогда не

отмывавшимися ногами, въ запачканномъ платьѣ, съ растрепанными волосами и торчавшимъ вверху вихромъ,

За всѣ такія штуки намъ, мальчишкамъ, жестоко доставалось бы, а дѣвчонкамъ какъ-то все сходило съ рукъ. Впрочемъ, въ концѣ концовъ взрослые обезпокоились. Бабы приходили къ матери жаловаться.

— Варька-то ваша и моихъ дѣвокъ скружила... Ни ребенка поняньчить не заставишь, ни за пряжу не усадишь.

А мужики говорили отцу:

— Да этакъ онѣ и село спалятъ...

Варька знаетъ, что ждетъ ее дома послѣ какой-нибудь экстренной штуки, и принимаетъ свои мѣры. Она не приходитъ ужинать, гдѣ-нибудь за угломъ дождется, пока въ домѣ потушатъ огонь, и тогда, какъ кошка, взберется по стѣнѣ, откроетъ окно и потихоньку шмыгнетъ подъ одѣяло. А утромъ ея и слѣдъ простылъ; такимъ образомъ устанавливается давность, и Варька хотя съ нѣкоторой опаской, но довольно смѣло является къ обѣду.

— Даже ни капелечки и не больно!..—потряхивая головой, говоритъ Варька, когда мы съ нѣкоторымъ злорадствомъ спрашиваемъ ее насчетъ полученной трепки.

— Эка невидаль! На, оттаскай... —охотно подставляетъ она желающимъ свою голову.

Варька гордилась тѣмъ, что никогда въ такихъ случаяхъ не плакала и за такую стойкость духа пользовалась среди насъ большимъ уваженіемъ.

Иногда отецъ раздумается и начнетъ сокрушенно вздыхать.

— Что-нибудь надо сдѣлать, мать, съ Варькой... Сладу вѣдь нѣтъ. Вотъ на Вознесенье двухъ барановъ запрягла въ телѣжку, да и ѣздитъ по селу. Срамъ вѣдь... Ужъ такая-то вольница растетъ... И въ кого только уродилась?

— И-и, Тимоѳей Лукьянычъ!..—спокойно отвѣчаетъ мать.—Пятки зудятъ, оттого и бѣгаетъ. Только ей и погулять годикъ-другой, а тамъ въ работу пойдетъ,—угомонится. Чай не большая—смирно-то сидѣть,—пусть побѣгаетъ.

У Варьки, должно быть, дѣйствительно зудъ былъ, только не въ однѣхъ ногахъ, а и въ рукахъ, и въ языкѣ, и въ головѣ.

— Да посиди ты хоть полчасика смирно,—уговариваетъ ее мать за обѣдомъ.—Ужъ сколько я объ тебя ложекъ обломала! Этакъ и не напасешься...

Лѣтъ съ девяти-десяти пустили Варьку въ работу,—огородъ полоть, картошку копать, льны дергать, бѣлье полоскать, а вечеромъ пряжу прясть. Къ тому времени компанія Варьки начала разстраиваться, дѣвчонки стали подрастать и тоже были приставлены къ дѣлу. Работала Варька съ тѣмъ же азартомъ, который она вносила во всякое дѣло. И все выходило у ней какъ-то удивительно легко и ловко,—и нитка ея была самая тонкая, и чулки вязала быстрѣе всѣхъ.

— Играючи работаетъ, атаманъ-то нашъ! Золотыя руки...—похваливала Варьку Домна.

Несмотря на всѣ штуки, которыя устраивала Варька, ее очень любили въ домѣ; повидимому, отцу, безпокоившемуся за поведеніе Варьки, въ то же время особенно нравилась ея рѣшительность и отчаянная смѣлость.

— Боецъ! — говаривалъ онъ матери про Варьку, когда былъ въ хорошемъ расположеніи духа.

Въ концѣ концовъ даже бабушка, у которой особенно много непріятностей выходило съ Варькой, стала благосклонно относиться къ ней.

— Всѣмъ бы дѣвка, кабы посмирнѣе была!..

Мой авторитетъ никогда не былъ очень высокъ въ глазахъ Варьки; но все-таки, пока я учился въ духов-

номъ училищѣ, а она оставалась въ Крутыхъ Горахъ, гдѣ съ отъѣздомъ Николая Петровича всякое ученіе прекратилось,—я, повидимому, пользовался у нея нѣкоторымъ престижемъ.

Она жадно перечитывала мои учебники и тѣ рѣдкія книжонки, которыя я привозилъ съ собой изъ училища, изрѣдка спрашивала у меня объясненія того, что не понимала въ тѣхъ, дубовымъ языкомъ изложенныхъ старинныхъ учебникахъ. Выходили и тутъ ссоры. Я хотѣлъ, чтобы она вѣрила мнѣ на слово, какъ мы вѣрили своимъ учителямъ, а она требовала доказательствъ и, когда ихъ не оказывалось, бросала книгу и презрительно говорила:

— Самъ-то, видно, ничего не понимаешь...

Слѣдовала драка, но мои кулаки, повидимому, мало убѣждали ее. Тѣмъ не менѣе, когда приходило время уѣзжать въ училище, Варька дѣлалась очень добра и нѣжна со мной и провожала меня за околицу и говорила мнѣ умоляющимъ голосомъ:

— Не забудь, Степа... Привези книжекъ. Достань побо-ольше, побольше...

Я доставалъ ей исторію Смарагдова и Устрялова, географію Корнеля, хрестоматію Паульсона, грамматику Перевлѣскаго, которая ей очень нравилась, привозилъ „жизнеописанія Плутарха“ и Училище благочестія, двѣ книги, которыя я нѣсколько разъ перечитывалъ. Разъ я даже затратилъ собственныхъ пятнадцать копеекъ и купилъ на базарѣ повѣсть въ пяти частяхъ, кажется, называвшуюся „Кіевская вѣдьма или Днѣпровскіе разбойники“ и поразившую меня трагизмомъ положеній дѣйствующихъ лицъ. А Варькѣ все было мало, и она разыскала по моимъ слѣдамъ библіотеку о. Кирилла у тетки Глафиры и прочитала стихи Державина и Бѣдную Лизу, и барона Брамбеуса, и полное собраніе сочиненій Марлинскаго, и романы Загоскина.

Такъ шло дѣло, пока не открылось въ Малыхъ

Пустошахъ училище и не появилась барышня Солтухина, куда по настоянію матери начали отпускать по зимамъ Варьку. Съ тѣхъ поръ я и моя семинарская наука — въ тотъ годъ я перешелъ въ семинарію — и книги, которыя привозилъ, потеряли всякое значеніе въ глазахъ Варьки, и ея сѣрые глаза насмѣшливо смотрѣли на меня, когда я начиналъ разсказывать отцу про свои успѣхи въ хріяхъ, синекдокахъ и метониміяхъ, которыми я увлекался такъ же, какъ раньше складываньемъ балетмейстера Перро. И несмотря на то, что отецъ очень любилъ эти мои разсказы и повидимому такъ же, какъ по поводу слогосложенія, изумлялся моимъ дарованіямъ,—въ присутствіи Варьки у меня не клеилось и слова вязли въ зубахъ. Я былъ въ періодѣ увлеченія семинарской наукой и былъ весь пропитанъ патріотизмомъ нашей семинаріи, гордившейся многими архіереями и московскими протоіереями и профессорами духовныхъ академій, вышедшими изъ нашихъ стѣнъ, и поэтому не могъ простить Варькѣ ея насмѣшливаго отношенія къ нашей наукѣ и ко всему, что дѣлалось у насъ въ семинаріи.

Наши отношенія обострялись все болѣе и болѣе. Варька привезла на лѣто много книгъ отъ своей учительницы и просиживала цѣлыя ночи въ старой кладовкѣ, которую она выпросила для себя у матери и гдѣ поселилась съ Дашей. Я умышленно пренебрежительно относился къ Варькинымъ занятіямъ и игнорировалъ ея книги.

Временами происходили перемирія, и мы довольно дружелюбно обсуждали литературные и всякіе другіе вопросы, и Варька давала мнѣ свои книги и уговаривала прочесть то или другое мѣсто, которымъ она особенно восхищалась,—но перемирія были такъ коротки, а ссоры такъ продолжительны.

Помню рѣшительную битву, которая произошла между нами. Я былъ уже въ философіи, мнѣ было

шестнадцать лѣтъ, а Варькѣ семнадцать, и хотя она не училась въ школѣ, но продолжала ѣздить по зимамъ къ дядѣ и брать отъ учительницы книги. Варька разсказывала, какъ къ учительницѣ пріѣзжалъ братъ, студентъ-медикъ, и говорилъ объ университетѣ, какъ тамъ занимаются химіей и микроскопомъ, какой теперь прогрессъ въ естественныхъ наукахъ, какъ важно положительное знаніе и проч., проч. Она обращалась къ Дашѣ, но я чувствовалъ, что все это говорится по моему адресу. Вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ духовныхъ академій и университетовъ былъ предметомъ нашихъ давнишнихъ споровъ. Съ высоты семинарскаго величія мы относились пренебрежительно къ свѣтской наукѣ, а на университантовъ смотрѣли, какъ на существа легковѣсныя, не могущія идти ни въ какое сравненіе съ солидными академиками. Въ этотъ разъ я былъ особенно сердитъ. Даша, мой вѣчный другъ и неизмѣнный поклонникъ, на моихъ глазахъ стала переходить на сторону Варьки.

— Тоже къ намъ одинъ такой-то форсистый разлетѣлся...—умышленно-равнодушнымъ тономъ вмѣшался я въ разсказъ Варьки.—Братъ у него со мной въ философіи учится, ну, да у насъ его живо сократили.

— Любопытно, какъ же это у васъ его сократили?

Варькины брови сдвинулись и глаза стали ѵже и темнѣе.

— А такъ... Про мозги разсказывалъ. Все ужъ имъ тамъ извѣстно,—гдѣ мысли дѣлаются, гдѣ слова родятся... Про Муція Сцеволу еще говорилъ, почему руку съ огня не отнялъ. Мололъ, мололъ... А Данилъ Михайлычъ—первый ученикъ у насъ въ богословіи—однимъ словомъ его срѣзалъ.

Я разсказывалъ нарочно медленно, заранѣе смакуя эффектъ, а Варька вся горѣла и вплотную придвинулась ко мнѣ и, теребя за рукавъ, нетерпѣливо говорила:

— Ну, ну!...

— Только и сказалъ Данилъ Михайловичъ: „позвольте, говоритъ, васъ спросить, какъ у васъ въ университетѣ понимаютъ... Что такое, говоритъ, Сущность? И потомъ, говоритъ, Бытіе?“ Университантъ-то и хвостъ поджалъ. Тутъ и началъ гвоздить его Данилъ Михайловичъ. „Вотъ, говоритъ, вы разсказали намъ, что находится внутри у лягушки и все прочее, а позвольте васъ спросить“... И пошелъ, и пошелъ... А тотъ—какъ воды въ ротъ набралъ.

Эффектъ вышелъ не совсѣмъ тотъ, котораго я ожидалъ. Варька широко открыла глаза и энергично выговорила:

— Ду-уракъ!

Я не могъ принять восклицанія на свой счетъ, но что-то было въ Варькиномъ голосѣ, что не позволяло отнести его и по адресу университанта. Я принялъ угрожающую позу.

— Ты не больно зазнавайся, Варька!

Она отступила къ двери и убѣдительно выговорила:

— Какъ есть настоящій дуракъ!

Черезъ минуту я бѣжалъ за Варькой со сжатыми кулаками, а она неслась по саду и во всеуслышанье кричала:

— Дуракъ, дуракъ, дуракъ!

— Онъ у насъ смирный...—говорили отецъ и мать роднымъ и знакомымъ, когда рѣчь заходила обо мнѣ.

Кажется, больше и нечего было сказать обо мнѣ. Я росъ слабый и тихій, слушался старшихъ, не обижалъ маленькихъ, не любилъ драться,— не считая инцидентовъ съ Варькой, гдѣ я находилъ себя обиженной стороной,—былъ достаточно робокъ, думалъ, что Крутыя Горы—лучшее на землѣ мѣсто, вообще былъ смир-

ный крутогорскій человѣкъ. Антонъ-баба и другіе мужики-пріятели звали меня: „нашъ попикъ“, и въ семьѣ съ тѣхъ поръ, какъ старшій братъ, не кончивши семинарію, женился и поступилъ дьякономъ въ другой уѣздъ, давно рѣшили, что я буду священникомъ въ Крутыхъ Горахъ. Въ особенности объ этомъ говорила бабушка, очевидно, мечтавшая, что я сяду въ старое гнѣздо и буду продолжать нашъ старинный крутогорскій родъ. Мои блестящія дарованія были въ воображеніи отца и не пошли дальше слогосложенія, но я учился сносно, нигдѣ не оставался и могъ разсчитывать окончить по первому разряду, такъ что и съ этой стороны препятствій не было.

И для меня это была старинная мечта. Я не могъ надѣяться на посылку въ академію, да меня и не тянуло туда. Будущее казалось такъ ясно и просто, не было ничего лучше на свѣтѣ, какъ воротиться въ свое родное село и зажить тихой жизнью въ старомъ гнѣздѣ. Сложитъ отецъ свои усталыя руки, отдохнетъ мать отъ горя и заботъ, буду лелѣять ихъ тихую старость и потянутся ясные дни въ дружбѣ и любви съ крутогорскими людьми, которыхъ я давно зналъ и давно любилъ...

Такъ хорошо было мечтать обо всемъ этомъ именно въ нашей семинаріи. Странная была семинарія. Былъ 71—72 годъ. Въ сосѣдней губерніи больше половины того философскаго класса, въ которомъ я учился, уходила въ университетъ и другія высшія свѣтскія учебныя заведенія; а изъ моихъ товарищей никто не собирался покидать духовное званіе, почти никто не читалъ тѣхъ русскихъ писателей, которыхъ всѣ читали, не интересовался тѣмъ, что волновало семинаристовъ въ другихъ семинаріяхъ, и глухая заброшенная семинарія продолжала жить, какъ жила пятьдесятъ лѣтъ назадъ, изощряясь въ философско-богословскихъ спорахъ, замкнутая въ себѣ, далекая отъ жизни.

Далекая отъ жизни. Тамъ не было ни города, ни деревни, не было ни одного приходящаго воспитанника, ни одного, который жилъ бы въ семьѣ и приносилъ бы намъ, бурсакамъ, запахъ семьи, запахъ другой жизни. Рядомъ былъ монастырь, а кругомъ большой старый лѣсъ и тянувшаяся на нѣсколько верстъ гладь озера. Лѣтомъ мѣсто оживало. Въ монастырь пріѣзжали экипажи, нарядныя дамы и кавалеры, шли бабы съ мѣдными лицами и запыленными котомками, странники съ посохами, а потомъ жизнь замирала. Пустынно шаркали ноги согбеннаго старика монаха, зажигавшаго свѣчи, пустынно мерцала лампада предъ темнымъ ликомъ Скорбящей Божіей Матери въ томъ темномъ углу, который такъ любили семинаристы. А потомъ была семинарія, угрюмое зданіе, смотрѣвшее въ озеро угрюмыми башнями. Крутился снѣгъ по широкой глади озера, сугробы заносили старыя стѣны, тяжело и протяжно вылъ вѣковой лѣсъ... Вечеръ. Прозвонили монастырскіе колокола свою печальную вечернюю молитву. Тяжелое молчаніе повисло надъ огромнымъ каменнымъ домомъ и наклонившимися надъ книгами молодыми лицами. Гдѣ-то вдали открываются и закрываются двери и все ближе и ближе доносится короткій, отрывистый звукъ желѣзнаго посоха. Изъподъ чернаго клобука сухіе блестящіе глаза аскетическаго угрюмаго лица впиваются въ молодыя, блѣдныя, испуганныя лица, словно ищутъ въ нихъ грѣшныхъ мыслей... Короткій, жесткій звукъ желѣзнаго посоха замираетъ вдали. Поздній вечеръ. Вернулись съ ужина,— вернулись такіе же голодные, какъ и пошли. Въ углу башни серьезныя лица—идетъ споръ о „сущности“ и „бытіи“, объ ипостасяхъ, о природѣ ангеловъ. Въ послѣднемъ номерѣ хохотъ, мой товарищъ Владыкинъ сквернословитъ и богохульствуетъ. Вотъ уже второй мѣсяцъ онъ гдѣ-то достаетъ водку и пьетъ по ночамъ. Онъ первый ученикъ въ нашемъ классѣ, пишетъ стихи о

лунѣ и о дѣвѣ, о смерти и объ изгнаніи, у него нѣжный голосъ и нѣжное дѣвичье лицо и чарующіе глаза, огромные и темные; онъ — самый чистый и цѣломудренный изъ всѣхъ насъ—разсказываетъ самыя грязныя, самыя циничныя богохульственныя исторіи, онъ, котораго я видалъ обливавшагося слезами на колѣняхъ предъ темнымъ ликомъ Скорбящей Божіей Матери. А дальше спѣвка—„Чертогъ твой вижду, Спасе мой, украшенный“, звенящимъ восторгомъ возносится хоръ.

— „И одежды не имамъ внити въ онь“...—покаянно и страстно гудятъ басы. А потомъ свѣтлые и чистые, полные слезъ три дѣтскихъ голоса молятъ:

— „Да исправится молитва моя!“

Грубо и тревожно пропѣла струна віолончели изъ дальней башни.

И въ безмолвіи ночи поднимается съ подушки заплаканное лицо. „И одежды не имамъ внити въ онь“...— шепчутъ губы. Вспоминаются всѣ грѣхи и сомнѣнія, и дерзкія рѣчи, и лукавыя мысли, и манящая даль, зовущіе соблазны міра, и губы снова шепчутъ: „Да исправится молитва моя!“ И въ кающейся душѣ поднимаются мысли объ отреченіи отъ міра, о суровой кельѣ...

Потомъ прилетали грачи съ черными клювами. Они поселялись въ старыхъ гнѣздахъ и кричали громкими, напряженными голосами. Голыя вѣтви старыхъ липъ уродливо тянулись въ засинѣвшую высь неба, изнывающій ледъ медленно и тихо опускался на дно озера... А потомъ прилеталъ соловей... Подъ окнами башни изъ густой заросли озера возносились къ небу страстные торжественные призывы; они поднимались надъ угрюмыми башнями, надъ вѣковыми деревьями, надъ дымящимся озеромъ, надъ озаренными луннымъ сіяніемъ золотыми главами монастырскихъ церквей и звучали, какъ колоколъ, и звали изъ башенъ на широкій просторъ божьяго міра, наполняли душу тоской и смятеніемъ... Шар-

кали ноги стараго монаха въ пустынномъ храмѣ, трепетно мерцали лампады, тусклый свѣтъ предразсвѣтнаго утра медленно плылъ въ старыя окна, подъ темные своды. Тогда изъ затихшаго, померкшаго лѣса выходилъ юноша съ смятенной душой и входилъ въ пустой храмъ и, припавши горячимъ лбомъ къ холоднымъ каменнымъ плитамъ, взывалъ къ Скорбящей Божіей Матери и молилъ очистить его душу, разрѣшить сомнѣнія и укрѣпить вѣру и направить на путь истинный...

Ту весну я пролежалъ въ больницѣ. Долго я ни чего не помнилъ. Только черные грачи все били въ мою голову твердыми клювами и громко кричали надо мною, и руки у меня были связаны, на ногахъ лежали тяжелыя гири, все не могъ я прогнать черныхъ грачей.

Когда я вышелъ изъ больницы, все было кончено, все ушло, словно провалилось кудо-то. Во мнѣ было пусто и холодно и душа была, какъ разоренное гнѣздо. Все, что было такъ близко и ярко, сдѣлалось блѣдно и казалось такъ далеко, отодвинулись Крутыя Горы, поблѣднѣли прежнія мечты о священствѣ. Не было ни вѣры, ни сомнѣній, ничто не было нужно и ничто не было важно. И не было во мнѣ молитвы. Была только тоска. Глухая безпредметная тоска поднималась въ покинутой душѣ и некуда было отъ нея дѣться, и одиночество сдѣлалось нестерпимымъ въ толпѣ сотенъ лицъ, отъ которыхъ некуда было укрыться. Я попробовалъ напиться съ Владыкинымъ, который за время моей болѣзни былъ исключенъ изъ семинаріи и временно проживалъ въ монастырѣ у дяди, но никакого облегченія не получилось.

Въ концѣ концовъ я ушелъ, воспользовавшись четырьмя неучебными днями, подошедшими на Троицу. Я ушелъ къ дядѣ въ Малыя Пустоши.

Я хорошенько не зналъ дороги, мнѣ предстояло

идти одному лѣсомъ около сорока верстъ, но мнѣ неудержимо захотѣлось уйти подальше отъ семинарскихъ стѣнъ, увидѣться съ кѣмъ-нибудь изъ родныхъ, близкихъ. Я засталъ у дяди Варю и не узналъ ея. Она выросла за зиму и похудѣла, поблѣднѣвшее лицо сдѣлалось мягче и тоньше и непокорный вихоръ бѣлокурой прядью сбѣгалъ на лобъ, и вся она въ холстинковомъ платьѣ, стянутая кожанымъ поясомъ, съ подобранными волосами, стройная и изящная, казалась мнѣ совсѣмъ другой, незнакомой мнѣ Варькой. Новое выраженіе тихой нѣжности легло на ея лицо, и съ новой манерой, трогавшей меня, бережно и деликатно, разспрашивала она о моей семинарской жизни, тщательно обходя все то, что могло бы поднять старое раздраженіе, возбудить прежніе споры. Варя сидѣла на моей кровати, — я не разсчиталъ своихъ, еще не возстановившихся силъ, провалялся ночь въ лѣсу и еле добрался до Малыхъ Пустошей,—и, вся просвѣтленная, растроганнымъ голосомъ разсказывала мнѣ, какіе успѣхи дѣлаетъ школа и какъ все больше привлекаетъ къ себѣ крестьянъ и какъ Анна Валеріановна взяла къ себѣ Наташу, дочь Антона-бабы, недавно овдовѣвшаго, и готовитъ ее къ экзамену на сельскую учительницу, и какъ она, Варя, рѣшила поступить на акушерскіе курсы. Какъ все это было необыкновенно хорошо, свѣтло и радостно!...

Какъ все было необыкновенно радостно и свѣтло тамъ, въ новой бревенчатой избѣ, еще пахнувшей смолой, у Анны Валеріановны, куда Варя потащила меня на другой день! Я совсѣмъ не такой ожидалъ увидѣть учительницу Солтухину. Должно быть, разсказы о. Платона о семибашенномъ замкѣ и героическомъ генералъ-аншефѣ Солтухинѣ и старое представленіе объ угрюмой богоявленской усадьбѣ и свирѣпыхъ псахъ настроили меня такъ, что я ожидалъ увидѣть нѣчто болѣе внушительное и, такъ сказать, великолѣпное. Она была совсѣмъ не великолѣпна, эта маленькая дѣвушка

съ простымъ, деревенскимъ лицомъ, кутавшаяся, несмотря на теплый день, въ большой платокъ, словно ей было постоянно холодно, съ добрыми, опухшими глазами и слабымъ, нѣжнымъ голосомъ. Зато кругомъ все было необыкновенно и великолѣпно и ничего подобнаго я не видѣлъ въ жизни. На тянувшихся по стѣнамъ полкахъ была разложена маленькая минералогическая коллекція, виднѣлись склянки съ химическими реактивами, на отдѣльномъ столикѣ стояли физическіе инструменты и между ними знаменитая электрическая машинка, надѣлавшая такъ много шуму въ нашемъ уѣздѣ, а кругомъ все книги и книги. Надъ постелью висѣлъ большой портретъ Гарибальди, а надъ письменнымъ столомъ, заваленнымъ тетрадями, висѣли въ темныхъ рамкахъ портреты русскихъ писателей, которыхъ я видѣлъ въ первый разъ и имена многихъ изъ нихъ только слышалъ; и съ жаднымъ любопытствомъ всматривался я въ эти чуждыя мнѣ лица, казалось, такъ похожія одно на другое, проникнутыя чѣмъ-то однимъ, какимъ-то общимъ выраженіемъ. А въ открытую дверь виднѣлся просторный, свѣтлый классъ, гораздо лучше нашихъ темныхъ семинарскихъ классовъ, съ рядами новенькихъ партъ, съ географическими картами, съ картинами изъ естественной исторіи на стѣнахъ. Все это было свѣтло, опрятно и уютно, и чувство какой-то особенной радости, что-то въ родѣ умиленія поднималось во мнѣ.

А Анна Валеріановна всматривалась въ меня своими добрыми глазами и старалась заставить меня разговориться. Это было очень трудно. Въ неуклюжемъ семинарскомъ сюртукѣ, въ рыжихъ сапогахъ и не очень чистой, послѣ ходьбы, косовороткѣ я чувствовалъ себя ужасно нелѣпымъ въ этой опрятной, чистой комнатѣ; кромѣ того, мнѣ приходило въ голову, что Варя передала учительницѣ мой разговоръ насчетъ ея брата и университета, и мнѣ казалось, что Анна Валеріановна

должна презирать меня. Она оставила меня въ покоѣ и скоро забыла про меня, увлекшись споромъ съ Варей.

Я проглядѣлъ то, что сдѣлалось съ Варей за четыре года ея занятій съ Анной Валеріановной, и теперь съ изумленіемъ слушалъ, какъ она спорила и отстаивала свое мнѣніе и говорила о Бёрне и Гейне, о которыхъ я не слыхалъ въ семинаріи.

Новая, незнакомая мнѣ Варя ходила по комнатѣ съ сдвинутыми бровями и волнуясь, и спѣша говорила:

— Красота, вы говорите... Конечно, красота! Только какая ужъ честь, когда нечего ѣсть! То-то и дѣло, что у Гейне сначала красота, а потомъ ужъ правда, а мнѣ нужно знать, гдѣ правда, и гдѣ неправда, что хорошо и что дурно, какъ людямъ лучше жить. Вѣдь вотъ я Бёрне понимаю, и Бѣлинскаго понимаю, и „Темное царство“ понимаю. А въ нихъ не красота? Не самая настоящая, не самая праведная красота?

— Тебѣ вѣдь самой нравилось, Варя, — говорила Анна Валеріановна,—помнишь—

„Въ горы отъ васъ ухожу я,
Въ горы, гдѣ набожны люди,
Въ горы, гдѣ воздухъ свѣжѣе,
Легче гдѣ дышится груди“...

— Ну, и нравится...—упрямо говорила Варя,—а все-таки какъ онъ поступилъ съ Бёрне...

— Подожди, посиди немного. Ты, кажется, этого не читала.—Анна Валеріановна достала книжку и начала читать.—Оно и теперь мое любимое стихотвореніе, но нѣкоторыя строфы я помню еще съ тѣхъ поръ:

„А теперь, когда я много
Ѣздилъ, видѣлъ и читалъ,
Безгранично сердцемъ вѣрить
Я въ Святого Духа сталъ
. . . . . .

Чтобъ Его свершилась воля,
Выбралъ рыцарей себѣ,
Далъ имъ гордую отвагу,
Приготовилъ ихъ къ борьбѣ".

Блѣдное лицо порозовѣло и взволнованный голосъ такъ чудно выговорилъ:

„Рыцарь Духа предъ тобой!"

Варя затихла и сидѣла, подперши голову руками, и смотрѣла далеко предъ собой большими, сѣрыми глазами.

— А ты, Наташа, любишь красоту?—обратилась Анна Валеріановна.

Наташа сидѣла въ углу съ задумчивыми, мечтательными глазами своего отца и плела вѣнокъ изъ васильковъ. Жидкая, свѣтлая косичка дрогнула на головѣ Наташи, румянецъ залилъ веснушки на худенькомъ лицѣ и тоненькій съ дѣтскими нотами голосъ застѣнчиво выговорилъ:

— Я люблю Некрасова, Анна Валеріановна...

На Варю нашло то настроеніе, когда про нее говорили въ семьѣ: „бѣсится". Она схватила Наташу въ охапку, долго вертѣлась съ ней по комнатѣ, разсыпая Наташины васильки, и все повторяла: „Некрасова, Наташенька! Некрасова! И я люблю Некрасова!" и запыхавшаяся, съ раскраснѣвшимся лицомъ и сіяющими глазами сѣла на диванъ, рядомъ съ Анной Валеріановной.

— Анна Валеріановна! Голубушка! — упрашивала она.—Приходите сегодня къ дядѣ! Сыграйте что-нибудь... Знаете, Степа еще никогда не слыхалъ рояля. Пожалуйста!

— И бурю споемъ?—смѣясь, говорила учительница.

И вечеръ вышелъ удивительный.

Я не знаю, что играли старые клавикорды, но они чудесно играли чудесныя вещи. Потомъ Анна Валеріановна аккомпанировала, а дядя, Варя и случайно заѣхавшій Матвѣй Ивановичъ пѣли: „Смѣло, братья, вѣ-

тромъ полнымъ...“ И никогда не бросалось такого гордаго вызова бурѣ и безднѣ, и сердитому валу и не выражалось такой непоколебимой увѣренности бороться съ бурей и быть „крѣпкими душой“. А потомъ пѣли хоромъ и все новыя незнакомыя мнѣ пѣсни. Разошелся дядя, развеселился Матвѣй Ивановичъ, и на блѣдныхъ щекахъ Анны Валеріановны выступилъ румянецъ, а веселѣе всѣхъ была эта стройная, бѣлокурая дѣвушка съ блестящими, смѣлыми глазами и нѣжной улыбкой служившая центромъ, соединявшая всѣхъ. Потомъ былъ ужинъ, и тетушка вынула завѣтную бутылку наливки, и до глубокой ночи просидѣли за столомъ. Матвѣй Ивановичъ сидѣлъ съ Анной Валеріановной, смотрѣлъ очень ласково ей въ глаза и разсказывалъ, какъ ему удалось справиться съ эпидеміей оспы и какъ земство обѣщало ему выстроить больницу; говорила Анна Валеріановна, говорила Варя и такія все хорошія слова говорились; только я сидѣлъ молча, съ сознаніемъ своей невѣжественности, своей ненужности,—и все-таки мнѣ было тепло и радостно.

. . . . . .

— И всѣ будутъ счастливы... Вѣдь ему нужно только образованіе, нужно только научить его, какъ жить...— спѣша и волнуясь говорила мнѣ Варя, разставаясь на опушкѣ лѣса. Глаза ея были влажны и капельки росы блестѣли на свѣтлыхъ волосахъ.—Ты подумай, Степа! Если бы доктора, учителя, адвокаты пошли бы къ нему въ избу! И пойдутъ, Степа... Матвѣя Ивановича при клиникѣ оставляли, а онъ въ деревню ушелъ... А тамъ ужъ у него будутъ свои доктора, свои инженеры, свои учительницы. Вотъ Анна Валеріановна говоритъ, что изъ Наташи выйдетъ отличная учительница. Вѣдь сколько сдѣлать можно! Вѣдь на это жизнь положить можно! Степа!--зазвенѣвшимъ голосомъ говорила она. И спѣшила она, и волновалась, словно боялась, что не все скажетъ.--Вотъ я недавно читала про Пинскія

болота... Лихорадка, бѣдность, калтунъ въ волосахъ, населеніе вымираетъ... Вѣдь ихъ спасти можно, Степа! А наше Поганое болото? А пустоши? Будь ты агрономъ,—что бы сдѣлать можно? Поселились бы мы съ тобой вмѣстѣ,—я акушеркой была бы, а ты бы агрономъ, училъ бы новымъ пріемамъ, вводилъ бы усовершенствованныя орудія... Степа, хорошій мой!..

Мы стояли обнявшись. Мои глаза были также влажны и я говорилъ Варѣ, какъ нехорошо мнѣ было въ семинаріи и какъ я счастливъ теперь и какіе хорошіе люди Матвѣй Ивановичъ и Анна Валеріановна и какъ мнѣ хотѣлось бы осушить Пинскія болота.

. . . . . , ... , . . .

Со мной была вѣра, во мнѣ была молитва. И все молилось кругомъ. Солнце только что поднималось и широкими полосами прорѣзывало лѣсную чащу, предо мной вилась лѣсная дорожка и уходила въ узкую просѣку, полную и тайны, и тьмы, и просыпающагося, трепещущаго свѣта. Благовонной смолой пахли сосны, какъ свѣчки пламенѣли красныя шишечки на темныхъ вѣтвяхъ елей, птицы пѣли гимны о будущемъ счастьѣ человѣчества и кукушка вдали настойчиво повторяла, что оно придетъ, придетъ, придетъ...

XXII. Отъѣздъ Вари изъ Крутыхъ Горъ.

Варя рано вернулась домой и первое объясненіе съ отцомъ вышло до меня. Косили на Дальнемъ Лугу. Варя шла за отцомъ вмѣсто старшей сестры.

— Ай да Варька!—похвалилъ отецъ, остановившись отдохнуть.—Вотъ погоди,—смѣялся онъ,—осенью мы тебѣ жениха сыщемъ...

— Я прошу отпустить меня осенью учиться въ Москву...—какъ-то неожиданно для себя выговорила Варя, не думавшая объясняться тутъ, на лугу.

Я думаю, если бы громъ внезапно загремѣлъ съ безоблачнаго неба, онъ не такъ бы удивилъ отца.

— Что-о?—недоумѣвающими глазами смотрѣлъ онъ на Варю.

— Учиться хочу ѣхать... На акушерскіе курсы, — повторила Варя.

— Дура!—засмѣялся отецъ.—Бери косу, пройдемъ еще рядовъ пять.

Прошли еще пять рядовъ. Опять остановились.

— Вы, тятенька, отпустите меня. Это дѣло рѣшенное...

Отецъ неудомѣвалъ, смѣется ли она, или говоритъ серьезно.

— Кто же это рѣшилъ?

— Я рѣшила...—отвѣтила Варя.

— Дура, такъ дура и есть...

Этимъ и закончились объясненія на этотъ разъ.

Я засталъ въ домѣ странную, напряженную тишину. Только что предъ моимъ пріѣздомъ отецъ вернулся изъ города—мать недоумѣвала, зачѣмъ онъ ѣздилъ—и вечеромъ за чаемъ, ни къ кому не обращаясь, обронилъ угрюмую фразу:

— Поразсказалъ мнѣ о. Демидъ насчетъ стриженыхъто дѣвокъ...

Мать плакала, отецъ цѣлыми днями молчалъ, былъ постоянно раздраженъ и, повидимому, совсѣмъ не замѣчалъ присутствія Вари.

Было воскресенье вскорѣ послѣ второго Спаса. Пили чай послѣ обѣдни, къ столу подошла Варя. Помню, на ней было бѣлое съ черными горошками ситцевое платье, на шеѣ бархотка. Лицо было блѣдно и сѣрые глаза смотрѣли строго и словно запали внутрь.

— Тятенька! Мнѣ нужно выписку изъ метрики и отъ васъ бумагу—согласіе. Скоро экзамены...

Отецъ изо всей силы ударилъ кулакомъ по столу такъ, что самоваръ закачался, чашки запрыгали, и

сталъ медленно и тяжело подниматься съ дивана, словно это стоило ему большихъ усилій. Лицо у него побѣлѣло, глаза сдѣлались круглые, страшные.

— Ты что это? Дурь-то не выкинула?—глухо заговорилъ онъ, подходя къ Варькѣ, отчего она невольно отшатнулась назадъ.—Стриженой дѣвкой хочешь быть? Да я тебя на цѣпь посажу, какъ собаку бѣшеную!—загремѣлъ его голосъ. - Ты у меня въ монастырѣ сгніешь...

Отецъ кричалъ, его лицо становилось страшнѣе и страшнѣе, и вдругъ онъ поднялъ огромный волосатый кулакъ.

Варя какъ-то вся подалась впередъ и встала вплотную передъ отцомъ, съ опущенными руками, съ помертвѣвшимъ лицомъ и впившимися въ лицо отца, сдѣлавшимися такими же круглыми и страшными глазами.

Рука отца медленно опустилась, онъ, пошатываясь, подошелъ къ двери, нѣсколько секундъ пащупывалъ, словно искалъ, ручку и вышелъ вонъ.

Все это было дѣломъ одной минуты. Мы тряслись, какъ въ лихорадкѣ. А Варя долго стояла какъ каменная и потомъ съ воплемъ бросилась на постель. Что-то я говорилъ ей, плакала надъ ней мать, обнимая бившуюся въ подушкахъ голову,—долго ничто не могло остановить отчаяннаго, безумнаго приступа рыданій.

Варя ушла въ лѣсъ и только поздно вечеромъ вернулась домой. Отецъ не выходилъ ужинать. За столомъ сидѣли мы, дѣти, и мать.

— Маменька! Вы скажите, чтобы меня отпустили добромъ. Я все равно уйду, куда глаза глядятъ уйду, босикомъ уйду, ночью уйду.—Лицо Вари было холодно и строго. Она медленно говорила ровнымъ голосомъ.— На цѣпь меня все равно не посадятъ... Такъ и скажите, все равно уйду, ночью уйду, безъ паспорта, безъ денегъ.

— Поговорю, Варенька,— покорно отвѣтила мать.— Только не знаю, выйдетъ ли что-нибудь. Видишь, какой онъ сердитый!—Въ глазахъ матери засвѣтилось

знакомое мнѣ злое выраженіе.—Все онъ, подлый человѣкъ, о. Демидъ наговорилъ. Замучилъ своихъ-то, хочется и чужихъ обидѣть, чтобы и другіе мучили, извергъ, прости Господи.—Мать подвинулась ближе къ Варѣ.—И чего ты, Варенька, уходишь отъ насъ? Развѣ мы тебя обижаемъ? Ежели работа тяжела, да брось ты ее, слова отецъ не скажетъ. Замужъ тебя не неволятъ, живи, какъ хочется. И что тебѣ ходить, да голодать-то тамъ! Сама знаешь достатки наши,—не изъ чего дать-то... Будешь ты тамъ одна, всего натерпишься. Знаешь, въ Москвѣ народъ-то какой озорной...

— Ахъ, маменька, что работа!—нетерпѣливо отмахнулась Варя.—Живи, какъ хочется... Да какъ здѣсь жить-то, для чего жить-то? Замужъ я не хочу идти, да если и замужъ... Что вамъ сладко жилось? Вспомните-ка. Всю жизнь только плачете... Сами разсказывали, какъ вамъ сначала-то приходилось.

— И не говори, Варенька,—тотчасъ же согласилась мать.—Кажется, и нѣтъ хуже нашей бабьей жизни въ духовномъ званіи!

— Вотъ видите... А вы подумайте, маменька.—Варя обняла мать за шею и съ оживившимся лицомъ и выступившимъ на щекахъ румянцемъ заговорила. Выучусь я всему-всему, что знать нужно. Буду я птица вольная, куда вѣтеръ потянетъ, туда и полечу! Люди тамъ, маменька, все хорошіе, другъ дружкѣ помогаютъ. А буду акушеркой, сколько людямъ добра-то сдѣлать могу! Вѣдь вонъ у насъ то и дѣло слышишь, родами померла...

— Ужъ пасчетъ этого, Варенька, такъ ли по деревнямъ плохо, такъ ли плохо... И моя мать, бабушка твоя, тоже разродиться не могла - кончилась. Что говорить!—увлекается мать.—Ужъ это на что бы лучше, сама себѣ барыня, ни ты ни къ кому, ни къ тебѣ никто... Какъ вонъ у насъ въ городу акушерка-то живетъ, чисто помѣщица.—Мать спохватывается, что говоритъ въ руку Варѣ, вмѣсто того, чтобы отговаривать ее, и круто мѣняетъ

тонъ.—Страшно больно и отпустить-то одну. Охальникъ народъ-то... А потомъ, слышно, Богу не молятся, по средамъ-пятницамъ скоромное ѣдятъ, набалуешься и ты съ ними. Отецъ-то отчего разсердился? Кто за тебя отвѣтъ Богу-то давать будетъ? Все мы же...

На другой день отецъ съ матерью долго сидѣли, запершись въ новой горницѣ, и потомъ было объявлено рѣшеніе: отецъ даетъ бумаги и отпускаетъ Варю.

— Только,—со слезами прибавила мать,—видѣть тебя, Варенька, не хочетъ. Говоритъ, боится опять разсердиться. И денегъ дать не можетъ, пусть, говоритъ, живетъ, какъ знаетъ.

Какъ весела была Варя эти дни передъ отъѣздомъ! Она обѣгала всѣ свои любимыя мѣста, перецѣловалась со всѣми пріятельницами-дѣвками. И только когда входила въ домъ, видѣла плотно затворенныя двери новой горницы, лицо ея какъ-то сморщивалось и брови сурово сдвигались. Мать то плача, то смѣясь, готовила ей бѣлье, портной изъ Богоявленскаго, какъ Варя ни отказывалась, наспѣхъ передѣлывалъ въ осеннюю кофточку старое материнское пальто. Изъ какихъ-то потаенныхъ мѣстъ мать извлекла съ чѣмъ-то десять рублей своихъ сбереженій за проданное масло и ленъ, приблизительно столько же выручила за медъ и яблоки, зашила все это въ ладонку и собственноручно повѣсила на шею Варѣ, чтобы въ дорогѣ воры не обокрали. Напекли безчисленное количество сдобныхъ лепешекъ, накалили яицъ, баночку медоваго варенья въ сундучокъ положили,—вотъ и прощанье.

Помню неловкое ожиданіе въ горницѣ. Мать не знала, выйдетъ ли отецъ проститься. Свѣчка была зажжена предъ образами, запряженный Сивко стоялъ у крыльца, когда вошелъ отецъ. Онъ очень измѣнился за недѣлю. Поблѣднѣвшее и осунувшееся лицо выглядѣло усталымъ.

— Присядемте,—ни на кого не глядя, сказалъ отецъ. Посидѣли, потомъ стали предъ образами.

Отецъ жарко молился, его губы что-то беззвучно шептали. Варя разсѣянно клала поклоны. Мы всѣ чувствовали себя тревожно.

-- Ну, Варвара,—дрогнувшимъ голосомъ заговорилъ отецъ.—Блюди себя, объ насъ помни, стыда не клади на нашу голову. Смотри, чтобы отцу съ матерью плакать изъ-за тебя не пришлось,—онъ волновался и торопливо вынулъ сдѣланный изъ газетной бумаги пакетикъ.—Вотъ тутъ пятнадцать... Коли рожь въ цѣнѣ будетъ, къ Николѣ вышлю. Не труди себя очень-то... Нужда будетъ, напиши, телку продамъ.

Варя, очевидно, не ожидала ничего подобнаго, она горячо поцѣловала руку отца и неловко потянулась къ нему.

— Ну, ну!—цѣлуя ее, торопливо говорилъ отецъ.—Дальніе проводы—лишнія слезы.--Отецъ широко перекрестилъ ее со словами:—Храни тебя, Господи!

Долгіе поцѣлуи и слезы. Заплаканное и улыбающееся лицо Вари, все оглядывающейся на домъ. Вотъ уже не видно и телѣги и только тамъ, около перелѣска, крутится какъ дымокъ пыль по дорогѣ. Прощай, Варя! И въ кого ты, Варька, уродилась! . . . . . .

Лѣтомъ у меня былъ урокъ, и Захаръ Аѳанасьевичъ, у котораго я готовилъ въ уѣздное училище младшаго сына, наградилъ меня пятнадцатью рублями. Осенью, въ первые же два праздника я отпросился изъ семинаріи въ Москву и навѣстилъ Варю.

Мы сидѣли въ маленькой комнаткѣ, отдѣлявшейся не доходившей до потолка перегородкой отъ хозяевъ; Варя шила бѣлье изъ толстаго холста и разсказывала, какъ она чудесно устроилась. Сначала крутенько пришлось... Она рано пріѣхала въ Москву и никого не застала изъ тѣхъ, къ кому дала ей письмо Анна Валеріановна. Пришлось самой устраиваться, но все отлично вышло. За комнату платитъ четыре рубля, стряпаетъ сама. Ребенокъ частенько плачетъ, хозяева дерутся, но

не часто и при томъ вечеромъ, когда мужъ—мастеръ на фабрикѣ—приходитъ домой и рано ложится спать; такъ что ночью никто не мѣшаетъ заниматься, а днемъ ей все равно некогда: то на курсахъ, то шьетъ бѣлье на больницу,—кастеляншa даетъ. Передавала въ лицахъ, какъ смѣются на курсахъ надъ ея крутогорскимъ *о* и надъ ея кофточкой, которую сшилъ по своему вкусу и крайнему разумѣнію богоявленскій портной.

Потомъ былъ обѣдъ: великолѣпная разсыпчатая картошка и, въ честь моего пріѣзда, большая жирная астраханская селедка, извѣстная на окраинахъ Москвы подъ названіемъ „кобыла“, а на третье блюдо я на собственныя средства купилъ чудесный арбузъ. Я не думаю, чтобы часто бывали такіе веселые обѣды, какъ въ тотъ день въ маленькой комнаткѣ въ Кожевникахъ,—бѣлые зубы блестѣли въ незакрывавшемся рту Вари, я блаженствовалъ и отъ Вари, и отъ селедки, и арбуза. Изъ маленькаго окошечка былъ виденъ длинный непроѣзжій, заросшій зеленой травой переулокъ, по которому бродили коровы и свиньи и играли въ бабки мальчишки, напротивъ—изъ-за забора высилась красная фабричная труба и дымила черными, далеко расходившимися по небу клубами.

Много придавала веселья хозяйка, узнавшая, что къ жилицѣ пріѣхалъ братъ, и пожелавшая непремѣнно познакомиться. Отъ нея попахивало водкой.

— Смотрите, Маркеловна,—смѣялась Варя,—придетъ хозяинъ, опять побьетъ.

Маркеловна оказалась остроумной и находчивой женщиной.

— А я щеку подвяжу... Скажу, зубы болѣли, полоскала,—хитро подмигнула она.

Варю Маркеловна аттестовала съ наилучшей стороны.

— Сестра родная того не сдѣлала бы... Ребеночекъ у меня глазами маялся годъ цѣльный... Ужъ чѣмъ не

пособляла... Снесла Варвара Тимоѳеевна, всего-то четыре разочка, къ своимъ докторамъ, какъ рукой сняло!— Маркеловна изъявила было намѣреніе поплакать, но вмѣсто этого разсердилась.—Хожалый третеводня... Въ лавочкѣ встрѣлся, насчетъ, говоритъ, поведенія... Это про Варвару-то Тимоѳеевну! Ужъ и отчитала я его... Ты бы, говорю, лучше за женой смотрѣлъ, какое у ней есть поведеніе, Богу бы, говорю, молился, чтобы дочь у тебя этакое поведеніе оказывала... Плюнулъ да ушелъ и говорить больше не сталъ.

Вечеромъ мы пошли въ театръ—я купилъ два билета—и заняли великолѣпнѣйшія мѣста, откуда видно было не только сцену, но и всю публику, которая интересна была мнѣ не менѣе, чѣмъ сцена,—я былъ въ первый разъ и въ театрѣ и въ „публикѣ“. Давали „Горькую судьбину“ и такъ давали, что каменный человѣкъ и тотъ заплакалъ бы, не то что мы съ Варей.

Такъ ярко остался у меня въ памяти тотъ день и такъ весело становилось мнѣ, когда я вспоминалъ его въ своемъ семинарскомъ номерѣ,—я перешелъ въ богословію и готовился къ экзаменамъ въ Петровскую академію.

Мать не утерпѣла и около масляницы выпросилась у отца съѣздить въ Москву къ Варѣ. Вернулась она въ такомъ же восхищеніи, какъ и я, и Варька — ей нельзя было пріѣзжать — была главнымъ предметомъ разговоровъ въ продолжаніе Пасхи.

— Ахъ, Тимоѳей Лукьянычъ, молодые люди какіе! Обходительные, деликатные... Вечеромъ много ихъ къ Варѣ собралось, и на доктора которые учатся, и что въ адвокаты выйдутъ, и разные-разные... Одинъ изъ купеческаго званія былъ—милліонщикъ отецъ-то, фабрику имѣетъ. А другой, все около Вари увивался, чернобровый такой, красивый изъ себя, изъ помѣщиковъ, Варя говорила, предводителевъ сынъ. И все къ ней: Варвара Тимоѳеевна, да Варвара Тимоѳеевна!

— Вотъ окрутитъ ее хахаль-то этотъ, чернобровый-то,—безпокоился отецъ.

— Окрутишь ее!—увѣренно говоритъ мать.—Ты посмотрѣлъ бы, какъ она верховодитъ ими!

— И то,—успокаивается отецъ и самодовольно улыбается.—Наша Варвара за себя постоитъ.

— Обращеніе у нихъ какое промежду себя,—увлекается мать. — Чтобы дурныя рѣчи какія, либо еще что... Сядутъ и книжку читаютъ, а потомъ разговаривать примутся. И все по хорошему, что ужъ, путемъ-то я не знаю, про подати или, напримѣръ, въ землѣ недостача и вообще все этакое. И какъ, напримѣръ, въ другихъ прочихъ земляхъ заведено.

Мать засмѣялась.

— Чернобровый-то это, форсистый такой, принялся что-то говорить, волосы этакъ пальцами назадъ расчесалъ, очки золотые на носу, говоритъ, все на Варю поглядываетъ, а потомъ кончилъ и спрашиваетъ:

— Какъ вы, говоритъ, Варвара Тимоѳеевна, полагаете?

— А я такъ, говоритъ, полагаю, что ничего-то вы въ деревнѣ не понимаете.

Отецъ снова безпокоится.

— Вонъ какъ невѣжливо... Этакъ человѣка и обидѣть можно!

— Да вѣдь она безъ сердца, — успокаиваетъ его мать.—И пошла ему тутъ Варя резоны свои выкладывать, любо-дорого слушать. И про Крутыя Горы стала разсказывать, про передѣлы, какъ лѣсомъ владѣютъ, луга дѣлятъ. Вотъ, говоритъ, какъ... Вотъ, говоритъ, какъ... Такъ всѣ потомъ за нее. Вѣрно, говорятъ, Варвара Тимоѳеевна!

Отецъ глубоко вздыхаетъ и крестится на образа.

— Пути Господни неисповѣдимы... Можетъ, взыщетъ Господь Варю Своей милостью, устроится за хорошаго человѣка...

Мать нѣкоторое время молчитъ и потомъ говоритъ въ раздумьи:

— Что это, Тимоѳей Лукьянычъ, дивилась я, про мужиковъ все говорятъ! И добро бы простого званія, а то вѣдь Варя сказывала, все больше благороднаго, помѣщичьи дѣти. Что, да какъ, да почему. Вотъ насчетъ передѣловъ-то этихъ часъ битый толковали.

— Можетъ, отняли у нихъ мужиковъ-то, и вспоминаютъ. Либо на старое повернуть охота... — въ формѣ вопроса предположилъ отецъ.

— Да нѣтъ, какой ты непонятный, Тимоѳей Лукьянычъ! Все на мужицкую руку гнутъ.

И всякій день за вечернимъ чаемъ разговоръ неизмѣнно возвращался къ Варѣ. Иногда присаживалась Домна, очень интересовавшаяся всѣми подробностями Вариной жизни. Отецъ былъ очень веселъ и не уставалъ слушать разсказы матери.

— Варвара-то наша, — говорилъ онъ Домнѣ. — Не плоше другихъ...

— Эвона!—увѣренно отзывалась Домна.—Нашъ-то атаманъ всѣхъ завоюетъ.

— Вотъ что, Надежда Михайловна, — заговорилъ однажды отецъ,—завтра думаю въ городъ ѣхать, не послать ли Варѣ рублей десятокъ? Вонъ Степа говорилъ, по ночамъ учится... Что себя-то очень трудить, бросила бы бѣлье-то шить!

— И то, отецъ, хотѣла тебѣ сказать,—оживленно заговорила мать.—Вѣдь стали бы Вареньку замужъ отдавать—не миновать бы приданое дѣлать.

— Да вѣдь не вѣковушей же оставаться... Тоже, чай, замужъ сряжать придется!

— Что ты!—энергично замахала мать руками.— Посмотрѣла я, какъ у нихъ женятся... Только поди за меня, Христа-ради! Въ чемъ есть подъ вѣнецъ поведетъ...

Отецъ удивляется, но находитъ объясненіе.

— Дураки, молоды, не понимаютъ... А потомъ каяться будутъ, да попрекать еще...

Результатомъ всѣхъ этихъ разговоровъ была посылка двадцати рублей и предложеніе отца высылать каждый мѣсяцъ по десяти рублей вплоть до окончанія курса. Двадцать рублей Варя взяла, а отъ остальныхъ отказалась.

Варя пріѣхала къ сѣнокосу похудѣвшая, но веселая и оживленная.

— Ты бы отдохнула, Варя, — ласково говорилъ отецъ.—Чай, намаялась въ Москвѣ-то!

Но когда онъ видѣлъ, какъ Варя помахивала косой, его лицо раздвигалось широкой, довольной улыбкой, и онъ весело говорилъ Домнѣ:

— Барышня-то наша, московка-то, не разучилась!

Отецъ давно забылъ свой гнѣвъ и былъ чрезвычайно радъ пріѣзду Вари.

— Ты чего, мать, щами-то пустыми гостью угощаешь?—въ первый же обѣдъ замѣтилъ онъ.—Курицу хоть заколола бы... Да папушникъ испеки.

И въ первую же поѣздку привезъ изъ города мѣшокъ крупчатки и баранокъ, и лимоновъ, и какихъ-то пряниковъ. Встанетъ отецъ по обыкновенію ранымъ-рано и ходитъ на цыпочкахъ, а зашумимъ мы въ кухнѣ, сердитымъ шопотомъ окрикнетъ: „не знаете, — Варя спитъ?“ и ждетъ ее съ самоваромъ, папушникъ на столѣ разложитъ, яицъ сваритъ, велитъ сливокъ погуще принести. Выйдетъ Варя, за столъ сядутъ, чай пить будутъ.

— Какъ, Варвара Тимоѳеевна, почивать изволили? Въ добромъ ли здоровьи?—улыбается отецъ веселой улыбкой.—Пей въ накладку, въ накладку пей! — убѣждаетъ онъ и насильно кладетъ Варѣ въ чашку два куска сахару.—Ты чего, мать, плохо гостью-то угощаешь? Откармливать надо послѣ Москвы-то!

А мать взглянетъ на Варю и на всякій случай заплачетъ,

— Похудѣла-то ты, Варенька!..

А потомъ высохнутъ слезы и заблестятъ глаза у матери, какъ звѣздочки,- не налюбуется она на свою дочку. Особенно въ восторгѣ была мать, когда Варя приняла перваго ребенка въ Крутыхъ Горахъ у своей же пріятельницы, успѣвшей выйти замужъ и родить.

— Вотъ, Тимоѳей Лукьянычъ, наука-то что значитъ! Что бы теперь дѣлала Варя, кабы дома-то сидѣла... Развѣ жениха какого ни на есть голоштанника высидѣла бы...

Во второй Спасъ Варя была царицей бала. Ее осматривали съ головы до пятокъ, каждую складочку ея платья, каждый волосокъ прически и какъ она ходитъ, и какъ сидитъ, и какъ говоритъ, и какъ молчитъ, какъ только могутъ осматривать любознательныя дамы духовнаго званія. Кое-что о „стриженыхъ дѣвкахъ“ доходило и до нашихъ мѣстъ; Варя была первая ласточка, вылетѣвшая на вольную самостоятельную дорогу,—экзаменъ производился строгій, и Варя блистательно выдержала его. Волосы у ней оказались въ сохранности и такіе же великолѣпные, какъ и раньше; никакихъ вольныхъ манеръ замѣтить нельзя было, дамскій разговоръ поддерживала такъ политично, что матушки сейчасъ же попросили фасончика ея платья, а солидныхъ гостей такъ чудесно угощала наливкой, что они выпивали по лишней рюмочкѣ и все похваливали и приговаривали:

— Только для васъ, Варвара Тимоѳеевна... Вотъ что значитъ образованіе-то,—и не хочешь, да пьешь!

А въ кладовой велись долгіе разговоры. Поповны разспрашивали Варю объ ученіи, о пріемныхъ экзаменахъ, о Москвѣ. Варя отворяла имъ дверь въ другой міръ, другую жизнь, и дѣвичьи глаза жадно засматри-

вали туда, дѣвичьи сердца разгорались, и дѣвичья смута пошла съ тѣхъ поръ по нашей округѣ.

Въ это же лѣто была рѣшена и судьба Даши. Послѣ отъѣзда Вари на курсы, разсерженный отецъ отказался пускать Дашу въ Малыя Пустоши,—теперь онъ находилъ прекраснымъ все, что придумывала Варя и охотно согласился отпустить Дашу къ Аннѣ Валеріановнѣ приготовляться къ экзамену на учительницу, обѣщалъ отпустить въ Москву и дать денегъ.

Дружно, весело и радостно было въ старомъ крутогорскомъ домѣ въ то лѣто...

* * *

Варѣ не удалось, какъ она мечтала, тотчасъ же по окончаніи курса уѣхать въ деревню. Отецъ не успѣлъ убраться съ поля и умеръ неожиданно, предъ выпускными экзаменами Вари. Онъ понадѣялся на свою могучую силу и, помогая лошади вывезти возъ съ бревнами на нашу глинистую гору, подперъ плечомъ наклонившуюся телѣгу и былъ задавленъ на мѣстѣ. И все сразу рухнуло. Бабушка умерла еще раньше. Старшій братъ не пожелалъ покинуть богатый приходъ, некому было замѣстить отца въ старомъ гнѣздѣ и незачѣмъ стало жить семьѣ въ Крутыхъ Горахъ. Митѣ нужно было учиться, Даша готовилась къ экзаменамъ на домашнюю учительницу, я оканчивалъ семинарію; проданъ былъ старый домъ, съ плачемъ и слезами продавались мебель, всякая „домашность“, все то, что копилось десятками лѣтъ, съ чѣмъ сжились, что сдѣлалось роднымъ,— и крутогорская жизнь кончилась.

Лѣто я былъ на урокѣ, а когда пріѣхалъ въ Москву поступать въ Петровскую академію, я нашелъ семью уже устроившеюся въ двухъ чистенькихъ комнатахъ фабричнаго корпуса на окраинахъ Москвы, куда Варя успѣла тотчасъ по окончаніи курса поступить акушеркой. Мать вела хозяйство, Митю Варя отдала въ гим-

назію, Даша надѣялась къ веснѣ подготовиться къ экзамену.

Легко и весело подняла Варя на свои плечи крутогорскую ношу, покинутую отцомъ. Я жилъ въ казенныхъ номерахъ академіи, еле перебивался уроками и не могъ оказывать поддержки семьѣ. Варя и не нуждалась въ ней. У нея все расширялась частная практика, и въ свободные отъ дежурства дни она бѣгала по глухимъ закоулкамъ окраинной Москвы, гдѣ въ то время неохотно поселялись акушерки, а послѣ трудового дня шла опять въ фабричный родильный домъ, для того, чтобы работать всю ночь. Должно быть, та накопленная энергія поколѣнія сильныхъ людей позволяла ей такъ широко расходовать свои силы и такъ мало нуждаться въ отдыхѣ. Я съ трудомъ представляю, когда она спала. Варя попрежнему много читала и на это уходило то скудное время, которое оставалось ей отъ работы, то-есть, главнымъ образомъ ночь. Мнѣ случалось видѣть, какъ, проведя безсонныя сутки въ своемъ родильномъ пріютѣ, она присаживалась къ столу выпить стаканъ чаю, тутъ же засыпала, положивши руки и голову на столъ, и черезъ часъ снова просыпалась. свѣжая и веселая, для того чтобы снова бѣжать или вести долгіе разговоры до глубокой ночи съ гостями, которыхъ много бывало у Вари. И гости бывали все требовавшіе ея пристальнаго вниманія, ея участія и помощи. Заглядывали крутогорскіе люди, находившіе, что нельзя быть въ Москвѣ и миновать старую матушку. Пріѣхалъ Филатъ-бондарь, и привезъ сына, окончившаго училище у Анны Валеріановны, и Варя бѣгала по Москвѣ, пока устроила мальчика въ желѣзнодорожномъ училищѣ, какъ просилъ Филатъ, желавшій, чтобы его сынъ пошелъ по механической части. Начали появляться поповны изъ нашей округи. Онѣ пріѣзжали робкія, напуганныя, безпомощныя; имъ

нужно было давать совѣты и указанія, устраивать на акушерскіе и фельдшерскіе курсы.

По воскресеньямъ собирались тѣ деликатные и обходительные молодые люди, о которыхъ говорила мать, и все происходило именно такъ, какъ разсказывала мать отцу.

Тогда я гордился Варей, любовался ею, любовался ея удивительными сѣрыми глазами, которые то темнѣли и становились суровыми, то загорались радостью и вѣрою,—такой свѣтлой радостью, такой глубокой вѣрой. Она давно ушла изъ жизни, моя Варя, но и теперь стоитъ передо мною, какъ въ Москвѣ, какъ тогда, въ Малыхъ Пустошахъ, со своими страстными поисками, гдѣ правда и гдѣ неправда, со своей непоколебимой увѣренностью въ будущемъ всеобщемъ счастіи людей, съ той „праведной красотой“, о которой говорила она тогда, которая лежала въ душѣ ея, смотрѣла изъ прекрасныхъ глазъ ея...

Мать иногда пробовала урезонивать Варю:

— И чего ты, Варька, суматошишься? Нѣтъ тебѣ покою... Ну, практика, этого ужъ не миновать, а то тотъ придетъ, другой придетъ: „сходите, Варвара Тимоѳеевна“, „поговорите, Варвара Тимоѳеевна“, а ты и бѣжишь, сломя голову, не спавши, не ѣвши.

— Да еще что,—обращается мать ко мнѣ.—Ну-тка, Степа, нынче ночью, гляди ужъ часъ былъ, либо два, звонится, какъ его звать, Воробьевъ, а Варя у рожепицы была: „нужно бы, говоритъ, Варвару Тимоѳеевну повидать“. Узналъ, что дома нѣтъ: „вотъ, говоритъ, пожалуйста, книжки отдайте Варварѣ Тимоѳеевнѣ“. Ну ужъ я тутъ разсердилась и говорю: „что это вы, батюшка, нѣтъ у васъ дня для книжекъ-то, по ночамъ людей будите!“

— Хочу, маменька на Москву наглядѣться, оттого и суматошусь, а то уѣду, скоро ли попадешь,—вмѣшивается Варя.—Тамъ ужъ и отдохну.

Дашѣ было обѣщано мѣсто учительницы городского

училища въ Москвѣ тотчасъ послѣ сдачи экзамена и между нами троими давно было рѣшено, что Варя тотчасъ же уѣдетъ практиковать въ деревню, а мать устроится съ Дашей. Варя постепенно подготовляла къ этому мать, но мать не хотѣла и не могла привыкнуть къ мысли разстаться съ Варей.

— И чего ты, Варенька, изъ Москвы-то уѣзжаешь? Вѣдь устроилась, Бога благодарить, вонъ какъ тебя любятъ. Поживешь еще, богатую практику будешь имѣть,—жалобнымъ голосомъ говорила мать.

— Насъ-то въ Москвѣ много и безъ меня обойдется, а тамъ, маменька, мало,—говоритъ Варя. Но она знаетъ, что этотъ аргументъ для матери мало убѣдителенъ и садится къ ней близко-близко, обнимаетъ ее и говоритъ другія слова:—Такъ еще лучше будетъ, маменька; зимой вы будете съ Дашей жить, Степа при васъ; а окончится въ училищѣ ученье, всѣ вы ко мнѣ пріѣдете. Жить я буду въ хорошемъ мѣстѣ, рѣка большая, сады, все... А на Рождество въ Москву пріѣду...

Ласково и нѣжно уговариваетъ Варя мать, какъ малаго ребенка, но грустное лицо матери не дѣлается веселымъ.

Мать попрежнему находитъ молодыхъ людей, посѣщающихъ нашу квартиру, деликатными и обходительными молодыми людьми и нѣкоторыхъ, особенно достойныхъ молодыхъ людей и дѣвицъ приглашала партикулярно на пирогъ. Какимъ-то образомъ мать удивительно подошла къ молодой компаніи, и случалось, когда разговоръ касался того, что наболѣло за долгую жизнь въ ея душѣ, о всякомъ утѣсненіи, о злодѣяхъ-людяхъ, которые чужую жизнь губятъ,—она вступала въ разговоръ, и накопившаяся горечь души была такъ сильна и тѣ примѣры, которыми она иллюстрировала утѣсненія и злодѣйства, царившія въ дореформенной Россіи, были такъ ярки и порой страшны, что молодая компанія затихала, и я видѣлъ, съ какимъ интересомъ

прислушивались къ ея словамъ и съ какою симпатіей смотрѣли на нее молодые глаза.

Мать расцвѣла и развернулась въ Москвѣ. Казалось, все то, что лежало въ ея душѣ заглохшее и задавленное той трудной, часто жестокой жизнью, проснулось и ожило. Если исключить находившія на нее полосы грусти, когда она вспоминала покинутую могилу отца—единственное, изъ-за чего ей не хотѣлось уѣзжать изъ Крутыхъ Горъ, она была очень весела и жизнерадостна. Въ ней пробудилась жажда жизни; казалось, на закатѣ дней она спѣшила наверстать потерянное время, взять отъ жизни ту радость, къ которой она давно стремилась и которой такъ долго лишена была. Она энергично протестовала противъ Варькинаго мотовства, когда Варя покупала ей новую шляпку или приносила на именины матеріи на платье; но когда это новое, хорошо сшитое платье было на ней и на головѣ новая шляпка „къ лицу“, и на плечахъ модная накидка, мать улыбалась и приходила въ хорошее настроеніе духа. И не разъ мы видали, какъ она украдкой разсматривала въ зеркалѣ эту самую накидку, и платье, и шляпку.

Въ праздникъ, въ ясный день, когда Даша была дома и могла посмотрѣть за хозяйствомъ, мать уходила „бродяжить“, какъ выражалась Варя.

Она заходила въ церкви и монастыри, гдѣ хорошо поютъ, оттуда на бульваръ, гдѣ „публика“ гуляетъ, а возвращаясь домой, заходила въ излюбленныя булочныя и покупала то самое вкусное, что каждая булочная готовила—она изучила ихъ,—и приносила намъ. Полюбила читать газеты и сообщала намъ, кто на кого войной собирается и какія случились необыкновенныя происшествія. Но больше всего пристрастилась она къ Малому театру, и величайшимъ удовольствіемъ для нея было, когда кто-нибудь изъ насъ водилъ ее на драму Островскаго. Она возвращалась вся переполненная впечатлѣніями, въ приподнятомъ настроеніи, и за

чаемъ, съ которымъ ждала насъ Варя, рѣдко бывавшая въ театрѣ, подробно разсказывала Варѣ происходившія на сценѣ событія, и голосъ ея дѣлался сердитымъ, и глаза становились злыми, такъ какъ тамъ всякій разъ были злодѣи и подлецы-люди и утѣсняли они другихъ людей и эти другіе люди такъ терпѣли отъ нихъ, такъ терпѣли...

И все было бы прекрасно въ этой прекрасной Москвѣ, если бы не мысль о разлукѣ съ Варей. Придетъ вечеромъ дума, что вотъ Варя покинетъ ее, и не спитъ мать всю ночь и все прислушивается, не идетъ ли по коридору съ дежурства Варя. А раздѣнется, ляжетъ Варя въ постель, надѣнетъ мать туфли и придетъ къ Вариной кровати и чтобы не тревожить Варю, скажетъ:

— Не спится, Варенька, пришла на тебя взглянуть. Ты спи, спи!

И начнетъ потихоньку гладить Варю по головѣ и шептать ей болѣзныя, ласковыя слова. А Варя больше всего любитъ эту материнскую ласку и какъ кошка ластится къ матери и беретъ ея руку, цѣлуетъ и крѣпко прижимаетъ къ груди; и хочется Варѣ сказать матери свои слова, но слова выходятъ неясныя и безсвязныя; она глубоко вздыхаетъ, словно тяжелый камень сваливается съ ея груди, и тихо засыпаетъ сладкимъ счастливымъ сномъ, не выпуская материнской руки. И мать долго не уходитъ и не отнимаетъ руки, чтобы не потревожить Варинаго перваго сна, и сидитъ она, понуривши сѣдую голову и все думаетъ, зачѣмъ это Варя въ деревню ѣдетъ. Знаетъ вѣдь Варя, каково въ деревнѣ-то жить, въ крестьянской избѣ, не доѣдаючи, не досыпаючи, на трудахъ и въ ночи осеннія, и въ непогодь зимнюю; и силится мать проникнуть, чего это люди съ сытаго житья на голодное, отъ своего счастія на чужую бѣду идутъ и почему имъ сладко свою молодую жизнь погублять. И качается сѣдая голова въ ночной темнотѣ и капаютъ

материнскія слезы на горячую руку разметавшейся Вари.

Въ тотъ вечеръ мы праздновали окончаніе Дашиныхъ экзаменовъ и дожидались только Вари, чтобы сѣсть за столъ, на которомъ давно уже кипѣлъ самоваръ, были разставлены закуски и сласти.

Варя что-то долго не приходила. Даша сидѣла за піанино и играла какую-ту грустную, жалобную мелодію. Даша также расцвѣла и окрѣпла въ новой обстановкѣ жизни, но продолжала оставаться той же „Христовой невѣстой“, какъ ее называли въ дѣтствѣ, хрупкой и словно испуганной, и когда она оставалась одна, старая печаль смотрѣла изъ голубыхъ задумчивыхъ глазъ. И музыку она любила—она начала учиться еще у Анны Валеріановны — задумчивую, проникнутую неопредѣленной грустью, любила Шопена, Мендельсона, Чайковскаго.

Варя пришла, наконецъ, немного усталая, больше обыкновеннаго блѣдная.

— А къ тебѣ этотъ, Воробьевъ, приходилъ, велѣлъ сказать, Иванъ Петровичъ тебѣ кланяется, уѣхалъ вчерась.

— Какъ уѣхалъ?—остановилась скидавшая кофточку Варя.

Я видѣлъ, какъ дрогнули ея губы.

— Я и то подивилась,—что, говорю, такая спѣшка? „Родители, говоритъ, захворали“.

— А-а...—неопредѣленно протянула Варя.

Она сбросила съ себя кофточку и, повидимому, свое усталое и встревоженное настроеніе. Мнѣ даже показалось, что она сдѣлалась слишкомъ весела и слишкомъ оживленно разсказывала, гдѣ была и что дѣлала.

Мы сидѣли за столомъ и пили чай, и праздничное настроеніе не приходило.

— Говорила я тебѣ, Варя, не по годамъ мнѣ сѣрое-то

платье,—то бы, темненькое-то, съ зеленью лучше было бы.—Мать была въ претензіи, что Варя не обратила вниманія на великолѣпное сѣрое платье, которое мать только что обновила въ тотъ вечеръ и которое мы съ Дашей на всѣ лады расхвалили.

— Маменька, да вы въ новомъ платьѣ,—обрадовалась Варя.—Ну-ка, ну-ка!

Варя заставила мать встать и пройтись по комнатѣ.

— Да прелесть что за платье! И къ вамъ такъ идетъ!.. Только чепчикъ нужно снять. Дайте-ка я васъ причешу.

Несмотря на протестъ матери, Варя заставила ее сѣсть на кресло, распустила волосы и причесала ихъ по-своему, и пышные сѣдые волосы матери легли короной вокругъ лица.

Варя суетилась около матери и смѣялась, но лицо оставалось суровымъ и озабоченнымъ.

Варя стоитъ на колѣняхъ передъ кресломъ и оправляетъ складки материнскаго сѣраго платья.

— Какая вы у меня красавица, маменька! Настоящая маркиза...

Варя вскакиваетъ, срываетъ красный цвѣтокъ съ китайскаго розана и втыкаетъ въ сѣдые, блестящіе серебромъ волосы.

— Вотъ такъ, маменька...

Она снова опускается на полъ передъ кресломъ и, положивши руки на колѣни матери, не отрываясь смотритъ въ ея лицо. Лицо Вари стало мягкимъ и грустнымъ и говоритъ она тихимъ, медлительнымъ голосомъ:

— Вотъ такъ, маменька... Посидите... А я на васъ смотрѣть буду. Всю-то васъ выгляжу... Унесла бы я васъ съ собой далеко-далеко и все смотрѣла на свою маменьку, все любовалась бы...

Мать гладитъ рукой волосы Вари и говоритъ встревоженнымъ голосомъ:

— Что это ты, Варенька, тоскуешь? Чать не сейчасъ уѣзжать отъ насъ? Будто замужъ тебя отдаютъ...

— А мужъ-то попадется сердитый, маменька... — въ тонъ матери говоритъ Варя и смотритъ суженными глазами въ лицо матери, и продолжаетъ нараспѣвъ, какъ причитаютъ деревенскія дѣвки:

Увезетъ меня въ чужедальнюю сторонушку, буду тамъ я думы думать и не будетъ со мной моей милой маменьки, моей красавицы маменьки, золота моего маменьки.

Голосъ ея дрогнулъ и зазвенѣлъ. Съ сдвинувшимися бровями она сердито оборачивается къ сидѣвшей за піанино Дашѣ.

— Терпѣть не могу твоего Шопена, — поетъ неизвѣстно по какому случаю. Сыграй лучше увертюру изъ Вильгельма Телля.

Даша встаетъ, отыскиваетъ ноты, а Варя беретъ скамеечку и садится у ногъ матери, и съ возбужденнымъ лицомъ и заблестѣвшими глазами медленно, прислушиваясь къ тому, что поетъ піанино, говоритъ страннымъ, напряженнымъ полушопотомъ:

— Вотъ слушайте, маменька. Далеко, далеко, маленькая земля есть. Тамъ горы до неба, снѣгами укутаны, а въ горахъ люди живутъ: все мужики, маменька. А кругомъ мужиковъ рыцари залегли, храбрые рыцари, сильные рыцари. На головахъ-то у нихъ, маменька, шлемы съ перьями, надъ лицами забрала опущены, сабли-то вострыя, копья-то длинныя, сами въ желѣзныя кольчуги одѣты, кони желѣзомъ укрыты. Вотъ и поднялись разъ на нихъ, мужиковъ, храбрые рыцари. Идетъ рать, по камнямъ копытами стучатъ, желѣзомъ гремятъ, копья впереди, какъ лѣсъ, торчатъ.

— Прибьютъ они мужиковъ-то, Варенька! — жалостливымъ голосомъ говоритъ мать.

— Слушайте, маменька, слушайте.

Варя на минуту останавливается и ждетъ.

– Слышите, рожокъ запѣлъ? Мужики знакъ другъ дружкѣ подаютъ; костры загорѣлись на горахъ, народъ бѣжитъ изъ долинъ, съ горъ, изъ ущелій, съ луками, съ ломами, съ топорами, съ косами. Рожки все поютъ и тамъ. и тамъ, и тамъ...

— Ну, ну,—торопитъ мать, близко наклонившись къ лицу Вари.

— Человѣкъ у нихъ одинъ былъ, маменька.

Варя смотритъ вдаль, большими, сѣрыми остановившимися глазами и медленно выговариваетъ слова:

— Человѣкъ одинъ былъ, въ переднемъ ряду шелъ. Взялъ въ охапку копья-то вражескія и воткнулъ себѣ въ грудь и открылъ проходъ,—и бросились мужики, и стащили рыцарей съ коней, и побили мужики и прогнали рыцарей.

— Померъ?

— Померъ, маменька,—Варя откидывается назадъ и, какъ въ дѣтствѣ, охвативши руками колѣно, молчитъ и смотритъ передъ собой; и опять лицо сдѣлалось усталое и скучное.

— Живутъ мужики-то?—спрашиваетъ мать.

— Живутъ, кофе пьютъ, да газеты читаютъ.

— Мужики, Варенька?

— Мужики, маменька!

А потомъ Варя очень развеселилась; прогнала Дашу изъ-за піанино и великолѣпно сыграла собачій вальсъ, единственную музыкальную пьесу, которую она оказалась способною выучить. А потомъ сѣли ужинать и Варя быстро овладѣла нами, какъ умѣла она овладѣвать людьми, и заставила насъ смѣяться и болтать, и забыть то тревожное и напряженное, что было въ Варѣ въ этотъ вечеръ. Чужихъ никого не было и какъ-то незамѣтно разговоръ перешелъ на старое и опять, какъ только умѣла дѣлать одна Варя, говорили только о веселомъ, о смѣшномъ, о томъ немногомъ радостномъ, что было въ крутогорской жизни. Варя спрашивала

мать, сколько она обломала ложекъ объ ея лобъ, представляла бабушку — и становилась удивительно похожей на нее,—какъ она кричала отцу изъ кухни: „Тимоѳей“. И мать увлекалась веселыми воспоминаніями и разсказывала о Вариныхъ продѣлкахъ и объ отцѣ Платонѣ; только подъ конецъ взгрустнула.

— Хоть бы Тимоѳей Лукьянычъ глазкомъ взглянулъ на наше житье. Не чаялъ, не гадалъ сердешный, что такъ жить будемъ. И я-то, дѣтушки, не чаяла, не гадала, въ мысли не приходило. И какъ вспомню ту старую-то жизнь, прежнія-то времена,—такъ и не вѣрится даже...

Мать задумалась.

— Кончились старыя времена. И люди-то новые, и мысли-то новыя. Не разберу я,—а только кончились старыя времена.

— Дѣточки мои милыя, согласныя, что-то вамъ Богъ сулитъ, какъ-то вы жить-то будете? – всплакнула мать.

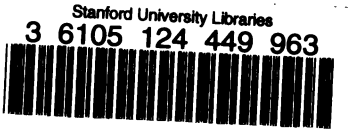
Должно быть, запасъ веселья истощился у Вари, она сидѣла усталая и блѣдная.

Варя не дождалась устройства Даши съ матерью въ городскомъ училищѣ; она уѣхала въ ту же ночь, подъ утро.

Конецъ.

11

very interesting



PG
3460
E47A15
v.3

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUL 2 4 1970